

Легенда о сином гусаре

ДР★

ВЛАДИМИР ГУСЕВ







**Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1976**



*Владимир
Гусев*

**ЛЕГЕНДА
О СИНЕМ ГУСАРЕ**

ПОВЕСТЬ
О МИХАИЛЕ ЛУНИНЕ

Владимир Гусев — прозаик, критик, литературовед, автор шести книг и многочисленных публикаций в периодике. Он кандидат филологических наук, доцент Литературного института имени Горького. Для Гусева как писателя и исследователя характерен интерес к социальным и духовным проблемам в их взаимодействии, к героическому и нравственному началам в человеческой жизни, к проблеме природы.

Повесть о Михаиле Лунипе — вторая книга писателя в серии «Пламенные революционеры» (первая — «Горизонты свободы», повесть о Симоне Боливаре).

Среди декабристов Лунин занимает особое место. Он понимал ограниченность их методов, стремился найти более глубокие и реальные средства борьбы. Лунин — один из немногих, кто и после 14 декабря сохранил пафос сопротивления и революционности, из «глубины сибирских руд» оказывал сопротивление николаевскому режиму. Статья Лунина «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года», написанная в Сибири, была опубликована Герценом в «Полярной звезде» и вызвала широкий отклик в свободомыслящей России.

Что ж это,
 что ж это,
 что ж это за песнь?
 Голову на руки
 белые свесь.
 Тихие гитары,
 стыньте, дрожа:
 синие гусары
 под снегом лежат!

ACEEB

В июле 1815 года из дома Екатерины Федоровны Муравьевой, что на Фонтанке, вышли двое сияющих офицеров и направились к Невскому, несомненно помня, что они красивые и статные молодые люди и что прохожие должны смотреть на них. Впрочем, в эту пору дня и года прохожих на набережной было немного. Попались лавочники в кафтанах — заведомо расступились перед звучащими шпорами; у парапета едва выпрямился старик в инвалидном мундире армейского образца; метнув голубыми юбками, нырнула в ворота горничная, не желая встречи с баловниками. Офицеры косили глазами на окна более скромных жилищ, шедших за занятым Муравьевой «домом Мижуева», украшенным лепными колоннами и трехчастными створами в позднеклассическом духе, и стоявшим с ним стена в стену тяжелым, розово-серым дворцом сибирского генерал-губернатора; дворцы дворцами, но за каждой из тех загадочных «сторок» им чудилось «личико», жадно следящее за светлым мундиром и темным с золотом долманом. По крайней мере, друг перед другом, незави-

симо от предмета разговора, они безусловно подразумевали эти следящие личики. Это были корнет Ива́шев и подпрапорщик Оржицкий.

Туманное лето стояло над мирной столицей. Солнце не было скрыто, но в отдалении висела опаловая мгла, и посредине довольно жаркого дня висело ощущение тайны и полусумерек. Стальная вода топорщилась мелкими круглыми волнами, желтые и серые дома и затененный деревьями багровый Михайловский замок выглядели несколько призрачно, и мосты, застывшие над изогнутой Фонтанкой, были будто печальны.

Кавалергард Ивашев говорил:

— Ты неправ, полагая, что у нас особенные преимущества. Государь все помнит, он не может простить нам Аустерлица.

— «Нам», — улыбнулся в усы более молодой, но более взрослый Оржицкий.

— Понятно, не мне, — покраснел светлоглазый, юный, в русых баках Ивашев. — Но полку. Он считает, что мы могли выиграть.

— Но атака была прекрасна, и не конница виновата, что Бонапарт умел лучше расставить пушки, чем Вейротер.

— Так, так. Но он полагает. Кроме того, нас не любят за дерзость, за склонность к вольностям, за полковые привычки.

— Да, среди вас немало лихих повес, — с улыбкой отвечал Оржицкий, немного подыгрывая другу.

— Мы напрасно не завернули к Голицыну, в «Арзамас»: быть может, там Никита.

— Разве Голицын в «Арзамасе»?

— В его хоромах бывают собрания.

— Где же хоромы?

— А там же, — оглянулся Ивашев, махнув рукой. — Через дом от сибирского деспота.

— К каналу?

— Да.

— Все равно; быть может, вернемся?

— Не будем ходить мимо утеснителя, — и пышно, и с улыбкой сказал Ивашев.

— Ну, разве так, — улынулся Оржицкий.

Они миновали фигурную «золоченую» решетку, несколько длинных домов, у голого Аничкова моста вошли на Невский, и сразу им стало свежей на душе: больше лиц, взоров, а они знали, что есть на что смотреть; грохотали ваньки, но офицеры не окликали их; спешить пока было некуда: почти середина дня, а не застав дома Никиты Муравьева, они надеялись найти его у Лунина.

Дело, по которому шли Оржицкий и Ивашев, было для тех времен и модное и ясное. В Петербурге сейчас стояли давняя гувернантка семейства Ивашевых Мари Ледантю с дочерьми Амели и младшей Камиллой, а у Амели гостила подруга, француженка, истинных намерений которой нововыпущенный корнет Ивашев, за хлопотами и попойками на новой для него свободе после Пажеского корпуса, не успел выяснить, но с которой, однако, он «смог перемигнуться» настолько, что нынче вечером собирался похитить ее. Об этом он объявил нескольким своим близким и далеким — случайно оказавшимся рядом — приятелям, но особый юношеский страх отказа помешал ему как следует договориться с самим «предметом», и теперь, идя по улицам и посылая косвенные, лихие взоры направо, налево, он в душе не без сомнения думал о том, чем же кончится предприятие. Правда, он надеялся на опытного в подобных диверсиях Лунина, но было в его положении нечто нерыцарское и стыдное.

Они гуляющим шагом прошли до Мойки, с сожалением повернули в сторону Гороховой и долго и уж быстрее шли вдоль парапета и затем по боковым улицам; наконец они приблизились к «обители» Лунина, который с некото-

рых пор, по неизвестным им причинам, жил не у отца на Рижском проспекте, а на Торговой улице, в известном доме Дубецкой, и, заведя сам дом, невольно на миг примолкли, каждый одновременно подумав, как встретит их Лунин с их слишком уж легкомысленным замыслом. Правда, все было условлено заранее, но «старый (почти тридцатилетний) бретер», без сомнения, потребует подробностей — и тотчас увидит, что дело не подготовлено и пустое. Что до Оржицкого, то он твердо подозревал, что Ивашев вообще ничего не сказал несчастной француженке...

Лунин лежал на диване, заложив руки за голову и лишь приспустив ботфорты — он был из лагеря, — и думал свою невеселую думу. В прихожей послышались шаги, звуки шпор, подковок, слова его человека Алексея Еремеева и ответы молодых людей: «Дома?» — «Пожалуйте». — «Так, сюда?» Он с облегчением вздохнул, как бы отменяя вздохом все смутное, — радуясь предстоящему действию, свежести — и сел на своем ложе. В это мгновение юные друзья входили в кабинет.

— Вы спите, Лунин? — спросил Ивашев.

— Нет, нет, — добродушно улыбаясь под свои русые, такие же, как у Ивашева (а вернее, это у Ивашева были такие же!), баки, проговорил Лунин, поправляя сапог, медленно выпрямляясь и небрежно-бесстыдно — мужчина при мужчинах — подтягивая белые кавалерийские рейтузы. — Входите.

— Муравьева нет? — спросил Ивашев.

— *Которого* из Муравьевых? — ответил вопросом Лунин, и все засмеялись: многочисленность братьев вошла в пословицу.

— Вы еще спросите о Бестужевых.

— Те слишком молоды...

Лунин улыбнулся этому замечанию, но скрыл улыбку так, что придраться было невозможно.

— Из семи Муравьевых мы ищем, разумеется, вашего Никиту,— с оттенком ненавязчивой важности сказал Оржицкий.

«Бецкий, Ецкий... Оржицкий»,— вспомнил Лунин — и был недоволен собой: он знал, что юноша — незаконный сын какого-то вельможи, а фамилии вроде Бецкого давались именно в этих случаях.

— Садитесь же, друзья,— сказал он, глядя на Оржицкого с усиленной ласковой приветливостью.— Никита был, но ушел по делу. Будем без него.

— Что ж. Это жаль,— рассеянно сказал Ивашев, думая о том, что, чем менее участников («свидетелей!»), тем лучше.

Оба вошедших опустили в причудливые кресла, оглядели новый немецкий лаковый секретер и с невольной смущенными улыбками смотрели на Лунина, который неторопливо пошел по комнате с видом человека, отыскивающего табак и трубку.

— Мы, быть может, рано? — спросил Ивашев, стараясь хранить «гусарскую» невозмутимость в подобном деле и не говорить лишних слов.

— Нет, отчего же. Нам же не обязательно идти тотчас. Посидим пока. Где же трубка?

— Жарко на дворе в мундирах,— сказал Оржицкий.

— К вечеру посвежеет,— по-французски отвечал Лунин.

— Мишель, расскажите, как вы пели серенаду для Елизаветы Алексеевны,— после мгновенного молчания с некоей торжественностью в голосе, тоже по-французски, попросил Ивашев, как бы приглашая Оржицкого услышать из первых уст то, что было известно лишь в собутыльном предании.

Лунин, стоя у зеркального столика и набивая и затем поджигая табак, не отвечал молодому товарищу по полку и лишь улыбнулся, не глядя на него — как бы его

образу перед своими глазами. Он, было видно, хорошо понимал Ивашева — понимал его желание быть лихим и трепет перед заветами «старых повес» и перед ним самим, Луниным, и старался не задеть юношеское самолюбие и пастороженность.

— Да я уж рассказывал сто раз, — наконец отвечал он.

— Ну, Лунин, просим, — с готовностью отозвался Ивашев: уговаривать старых удалцов входило в кодекс.

— Расскажите, Мишель, — просил Оржицкий.

— Вы спелись. Давно приятели?

— Нет, мы мало знакомы, но не так далеко от Садовой до Екатерининского канала *, — сказал Оржицкий, сам улыбаясь своей «напыщенности»; вообще он был как бы более взросл, сдержан, трезв, чем Ивашев.

Лунин в задумчивости слегка присел на столик; сильно изогнутые ножки чуть хрустнули и подвинулись по матовому паркету под его тяжелым, ухарски ленивым телом.

Рассказывать ему не хотелось, и он теперь думал о том, как бы, не обижая юношей и не заставив их счесть, что он рисуется, уйти от надоевшей темы. Пусть другие, если хотят, рассказывают о нас; нам же не следует; он теперь часто помнил это.

— Милые мои, вы не знаете, что мне не до прошлых подвигов, — сказал он, по-прежнему покуривая и нарочно приняв несколько важный вид.

— А что? что? — спросили кавалергард и ахтырский гусар, оба вдруг живо представив, что они из первых будут посвящены в новые дела такого известного в гвардии человека, как Лунин. — Что случилось?

Никто, как Лунин, в тот миг не знал, что с ним действительно нечто случилось, но он говорил лишь затем, что-

* Там находились Пажеский корпус и Иезуитский пансион, где воспитывались Ивашев и Оржицкий.

бы отделаться от рассказа о серенаде. Однако же что ответить?

— После узнаете, — мягко посмеиваясь (как бы тоном извиняясь за сами свои слова), отвечал он, все стоя у стола — поддерживая одной рукой в белом рукаве локоть второй, с трубкой. — Я пока не могу сказать. Но не будем тратить минуты на это.

Он знал, что они должны ждать вина, и голосом, изобличающим как бы покорность обычаю, крикнул:

— Алексей!

Появился угрюмый парень, встречавший их.

Он с привычным одобрением посмотрел на хозяина и с неудовольствием — на гостей.

— Вина.

— Какого?

— Ты же знаешь.

Алексей мешкал.

— Того, лучшего, — смешливо-строго смерив его глазами, добавил Лунин — и мягко взглянул на гостей, таким образом снова извиняясь: теперь за неучтивость слуги.

Алексей молча ушел.

Когда они, слегка пьяные, вышли наружу, было часов восемь.

Дневная мгла была уже не видна, палевое солнце сочно освещало серые и голубые стены ровных домов, Нева была сине-золотая и как бы тяжело-задумчивая, шпиль четко рисовался на предзакатном, шафранно-серебряном небе, будто зовущем в дальние дали, видимые ему, небу, за краем этой предсумеречной земли.

— Но расскажите, Мишель, — продолжал Оржицкий.

Лунин, не без грусти глядя на воду и небо, вдруг мысленно увидел некоторые из своих подвигов юных лет — подвигов, рассказов о которых так жаждали неофиты северного рыцарства.

Вот он стреляется с Алексеем Орловым, причем он, Лунин, уж второй раз палит вверх, а Орлов бесится и тщательно целится то в повернутый к нему бок, то в голову и дает промахи от злобы. А он, Лунин, командует: выше, ниже. Вот он скачет во весь опор по Невскому нагишом: заклад. Вот пугает медведем, собаками мирных россиян, имеющих несчастье жить по Черной речке, где он буйствует с приятелями Волконским, Уваровым, Чернышевым да Левашовым. Вот они плывут на черном катере по той же Черной речке, а посреди палубы — черный гроб, и в нем — черный мертвец. Звучит плясовая, мертвец идет вприсядку.

Байронические проделки... Вот Александр Чернышев, всегда приветливый, болтливый, лихой, хотя слегка себе на уме, вместе с Луниным внушает его кузине, будто некий поручик ночует у ней на крыше, — и она верит. «Сашенька» смеется: большеликий, довольный и предвкушающий рассказы в кругу мужчин. Вот он, Лунин, в кивере, в белом мундире, плещется в воде, поджидая показавшегося генерала, который запретил кавалергардам купаться, чтобы не оскорблять приличий. Вот...

Да, вот поет под балконом императрицы.

Это гурьба молодых гвардейских уланов, гусаров, кавалергардов, все в подпитии; после разных тостов не заметили, как составилось пари-заговор:

— Дело, господа! Толки толками, а споем ли?

— Споем! — раздалось, но не трогались с места.

— Ах, господи, петь так петь, — сказал Лунин и первый пошел из комнаты; все, возбужденно посмеиваясь, двинулись за ним, невольно отдавая ему роль вожака в столь сомнительной и опасной шутке.

Вскорости была нанята шлюпка; запасными веслами они помогали мужикам и быстро приближались к дворцу, нависшему над водой розоватым камнем, голубыми бал-

конами и округло-стрельчатыми, темно-блестящими окнами.

Лунин чувствовал тот особый покой, холод, свет, свежесть, которые неизменно сопровождали его в прямом и опасном деле; он руководил гребцами и лишь искоса поглядывал на тяжелую серо-голубую воду в латунных блесках бледной зари, оттенявшей дальние купола, на едва туманное просторное небо и на деревья вдаль: нынешний вечер отчасти напомнил тот — молодой и веселый на фоне молчащего, предвечернего города...

— Право! Левее!

Он командовал нарочито деловито, и команда — хотя некоторые трусили и поглядывали воровато, как школьники, — давилась со смеху; наконец они причалили под нужным окном и завели нестройное пение, причем сначала каждый пел разное, а потом — радостно посигналив ладонями — сошлись на какой-то доницеттиевой ариетке, лишь приблизительно подходящей к случаю, но почему-то знакомой всеми.

— O dolce * ...dolce, — неслоь над задумчивой серой водой, над угрюмым камнем эфирное «наполитанское» слово.

Им показалось, что на одном из балконов явилось светлое платье; негодуяще извернувшись в обильных складках, оно тут же исчезло, но само это появление — вещественный результат их трудных усилий — вызвало среди молодых людей бурю восторга и заставило удвоить старания; некоторые уже крепко хрипели, однако надрывались. Все они стояли в раскачивающейся шлюпке, пускавшей тяжелые круги на всю ближайшую воду, в расстегнутых мундирах, со стаканами и кубками; Лунин, расставив ноги, картинно откупоривал очередную бутылку с золотой головой, когда сосед крикнул:

* — нежный, сладостный (итал.).

— Ого!

Они взглянули: к ним в двенадцать весел спешил голубой полицейский катер.

Все побросали стаканы, бутылки, упали на сиденья и с места налегли; полиция молча преследовала, они с издевательским молодым хохотом уходили — катер не отставал, но и не приближался, а берег-то приближался. Наконец они пристали к рыжим камням, взяли с собою лодочников, которым на ходу насовали в карманы червонцев, — и «рассыпанным строем» (как потом именовали этот отход) отступили в глубь соснового парка.

Последнее, что запомнил взор: серебряное, далее голубое небо, черно-серая, блестящая вода сквозь матовую зелень и стройные стволы сосен, расплзающийся под ботфортами белый балтийский песок... удаль, крики.

— Так что же. Пришли на лодке, спели серенаду, уплыли от полиции, скрылись в парке, — ответил Лунин, добродушно улыбаясь под баки и кивая в знак извинения за неучитивость-упорство покосившемуся мальчику Оржицкому.

— Что ж, Лунин. Не хотите так не хотите, — немного надувшись, отвечал подпрапорщик.

Ивашев тоже насупился, но смолчал.

Он желал расспросить о Париже, обсудить недавнее Ватерлоо, но не стал.

Лунин уже смотрел перед собой — и молча улыбнулся на мысль об обиде юношей и на свое легкое воспоминание (к чему бы оно?).

— Этот дом? — спросил Лунин через некоторое время.

Перед ними был обычный для столицы суровый с фасаду дом в четыре этажа, с двумя арками.

Ближайшая была левая.

— Этот. Привратник и горничная мною подкуплены, — краснея, «кратко» сказал Ивашев.

Лунин не мог не улыбнуться и отвернулся для этого.

Они вошли в арку и оказались в темном квадратном дворе-колодце, тоже столь обычном для нового Петербурга. Сырость, на просторе, близ неба и реки казавшаяся бодрящей свежестью, здесь была черной и серой сыростью и ничем иным. Посредине двора, как в насмешку, в песке была насыпана земляная клумба; по ней извивались ртутно-зеленые стебельки, не казавшиеся цветами. Все это было огорожено заборчиком. Стояли какие-то закрытые ящики, железные кубы и бочки; больше ничего не было.

— Тюрма, и только,— сказал, оглядевшись, Лунин.— Куда?

— В тот подъезд,— отвечал Ивашев.— Дом, конечно, не из приятных,— продолжал он, чтоб что-нибудь спокойно говорить, по мере того как они входили в подъезд, совали угрюмому, темному в темноте привратнику серебро, бодро и преувеличенно гулко стучали, звенели о камень и, таким образом, подвигались все выше и выше.— Она живет тут у матери.

— Тише. Кажется, близко?

— Да... третий этаж.

— Вот уж воистину тюрма,— споткнувшись в темноте, молвил Оржицкий.— Подумать только, как люди годами... тьма, сырость... запахи... гм.

— Не нравится? — посмеиваясь, спрашивал Лунин.

— Кому же понравится...

Они подошли — и Ивашев, нарочито ни на миг не замешкавшись, дернул шнурок. Звонok за дверью раздался глухой и как бы загадочный.

Позвонив, Ивашев, видимо, истратил весь свой запас молодечества — и несколько отступил за широкую спину, высокую фигуру Лунина. Тому пришлось входить первым, когда открыла бойкая баба лет тридцати пяти — из тех, с которыми сразу же все свободно и ясно.

— Пожалуйте,— чуть хихикнув, сказала она, раболепно и при этом как-то оскорбительно-заговорщически полу-

кланяясь. Ее вид в сумерках прихожей говорил: балуются, балуются господа, играют, играют; ну и я с ними, отчего нет.

Лунин неприязненно сунул в ее заранее подставленную съезженной лодочкой ладонь золотой и молча, по-военному, одновременно и собранно и неторопливо, прошел в комнату. Ивашев и Оржицкий молча звенели, стучали за ним; мешали сабли, задевая мебель.

Лунин оказался посредине довольно унылой комнаты, освещенной только двумя свечами, и, взявшись за спинку стула и остановившись в небрежной позе, в то же время настороженно огляделся.

Было тихо, громко и хрипло стучали большие часы в виде рыцаря; некогда было разглядывать.

Он резко оглянулся и подозвал бабу.

Она, семена, приблизилась как бы в свинцовых секундах.

— Где?

Она кивнула направо.

Тут Лунин прохладно посмотрел на Ивашева и слегка пожал плечами, как бы предлагая вспомнить, кто же все-таки похищает даму.

Ивашев понял, стал переминаться, вытаскивать ножны из портупеи; с громом положил саблю-палаш на голый фанерный стул, два раза шагнул к двери — и остановился: зачем-то полез в карман. Пола его белого мундира комически оттопырилась.

Лунин нахмурил брови, пошел к двери и, вежливо обогнув Ивашева, вошел и прикрыл ее за собой; «барышни одни дома», — успела шепнуть баба и осталась позади; Лунин оказался в другой комнате, где одно окно было зашпательено грузной портьерой, а второе впускало бледный свет петербургского вечера; свечей не было вовсе. Скорее сообразив, чем увидев, где же должны быть еще двери, Лунин вошел в следующую комнату — и остановился.

Перед ним, при трех свечах в высоких шандалах, поднялась из кресел хорошенькая, но простоватая (на французский манер простоватая) девушка в светлом платье, с высокой и напomaженной прической; она, как это часто у француженок ее типа, была вся будто белая, но с темными живыми глазами, с туповатым, задорным носиком, отчего-то весьма заметным на небольшом лице. Впрочем, глаза могли показаться темными лишь от полумрака и блеска свечей. Она замирающе и при этом... тоже воровато смотрела на Лунина; ощущалось, что она, во-первых, прекрасно осведомлена о приключении, а во-вторых, что оно и занимает, и пугает ее.

— Добрый вечер, мадемуазель, — неловко сказал, слегка кланяясь, Лунин: «да где они там, черт возьми? — подумал он тем временем. — Не мне же, наконец, действительно красть его девицу».

— Добрый вечер, — быстро и резко присев, быстрым же говором сказала француженка.

Она ожидающе и испуганно смотрела на него, именно на него, и, казалось, на миг забыла об Ивашеве.

Лунин помолчал, глядя на нее и ожидая Ивашева.

Того не было.

— Я приведу своего друга, он так стремился к вам, — усмехнувшись, сказал Лунин, невольно вложив в эту фразу некоторую долю иронии, непонятной для взволнованной девушки. — Одну минуточку.

Он, извиняясь, поклонился — и вышел.

Во второй комнате уже зажгли свечи, и при их печальном сиянии Лунин застал следующую сцену, весьма невыгодную для Ивашева.

Как и прежде, в полном молчании и в ожидании событий в стороне стоял Оржицкий, а Ивашев самым позорным образом отступал под натиском маленькой девочки в пышном белом, в горошек, платьице, с очень тонкой талией и в толстых кружевных панталончиках; при ее маленькой

головке и темных, гладко уложенных волосах все это вместе было смешно и мило.

— Вам не совестно, сударь?! — говорила она певучим голосом, готовым сорваться. — Вы! Надежда вашей матушки! — повторила она чьи-то слова. — Вы! Сударь, сударь!

Она подступала все ближе, размахивала кулачками у него перед носом.

— Но позвольте, Камиль, вам семь лет, и я бы просил... — слабо защищался весь белый, блестящий, затянутый Ивашев, птясь в угол под покосившуюся картину.

— Вы! Вам должно быть стыдно, вы, вы...

Она тянула эти «вы, вы» своим беспомощным голоском; слезы катились по ее пунцовому личику.

В первый момент Лунин хотел расхохотаться; но затем, задумчиво-смешливо глядя на позор Ивашева, он сообразил, что вся эта история, в ее целом, может выглядеть именно весьма *ridicule* *, то есть именно тем единственным образом, от которого гибнут репутации; он недолго спрашивал себя, как попало дитя в столь рискованную компанию (потом узнали, что неожиданно явилась с нянькой, — та после ушла за табаком), а тотчас понял, что надо наконец немедленно украсть девицу, иначе все они завтра же станут посмешищем двух полков; он с досадой взглянул на Оржицкого, еще раз полюбовался вконец расстроенным Ивашевым — и снова шагнул к двери.

Француженка сидела в креслах и, было видно, с возрастающей тревогой прислушиваясь к происходящему за дверями... он посмотрел...

И вдруг непроизвольно спросил, как он сам почувствовал, неким старым голосом:

— Да вы хотите ли быть похищены?

— О, нет, нет, — живо отвечала француженка, приподнимаясь в креслах и загораживаясь от подходящего Луни-

* смешной (фр.).

на детски растопыренными пальцами. — О... нет... нет. Моя матушка. О, моя матушка. Я, эти минуты. Я... моя матушка... Что, что с ней будет, бедной; я одна у нее. О, я погибла. О, как я была неосторожна. Я думала, это шутка, это... Я посмеюсь и уйду... А вам... вас, кажется, трое. Вы такие, мужчины. О, что я наделала. О, моя матушка, я одна, одна. Вы... вы хотите меня связать? Вы хотите меня закутать, связать? О, мама...

— Да погодите, — хмуро сказал Лунин, стоя над ней в своем светлеющем и сияющем кавалергардском мундире, переступая у столика сверкающими ботфортами, пугавшими ее своим шумом. — Скажите, пожалуйста... вы, что ли, любите Ивашева?

— О, нет, нет, — с готовностью отвечала французенка; вообще она отвечала на его, казалось бы, странные и неуместные вопросы так, будто их-то и ожидала. — Я думала, это шутка; я... я была кокетлива... я...

— Нельзя, мадемуазель, играть сердцами мужчин, — наставительно, как папаша, сказал Лунин, все стоя над плачущей, размазывающей по румянам слезы девушкой. — Видите... как выходит.

— Да. Да, — отрывисто повторяла французенка. — Спасите меня. Спасите. Я вижу, вы добрый сударь; спасите, — все повторяла она. — Я ошиблась... мама... о, мама...

— Я добрый сударь?

— Нет, спасите. Я не знаю, что делать; на вас вся надежда. Я вижу... я вижу, на вас вся надежда. Еще минута — и я без чести; что делать, о, что же...

— Да погодите, — с досадой отнял он руку, которую она схватила и даже пыталась поцеловать, в своем страхе и растущей истерике. — Что теперь, правда, делать?

Он чуть задумался; его взгляд упал на стакан и графин.

— У вас нет чернил? — спросил Лунин.

— Чернил?!?

— Однако же не визжите, пока вас не режут; простите

мою грубость, но она вынужденна. Впутались, а теперь даже не помогаете спасти вас.

— Вот... вот чернила... вот, вот...

— Не дрожите и не взвизгивайте, повторяю вам; дайте сюда.

Он налил полстакана воды, сделал слабый раствор.

— Пейте.

— Зачем?!

— Пейте, пейте... вот глупая. Сами знаете, это всего лишь чернила.

Вдруг она поняла: схватила стакан, стала пить, чуть накапала на светлое платье и на руки; слегка недопила и сказала:

— Так?

— Так, так,— подтвердил он с ухмылкой.

«Из комической оперы не сделаешь «Макбета», придется кончить комически»,— думал Лунин.

— Теперь откиньтесь вот этак,— командовал он.

Последний смутный взор.

— Вы отравлены, понимаете? И нечего дурить. Так, так. Я вас не трону,— нахмурился Лунин.— Лежите... стойте.

— Ох... ох,— тотчас же как бы заученно запричитала француженка.

— То-то.

Еле сдерживая смех, он предусмотрительно спрятал чернильницу с остатками чернил в ящик стола (ибо обман не должен обнаружиться тотчас же), строго приказал не болтать, хорошо играть «ролю», но и не стараться через меру, а то выйдет скандал, невыгодный для нее же,— и появился на пороге той комнаты.

Там еще продолжалась перепалка семилетней амазонки и несчастного Ивашева.

Оржицкий по-прежнему молчал в стороне, но уже посмеивался.

— Девушка отравилась,— возгласил Михаил Сергеевич Лунин, неожиданно возникая в дверях.— Вот последствия вашего злосчастного предприятия.

Все примолкли на миг.

Наконец завизжала, запричитала баба.

Маленькая девочка сияющими темными глазками смотрела то на вошедшего Лунина, то — и особенно — на поверженно-жалкого, стройного, юного Ивашева — и, казалось, многое понимала.

Оржицкий шевельнулся и посуровел.

Ивашев было кинулся к двери, но Лунин не отошел от нее.

— Нет, Базиль, вам там нечего делать,— сурово-миролюбиво сказал он, отечески сделав к нему ладонью.— Марья — или как там тебя? — поди,— сказал он по-русски.

— Не Ма-а-арья я-а-а-а...

— Марья не Марья, впредь тебе наука; сказали: стереги девку — стереги, а не балуй.

— Винова-а-ата, ба-а-атюшка.

— Теперь не ори, а поди помоги барышне. Да не подымай шуму, отравление не опасно. Не то сама же и будешь бита на съезжей.

— Не буду, не буду, батюшка,— что-то сообразив и перестав реветь, юркнула та за Лунина.

— А вы, мальчик, глупы, самонадеянны,— лениво сказал Лунин, подходя к столу со свечой.— Вовлечь всех нас в такую историю...

— Как? Вы оскорбляете меня?— после щемящей паузы недоверчиво-звонким голосом спросил Ивашев.

— Ну да,— отвечал Лунин, растягиваясь в скрипящем, разохшемся кресле всем своим большим, стройным телом и наливая себе воды.

— Так вы меня провоцируете, что ли?! — еще более

звеняще спросил Ивашев; голос его невольно дрогнул: дуэль с самим Луниным.

— Ну конечно, — отвечал Лунин.

— Так... драться... драться?!

— Хоть сейчас.

— Да, сейчас!!

— Пожалуй, вы правы; зачем откладывать? искать открытого места? сабля при вас? вы ее, случаем, не отдали своей Брюнгильде в знак полной капитуляции?

— Как... оскорбление! Драться немедленно! Да я вас сейчас убью! Вы еще и о серенаде не рассказали, чтоб оскорбить меня; драться, драться! драться!

Ивашев схватил свою саблю-палаш, выдернул из ножен — лязгнув, странно и дико для этой затхлой, тихой комнаты, сверкнула живая сталь — и кинулся к Лунину. Тот, кисло улыбаясь, даже не пошевелился в кресле — так уж ему полагалось, он знал свой «номер», круто заостренный кончик юношеского клинка замелькал перед самым его носом.

— Осторожней, — сказал Лунин, отхлебывая из стакана и задумчиво глядя перед собой; колеблющееся пламя свечи водило тени по его ленивому с виду, красивому лицу.

— В-в-ы... драться!

Лунин наконец взглянул в лицо Ивашева — и все прочел, как на листе бумаги. Ивашев, как и знал Лунин, не был по натуре задирой; и сейчас он тщетно вызывал в себе свирепость сквозь свои юношеские страх и растерянность.

— Да, вы правы, — отвечал Лунин. — Лучше покончить с этим сейчас, чем потом. — «Что я и подсказал тебе, глупцу, а ты не понимаешь», — добавил он мысленно и даже хотел сказать вслух, но, вспомнив о присутствии Оржицкого, удержался.

Он с картинным вздохом поднялся — и действительно не до драк ему было сегодня, — взял свой палаш, вынул из

ножен, но тут подскочила все та же девочка и певуче и лихорадочно запищала:

— Нет, не надо, он не виноват, *пожалейте* его...

Она цеплялась за руку, за палаш; не драться же было еще и с дерзким ребенком.

— Как? Меня? Пожалеть? — петушиным голосом завопил Ивашев. — Сейчас же! сейчас же!..

— Детский приют, сумасшедший дом, — пробормотал Лунин. — Девочка, отойди. Как тебя зовут? — по-французски спросил он, ибо и она говорила только по-французски.

— Камиль Ледантю!

— Камиль, дорогая, я не убью его. Только отойди, ради бога.

— Как! Он меня не убьет! Вы не смеее меня жалеть! — снова начал Ивашев, но Лунин, повысив голос, в досаде оборвал:

— Не кричите. Деретесь или нет? Камиль, отойди, прошу; все будет прекрасно.

— Пожалейте его...

— Да, да; уйди дальше, сядь туда. Вообще, вышла бы из комнаты... Ну, занесло меня...

Камиль наконец поняла, испугалась, запищала и, сжавшись, забила на ларь в далекий угол; Лунин, Ивашев сделали несколько выпадов — грозно и оглушающе трещала, искрила в комнате резкая сталь. — Лунин рубящим ударом задел Ивашева по плечу — на белом показалась кровь — девочка завизжала — Оржицкий картинно кинулся к Ивашеву — Лунин положил на стул палаш, опять опустился в соседнее кресло, вытянул ноги и с усмешкой на их суету сказал:

— Оторвите от сорочки; стяните. Через полчаса все присохнет. Что делать... Мне-то бояться нечего, а вам пока еще следует дорожить репутацией... милые юноши.

— Вы напрасно... вам нечего бояться... — прерываю-

щимся дискантом говорил вконец пристыженный Ивашев.

— Нет, не напрасно,— с неожиданным значением в голосе отвечал Лунин.

Перевязывающий Оржицкий и сам Ивашев невольно умолкли на эту значительность.

— Ибо я выхожу в отставку, друзья мои,— с намеренным спокойствием продолжал Лунин, по-прежнему вытянувшись в кресле и задумчиво глядя в одну точку.

Чувствовалось, как он специально говорит это тоном человека, который готов к тому, что слух распространится и в свете, и в гвардии.

— Как?

— Отчего? — приостановились юноши.

— Это — иная тема,— медленно отвечивал Лунин.— А дело есть дело.

Они помолчали.

— Очень жаль, Михаил Сергеевич,— совершенно просто сказал Ивашев. Его лицо стало обычным и мирно-добрым.

— Да, жаль,— неловко-обиженно подтвердил Оржицкий.

Вид у него был такой, что, мол, ну вот, только начал служить, только вступил в эту прекрасную, ясную, веселую жизнь, только познакомился с Луниным — с Луниным! — и вот он, Лунин, уже уходит.

— Да, жаль,— усмехнулся Лунин.

* *
*

Кажется, наша жизнь движется благодаря событию.

Есть оно — и время начинает свой счет: как в голландской mine, включен тайный маятник.

Нет событий заметных — и твоего времени как бы нет, особенно для чужого ока.

Если человек прожил полгода или год без таких событий, окружающим представляется, что он был как бы вне времени — оно шло, стучало мимо него.

Между тем оно молчало внутри его; и кто знает — стоит оно, когда оно молчит, или идет ускоренным маршем.

Полгода (год?) было как-то не слишком слышно о Лунии; ходили толки, но все были ненадежны.

Будто бы он сказал, что весна будет поздняя и распутица помешает учениям; что Южные Колонии дерутся с испанцами, а тут как бы скрутить своих собственных испанцев национальных; что Робеспьер был во многом прав, но это еще надобно обдумать; что медведи покладистее собак, и это доказано зоологией; что с турками не миновать новой войны; что европейские женщины не в пример хитрее российских; что надобно собрать умных, деятельных людей и все решить; а что же решать? — неизвестно; а раз, мол, не понимаете, то и молчание; что добрый охотник держит псарню, где длинношерстные борзые преобладают над всеми прочими; что сам он, Луний, обдумывает прожект одного действия, о коем говорил неохотно и в подробности не захотел войти; что комета двенадцатого года даст марку новых вин; что Меттерних лиса, но в высшем смысле глуп; что сестра Екатерина Сергеевна для него, Лунина, милее, чем парады на Марсовом поле; что доходы от имений не так чтоб малы, но суров отец, Сергей Михайлович; что быть ненастному лету на тот год; что хорошо жениться до двадцати пяти лет; что не надобно вовсе жениться; что лето на тот год будет жаркое.

Такие отрывки фраз, важных сентенций, пустяковой болтовни можно было слышать в гостиных, казармах, на плац-парадах, на Невском в группе сошедшихся киверов и косматых касок, ежели упоминалось имя Лунина; ничего особенного, «эмфатического», как видно, не было в этих

толках; Лунин — ну, Лунин, а что? — и все; но что же сам Лунин?

Странное чувство испытывал в эти годы Лунин, когда из сфер жизни как бы несерьезных попадал в сферы серьезные, в сферы, казалось бы, самой судьбой предназначенные для того, чтобы в них открывалось существо человека — снимались маски, в сферы, где ценности глубоки, а не «внешни»; люди в то время любили бравировать тайной, тем, что они внешне пусты и лихи, но что-то скрывают; он же, попав в серьезные сферы, тотчас начинал испытывать веселость и раздражение и как бы думать, что серьезность была не здесь, а в том, в несерьезном.

Михаил Лунин и Никита Муравьев сидели по разные стороны дивана и молча и непроизвольно картинно посасывали трубки. Лунин был в сюртуке, Никита — в расстегнутом темном мундире гвардейского Генерального штаба. Третий был Пестель. Он сидел за столом — тоже кавалергард, но невелик ростом, светел, холодно-красив и коротко стрижен. Это первое, что можно было о нем сказать. Разговор шел важный; Лунин с как бы незримой улыбкой воспринимал новый переход от жизни «внешней» к жизни иной, которую ныне представлял Пестель.

Пестель, из немцев, сын сибирского «проконсула» Ивана Борисовича Пестеля — генерал-губернатора, лютого владыки всего, что за Уралом (того самого, чей петербургский дворец стоял стена в стену с «домом Мижуева»), — молодой человек не более двадцати пяти лет, розовощекий и сероглазый, с заметным лбом, длинными зубами, «академик» из Дрездена, затем камер-паж, затем адъютант графа Витгенштейна, затем уж придворный кавалерист, говорил о русском народе, о мудрости и о трезвости. Его слушали молодой Никита — серьезно и несколько нервно, старший Лунин (двоюродный брат Никиты) — с обычным своим добродушием.

Манера Пестеля была улыбочиво-настороженная и вежливая — и словно бы тайно-спокойная, будто он говорил не сам по себе, а от имени войска, стоящего за его плечами и сильно превосходящего войско противника, или знал нечто несомненное и огромное, неизвестное собеседникам.

— Я не буду прикидываться, что мы теперь сошлись для того, чтобы поговорить о прелестях Истоминой или выпить стакан ай. Я доверяю вам и прямо говорю о том, о чем вы и сами думаете. Некто должен говорить, а не только думать, чтобы после начать и действовать. Положение невыносимо; вы это знаете. Вы, просвещенные военные, цвет русского дворянства, бывшие в походе, — вы не можете не знать того, что нынче, в 1816-м, знают еще не все, но лет через пять, через десять узнают. Государь глуп и недалновиден, крестьяне разорены, весь народ невежествен, дворянство развращено и беспечно, хозяйство запущено и убого.

Никита при каждой очередной мысли, высказанной в этой фразе, чуть подавался вперед и еле заметно кивал, прямо и внимательно глядя на говорящего большими светлыми глазами под темно-русыми волосами, время от времени отрывисто отбрасываемыми то крупной рукой с тремя яркими перстнями, то движением головы; особенно подействовала на него самая первая часть: «Государь глуп и...»; если бы Пестель сказал «царь глуп» или «государь недалновиден», это было бы обычнее; но спокойное, вежливо-розовощекое, несоединимое: «государь глуп...» Лунин слушал, будто в опере. Пестель, в своем увлечении, краем глаза видел разницу в отношении слушающих — и невольно обращался к Никите, а не к Мишелю.

— Если не взять меры вовремя, положение государства станет безвыходным. Дело мыслящего дворянства — не допустить до этого. Я предлагаю вам осуществить наконец союз, по внешности ничем не отличающийся от нынешних многочисленных пустых обществ, занятых либо масонст-

вом, либо литературными заботами. Таким образом мы не возбудим подозрения и спокойно разработаем нашу программу, стратегию и тактику. Вы не самые первые, к кому я обращаюсь с этим предложением, но одни из первых; сколько мне известно, Никита и сам имеет соображения на сей счет, и у вас есть кружок собеседников, мыслящих соответственно; иначе я бы не завел этого — согласитесь, дерзкого — разговора; итак, господа, вы одни из доверенных лиц. Ваше дело — отнестись ко мне с полной откровенностью или нет; предупреждаю только, что в случае невозможности такой откровенности вам следует тут же остановить наш разговор: вы понимаете.

Никита кивнул, кивнул два раза — конечно, конечно, продолжайте, ясно; Лунин — сквозь трубку — улыбнулся с таким видом, что, мол, продолжай, ведь все равно ты продолжишь; Пестель пристально посмотрел на обоих — на Лунина дольше — и продолжал:

— За обедом я произнес удивившие вас слова — об изучении наук юридических; теперь попробую объяснить. Нынешние законоположения определены заезжими немцами, мы же должны сообразоваться с народом, с которым имеем дело. Прежде всего, нужно, чтобы предложенные нами законы отвечали преданию и старым русским правилам. Вопреки стараниям Николая Михайловича Карамзина, объективная история учит, что самодержавие и рабство не проистекают из характера и происхождения русского народа, а привнесены случайно. Тут повинны разбойник Рюрик и его шайка и позднейшие преступления против законов и уложений. Настоящее рабство началось только с окончания шестнадцатого-семнадцатого столетий. До этого не только Новгород, но и Москва и ее веси были свободны и близки то к республиканскому, то к умеренно монархическому устройству. Наш долг, — полагаясь на это полезное предание, разработать нынешние законы и уложения, чтобы, обращаясь к власти за спра-

ведливостью, народ встречал не прихоть государя, равно произвольно дарующего милости и определяющего наказания, а твердые правила, написанные верной рукой и идущие от просвещенного ума. Когда мы придем к власти,— продолжал он обыденным, четким голосом (а Никита пошевелился),— все должно быть готово. Мы не должны уподобиться тем, кто сначала действует, а потом думает. Мы должны будем немедленно предложить России новое и подробно разработанное устройство. Этим я занят теперь. Я... — Все-таки еще неопытный, он на миг смутился; явно он хотел преувеличить, но устыдил себя.— У меня есть наброски свода законов; в дальнейшем я предполагаю продолжить и завершить работу. Собственно, начать и завершить,— поправился он с улыбкой, одновременно скупой и откровенной.— Я еще не решил окончательно, что более подходит нынешнему положению России — республика или законно-свободная монархия; сам я склоняюсь к идее республиканской, однако же народ привык к власти прямой и четкой.

— У меня также есть записи на сей счет,— в своей живой манере, несколько подаваясь вперед, вставил Никита.— Но продолжайте, Поль,— тут же отстранился он; в нем виден был такт человека, который наедине с собой и близким человеком собран, а в обществе все время помнит о собеседниках и иногда как бы уступает место.

— Вот некоторые мысли,— продолжал Пестель.— Россия — большая страна; прежде всего, ее надо поделить на края, округа, регионы — за названием дело не станет; например, Северо-Запад — округ Холмогорский, затем округ Северский или Северянский... и далее; во главе каждого края будет стоять чиновник, называемый, по русскому обычаю, например, воеводою.

— Воевода Сибири Иван Борисович Пестель,— оторвавшись от трубки, с улыбкой проговорил Лунин, как бы поверяя на слух несколько неловкое звучание этих слов.

Павел Иванович Пестель едва заметно нахмурился, но вообще не подал виду:

— Во главе государства будут законодательный и исполнительный органы, устройство которых еще надобно обдумать. Власть на местах должна быть достаточно сильна, ибо лень и анархия, свойственные русскому народу, должны получить достойный противувес. Власть верховного правителя тоже должна быть велика. Я не думаю, чтобы имело смысл устраивать триумвираты и тому подобные противоестественные верховные союзы вроде Директории, приведшей к взятию полной власти Бонапартом; это лишь раздробит силы, создаст разноречия во мнениях. Во главе всего должен быть человек, обладающий всей полнотой ответственности. Вече, правительство и закон не допустят, чтобы он злоупотребил властью; все это еще надобно трезво обдумать и разработать, но исходные принципы, мне думается, должны быть лишены ослабляющих моментов. Однако, господа, я слишком долго говорю; я хотел бы наконец слышать ваше мнение.

Пестель — розовощекий и четкий — замолчал, спокойно и пристально оглядывая Муравьева и Лунина; в комнате был полумрак, на столе, за которым сидел Павел Иванович, горели две свечи и слабая лампа (свечка под розовым с зеленым колпаком), озаряя все его лицо и спокойные, блестящие тайным напором и мыслью глаза; Муравьев и Лунин были в тени, но глаза обоих резко сияли по направлению к Пестелю.

Как только он кончил, Никита стал водить ладонями по лбу, по распавшимся волосам, по бокам; он имел вид человека, который немедленно должен ответить перед огромной толпой или перед собравшимся воедино большим семейством по важному делу, лично ему порученному; он забыл о существовании Лунина и подыскивал слова, чтобы достойно и дельно отвечать спокойному, деловитому Пестелю.

Лунин, напротив, — видя приготовления Никиты — возмущенно попыхивал трубкой и ждал дальнейшего.

— Вы совершенно правы, любезный Поль, Павел Иванович, в самой идее вашего общества, — заговорил Никита. — Хотя, должен признаться, мысль о республике отчасти смущает меня, — та ли страна Россия, где ныне возможна республика?! — но это второй или третий пункт, да и вы сами еще не решили, а сегодня важно договориться о самом принципе... Как вы, однако, полагаете взять власть? — остановился он; вопрос пришел ему в голову явно без умысла.

В лице Пестеля произошло движение.

«Я так и полагал, что ответят подобным образом; эта боязнь республики, этот вопрос о цене, жертвах: извечное, привычное сомнение», — сказала его намеренно вежливое, но невольно откровенное, выразительное в своей молодости лицо.

Пестель подождал, как бы дав понять с некоторой досадой, что он теперь приготовился выслушивать, а не отвечать; затем возразил:

— Войско должно предложить нынешней императорской фамилии отречься от престола. Если последует отказ, взять силой.

— А... императорская фамилия?

Пестель помедлил с еще большей досадой и даже с раздражением; он слегка двинулся на стуле, повел руками, замком лежащими на столе.

— Никита... Михайлович, — сказал он (они были на той степени знакомства, когда «ты», «вы» не установились), — позвольте, сначала договоримся о цели, о главном.

— Да, да, вы правы. Вы совершенно правы, но, видите ли... — В отличие от Пестеля, он говорил не заготовленное, а мыслил на ходу, что было определено и ролью их в разговоре. — Видите ли, я понимаю, тактика тактикой, стратегия стратегией, и я совершенно разделяю ваши ис-

ходные убеждения — да и есть ли ныне в России честные люди, которые их не разделяют! — но, по сути... простите меня, вопрос, который я задал... этот вопрос тоже имеет отношение... Тут не только сама императорская фамилия, тут дело в том, какой вообще ценой будет куплена русская свобода; история Франции за последние три десятилетия, борьба испанских колоний говорят нам о том, что...

— Никита Михайлович, — негромко, но безусловно точно, впопад прервал Пестель, так, что нельзя было не остановиться, хотя прервал он не конец и не паузу, а самое начало, ход мысли, — Никита Михайлович, — еще ниже тоном повторил он, заметив, что Никита и верно умолк, — предупреждаю вас, что, если вы начинаете с *этого*, вам не следует вступать в дело. — Он буднично произнес это невежливое — «вступать». — История, опыт давно, хотя покамест безуспешно, учат, что тот, кто хочет всех помирить, должен быть просто дальше от дел подобного рода.

— Но отчего же? — горячо и серьезно возразил Муравьев, весь подавшись вперед с дивана, слегка разведя руками с растопыренными пальцами в ярких перстнях. — Неужто нельзя иначе? Не думайте, я не так глуп, чтобы полагать, будто власть имеющие сами уступят свои права, невежественные рабовладельцы, работорговцы немедленно образумятся под лучом просвещения, народ станет бодр и трудолюбив, чиновники честны. Нет, я не наивен. Но что же? Что делать? это надо обдумать всерьез, всерьез. — Он волновался. — Начинать с крови. Это прежде всего приведет и не к тем последствиям, которых вы ждете. Вы не знаете. Я, будущий семейный человек...

— Я вижу, вам не следует вступать в мое общество, — скучно улыбаясь, проговорил Пестель, спокойно, между прочим произнеся это заметное слово — «мое». — Вам, полагаю...

— Нет! нет! — живо возразил Муравьев. — Нет, вы не правы! Нет, я вступаю. Я не только вступлю, я буду вся-

чески... я отдам жизнь... Мало того, именно потому, что я сомневаюсь ныне, я буду особенно тверд.

— Сомневаюсь в этом со своей стороны, — четко возразил Пестель.

— Нет, нет, я поборю себя, я переступлю свои чувства; высшее дело превыше всего. У меня есть свои мысли о положении, о законах России; да, неправ Николай Михайлович Карамзин, поклонник самодержавия, приятель отца, и я сам скажу — сам сказал ему об этом; у меня есть убеждение, что далее подобная жизнь невозможна, что верные отечеству люди обязаны возвысить голос.

— Но смена государственного уклада — это не только добрые слова, — сказал Пестель, с невольным одобрением глядя на серьезного, волнующегося Никиту. — Мы вынуждены будем пойти на разные меры, способствующие общему благу, но не всегда приятные... таким, как вы, — окончил он, улыбкой ослабляя резкость.

— Я понимаю! Дисциплина, мысль, трезвость!

— Именно. Прибавьте, например, — тайна.

— Да.

— При первых шагах общества мы должны будем соблюдать все предосторожности, необходимые при таком предприятии. Принимаемые члены не должны знать верховной думы (или как там мы назовем учредителей). Нужно слепое повиновение, это одно из главных условий, которые надо ставить перед всеми вновь принимаемыми. Кровь не является нашей целью, но, если встанет необходимость, она не должна смущать. Я намерен оповестить членов, что в случае, если они ослабуют и донесут правительству, пощады не будет никому: я первый все поведу так, что никто не спасется. В полках, эскадрах мы порой должны быть не добрыми «отцами», смягчающими участь солдат, а — если надобно — даже усиливать жестокость, чтобы возбуждать тем большую ненависть к правительству: ведь мы пока для нижних чинов — представители его.

Общество можно назвать как-либо красиво — например, Союз спасения, Союз истинных и верных сынов отечества, — но суть его должна быть — тайна и дисциплина. И, если угодно, закрытая иерархия, как ни прискорбно это звучит для чувствительного уха, воспитанного Жуковским, Стерном, — суховато остановился Пестель.

— Гм... браво, — задумчиво молвил Лунин.

Пестель взглянул на него — и, ощутилось, не понял, ирония это или действительное одобрение; на лице отразилась досада; он вновь, уже холодно, посмотрел на Лунина.

— Только тогда мы достигнем конечной цели — просвещения, хозяйственного расцвета, изгнания самодержцев, отмены рабства, только тогда мы встанем на один уровень с остальной Европой.

— Да Европа ли мы вообще? — с прежним добродушием спросил Лунин.

— Я не понимаю вас, сударь, — возразил Пестель. — То есть я понимаю суть вашей мысли, но не вижу, чтобы она относилась к нынешнему делу. Мне кажется, вы сказали просто так.

— Вы правы, — миролюбиво подтвердил Лунин, снова всасываясь в пресловутую трубку, все более раздражавшую Пестеля. Вообще, насколько ему, несмотря на все встречаемые возражения и сомнения, внутренне приятно было говорить с Муравьевым, настолько же его, было видно, все более тяготило присутствие Лунина.

Появилась представительная, седеющая, в домашнем платье и шали Екатерина Федоровна, мать Никиты.

— Все умничаете. И ты, Мишель? Не стыдно? Хотите ли чаю?

— Нет, матушка, — улыбаясь, отвечал Никита от имени вставших офицеров.

Она исчезла, они уселись и помолчали, вспоминая, в чем была суть.

— Ваши условия жестоки, — задумчиво сказал Му-

равьев, — но, по всей вероятности, вы и в этом правы. Некоторые из частных мер — например, о нарочитых притеснениях в полках — можно оспорить, но исходная мысль верна.

— А вы что скажете, Лунин? — вдруг прямо обратился Пестель. — Известно, что вы не последний человек в кружке.

Разница в возрасте вдруг проскользнула во взгляде Лунина, обращенном на спросившего.

Лунин спокойно слегка отвел глаза — прямой взгляд Пестеля мешал обдумать ответ, — помолчал и сказал, опять переводя взор на Пестеля:

— Я вижу, что исходные мысли бесспорны. Сколько времени, однако, вы полагаете на приготовление переворота?

Он буднично, как говорил и Пестель, произнес последнее слово.

Пестель кивнул, и на лице его явно выразилось удовольствие оттого, что он должен «поправить» мнение о Луине; он, заметно, сильнее стиснул руки — и весьма серьезно проговорил:

— Это — верный вопрос. Я думаю, нам потребуется немало времени. Дело трудно.

— Сколько же? — в прежней манере, нисколько не измененной новым тоном Пестеля, спросил Лунин.

— Лет пятнадцать. Точнее — по обстоятельствам, — не умея скрыть напряжения в голосе, отвечал Пестель.

Лунин молчал; все молчали. Вопрос был действительно важен; одно — разговоры и даже тайные действия и собрания, другое — ясные сроки открытого бунта.

— Скорее нельзя? — как бы размышляя на ходу, без всякой насмешки спросил Лунин.

Он спросил как бы не столько Пестеля, сколько сам себя — глядя чуть вниз, в одну точку перед собой, «глодая» трубку; но отвечал Пестель:

— Мне думается, не ранее пятнадцати лет.
— Но есть средства ускорить естественный ход событий.

— Есть. Но что вы имеете в виду? — спросил Пестель, внимательно выслушав Лунина и немного подождав, не объяснит ли он сам свою мысль.

— Например, убийство царя.

Муравьев пошевелился, глядя на двоюродного брата; Пестель глазом не моргнул, но отвечал сухим вопросом:

— Эта мысль заслуживает внимания, но тут вся трудность в людях. Ведь необходимо знать, что, учитывая привычку народа к божественной идее о самодержавии и самую резкость этой меры, новое правление будет принуждено отречься от убийц и предать их толпе или суду. Кто пойдет на это? У кого хватит сил?

«Да у тебя все промерено», — мысленно сказал Лунин, с отчужденным уважением глядя на Пестеля.

— Я, например. Можно составить партию в масках, своего рода обреченный отряд, который я берусь возглавить; я встречу царя, к примеру, на царскосельской дороге, убью его, а вы казните меня как цареубийцу.

— Ну, Мишель! — чуть всплеснул руками, до этого уставленными в колена, Никита.

Лунин и теперь говорил тоном человека несколько более старшего, чем Пестель, и помнящего об этом. Пестель не обращал внимания на тон и одобрительно и заинтересованно улыбался, блестящими в свете свечей глазами глядя на затененного Лунина.

— Нет, это принять нельзя, — подумав, сказал он, когда Лунин кончил. — Это не будет понято; слишком рано. Вы даром погибнете, только и всего. Вместо нынешнего царя сядет Константин, вас же четвертуют, тем и кончится.

— Павла убили, и никого не четвертовали, — усмехнулся Лунин.

— То было другое.

— Да, — тотчас кивнул Лунин.

— Кроме того, если четвертовать, так надобно было пачать с самого наследника, — вставил потревоженный, как бы бодрый Никита.

— Да, знал, что убьют, и не пожалел папашу, — с прежней задумчивостью сказал Лунин. — А мы жалеем.

— Нет, я не жалею, но дело не приготовлено, — возразил Пестель. — Однако же, если развитие тайного общества пойдет успешно, позвольте на будущее иметь ваш... проект в виду, — сказал Пестель.

— Пожалуйста, — буркнул Лунин.

— Пока же, господа, позвольте считать, что мы предварительно договорились, — несколько высокопарно провозгласил Пестель.

Муравьев импульсивно закивал, Лунин же будто не слышал произнесенных слов.

Пестель терпеливо подождал и спросил:

— Мишель?

— Да, конечно, — несколько встрепнулся Лунин. — Но вряд ли вы можете на меня рассчитывать в ближайшее время.

— Что ж? вам не нравится моя программа? моя медлительность?

— Отчего же? вы во многом правы. Но вы не знаете страны. Кроме того, это и верно не по мне.

— *Что же не по вас?* — впервые за вечер недоумевал Пестель.

— А вот это: сначала энциклопедию написать, а потом уж браться за бунт, — улыбаясь, возразил Лунин. — Вас ждет много трудного, Поль, — после небольшого молчания, тоже смягчая улыбкой некоторую чрезмерную прямоту мысли, продолжал Лунин. — Вы, действительно, не во Франции и даже не в Пруссии. Я, после Парижа, был в своем поместьи... Какой разительный переход... да надо ли

объяснять это? Вам — надо; я вижу. Ваш отец мог бы вам объяснить, да, по всей вероятности, не успел.

— Так вы отказываетесь вступить? — розовея, спросил Пестель.

— Нет, не отказываюсь, отчего же, — сказал Лунин. — Но если бы *дело* — так. А сейчас я не могу быть вам полезен.

— Будто, кроме убийства, нет дел! — по-детски повысив голос, отвечал Пестель.

Лунин улыбнулся.

— Я не так кровожаден, несмотря на дуэли, — сказал Лунин, как бы рисуясь и тут же вводя иронию над своей рисовкой.

— Кстати, Мишель имеет обыкновение стрелять на воздух, — более душой за брата, вставил Никита.

— Благодарю, Никитушка, — шире усмехнулся кузен. — Но вы, Поль, меня не поняли. Я не обязательно об убийстве; просто, делая нечто, я должен сознавать, что это сейчас отвечает моему чувству истины.

— А в нашем деле нет истины?!

— Вы не понимаете, — как бы озабоченно глядя в сторону, отвечал Лунин.

— Мишель вышел в отставку, — оправдывая, выгораживая брата, поспешно сказал Никита.

— Не только в отставку, но, по всей видимости, уеду из России, — спокойно продолжал Лунин. — Здесь мне — нет места.

— Что? Мишель, ты уезжаешь? И не сказал? — вскинулся Никита.

— Я давно думал об этом, но только теперь мне все ясно... Кроме всего, у меня давние нелады с отцом. Я, как ты знаешь, переехал из его дома. В Париже (наверное, туда!) я смогу сам зарабатывать на жизнь, здесь — нет. Зависимость тягостна.

— Но служба в кавалергардах могла бы более способ-

ствовать общим нашим заботам,— сдержанно-сухо проговорил Пестель.— Кавалергардский полк полон свободомыслия, там...

— Кавалергарды? Свободомыслие? Юноши наподобие корнета Ивашева? Никита вон, было такое, не захотел с ним идти по пустяшной истории, боясь повредить себе репутацию,— ухмыльнулся Лунин.

— Нет, ты напрасно, я просто не одобряю такие вещи. Я люблю, уважаю семейный принцип,— серьезно и горячо вмешался Никита.

— Есть князь Сергей Волконский.

— Да, да. Волконский. Молодые умные юнкеры вроде Анненкова.

— И этот.

— Но я имею решение, и оно неизменно,— слегка нахмурившись, отвечал Лунин с той нарочитой четкостью, которая должна была дать понять, что дальнейшие уговоры неуместны.

— Очень жаль. Ваше дело,— весьма сухо отвечал Пестель.

Лунин смолчал, шевеля губами трубку.

— Нам нужны такие, как вы, Лунин,— явно поддавшись нерассчитанному порыву, сказал Пестель.— Но...

И он, не окончив, задумался в свою очередь.

Лунин молчал, вновь давая понять, что беседа кончена.

Никита встал и — стройный и довольно высокий, но при этом и будто широкий — задел стол, поддержнул расстегнутый мундир — пошел кликнуть чаю.

* *
*

Словом, «блестящий кавалергард» Михаил Сергеевич Лунин неожиданно вышел в отставку и перешел на положение вольного дворянина.

Все были удивлены: никаких видимых причин для отставки не было.

Впрочем, экстравагантности были в натуре «этого повеса»; все поговорили — и успокоились.

Лунин, бодрый и одинокий, действительно готовился к отъезду во Францию. Алексея Еремеева он отправил в Тамбов, ибо отец, Сергей Михайлович Лунин, не дал денег довольно, чтоб содержать слугу. Вышли утомительные раздоры с таможенным «сбродом», поскольку «Санкт-Петербургские ведомости», в своем педантическом «Прибавлении», успели объявить два раза — 30 мая и 2 июня 1816 года: «Михайло Сергеевич Лунин, отставной гвардии ротмистр и кавалер с дворовым человеком Алексеем Еремеевым, жив. в Малой Коломне в доме госпожи Дубецкой, № 17», — в списке отъезжающих. Где дворовый человек? Отчего? Сколько денег? И каковы бумаги?

Раздав долги, рассчитавшись с угрюмой, степенной, деловой хозяйкой, которая готова отослать на луну, лишь бы вместо причитающихся «остатних» 76 копеек серебром отдал рубль, а не 80 (отдал червонец: не разбираться), напившись раз десять с бывшими полковыми друзьями, с преображенцами, гвардейцами Генерального штаба, с лейб-гвардии гродненскими гусарами, не совсем законно гостившими в Петербурге, но бушевавшими по всякому поводу на весь Невский, горячо распроставшись с милой и строгой Екатериной Федоровной, не перестававшей покачивать головой, глядя на его «статское» платье, лишний раз сдержанно, но взаимно сердито поговорив с «ретроградным» и властным отцом, ласково написав милой сестре Екатерине Сергеевне, бывшей в поместьи, наорав на кучера, на три часа задержавшего коляску в порт, дав по шее грузчику, желавшему стянуть из мягкого чемодана-портмоне две фамильных непельницы, душевно обнявшись — еще раз! — с взволнованным, внутренне озабоченным, беспокойным Никитой, вновь и вновь взглянув на

дома, деревья, воду и шпили туманного, светлого Петербурга, Михаил Сергеевич Лунин вступил наконец на плавно колеблемую свежешошную палубу французского торгового брига «Фиделите» («Верность!»), груженного салом и «приписанного к Дьенпу», и начал, облокотившись на поручни, задумчиво наблюдать, как работают тали, лебедки, ведя загрузку.

С досадой прислушиваясь к скрежету зубцов, шестерен и тросов, оглядываясь на мачты, где ленивые матросы ползали по веревочным лестницам, проверяя исправность всех своих гротов, фоков, бом-брамселей, стакселей, — Лунин не заметил, как подошел Ипполит Оже — и неожиданно обнял за плечи.

Одним движением вырвавшись и механическим жестом схватившись за пояс слева, Михаил Лунин, однако, тотчас же узнал друга — и весело засмеялся в новые усы. Он отстранился и оглядывал Ипполита.

Желая испугать Лунина, но не ожидав столь резких движений, — забыв, что имеет дело с военным, прошедшим от Аустерлица до Парижа и к тому же меченным десятками дуэльных пуль, шпаг, — Оже также отпрянул — и после лишь засмеялся тоже.

— Вы здесь, — сказал Лунин. — Здравствуйте. Итак, к вам на родину, любезный Ипполит.

— Да, — отвечал Ипполит, с произвольным волнением глядя в серое море, слегка бурлившее за черно-серой твердыней Кронштадта.

Лунин оглянулся на море.

— Конечно, — сказал он, — я должен испытывать грустные чувства. Родина позади, впереди — неизвестность. Но что за радостное, бодрое нечто посещает душу, когда впереди — движение, мгла? Отчего?

Он говорил как бы несколько по обязанности.

— Вы близки байроническому началу, мой друг, — мечтательно молвил женственный, молодой, весь в черном (по

новой сен-жерменской моде) Оже.— Стремление вдаль, разочарование в...

— Оставьте, друг,— отвечал Мишель.— Разве вы не видите, как пусты все слова, в том числе и эти, перед — ну, хотя бы даже перед этим ненастным небом, угрюмым морем.

— Но Байрон любит природу, и наш Шатобриан...

— Не забудьте Жан-Жака.

— Да, и Руссо, и даже Ламартин — все они говорят, что дикая жизнь, что скалы, море и небо — это... глубокая истина мира.

— Ну. Ну, ну,— погладил Луниин твердый, английский рукав своего собеседника.

Он познакомился с Ипполитом прошлый год, в Вильно, когда там стояли лейб-гвардии Измайловский и его, Лунина, кавалергардский полки. Оже был подпоручик русской службы, куда определился еще в Париже в 1814-м, будучи роялистом, хрупким аристократом; однако в России он быстро понял, что игра в реставрации и белые знамена приятна не далее на восток, чем до Вислы и живописных снегов Шварцвальда. Он испросил отставки и благополучно спешил в свою прекрасную Францию. Луниин увлекал Оже своим мужеством, ясным умом, улыбкой и будто таинственным чувством чего-то, чего Оже не мог понять в могучей России и во всем мире.

Самому Луниину не очень нравились все эти полуженственные привязанности к нему то тех, то иных юношей, вечно ждавших «чего-то»; он не любил, когда люди ждут от *кого-либо* (не от себя), и он знал, что эти привязанности обыкновенно кончаются холодом: при первой неудаче всякий молодой честолюбец или просто неопытный или просто слабый юноша склонен обвинять не себя, а своего кумира. Но не сотвори — не обвинишь.

Луниин не отвергал Оже, как не отвергал почти никого; он предоставлял глядеть себе в рот сколько угодно, при

этом будучи неизменно готов отпустить на все четыре стороны, дать развенчивать себя тоже как угодно.

Но, видимо, эта свобода обращения еще более приковывала Оже, как и иных. Человеку, особенно «женственно-го» склада, свойственно стремиться покорить то, что свободно; оно вызывает как бы ревность.

Они постояли, глядя то в дальнее серо-синее, серо-черное, серо-желтое море, то на мачты, где начинали разворачиваться на своих канатах и реях тяжелые матово-белые, грубохолстинные паруса; на Кронштадт и на Петербург.

— Десятое сентября! а будто ноябрь,— посетовал Оже.

— Не хотите ли опять увидеть символику? «My native land, good-bye» *? — отозвался Лунин.

Его ирония была не саркастична; он говорил так, будто на деле добр и спокоен и нечто знает; но, мол, положено быть иронии.

Глядя на него, Оже не совсем понимал, каким образом этот человек успел со столькими перессориться и выдержать столько «битв». В то же время он знал по рассказам, что на самих поединках Лунин держался примерно так же. Бывало, он бесил и заставлял раз за разом палить по себе не столько за подлинные обиды, сколько именно за это свое непобедимое равнодушное добродушие или добродушное равнодушие. Так было с Алексеем Орловым и многими. Может быть, как раз благодаря этому качеству Лунин выходил невредимым и из кровопролитных военных дел, включая Аустерлиц, где был уничтожен чуть ли не весь русский конный гвардейский состав; а от дуэльных ранений оправлялся с быстротой рыси, потрепанной волками.

Думая друг о друге, приятели-спутники прогуливались по все колеблющейся палубе; неизъяснимое наслаждение ощущает минутами смутное сердце, зная упругие, мягкие, еле чувствуемые телом движения — дыхание большого,

* «Родина моя, прощай» (англ.).

тяжелого, готового к отплытию корабля — большого, тяжелого моря; большого и тяжкого океана.

Они спустились в каюту и, сидя в этом уютном ящике, обшитом рыжей фанерой и темным деревом и пропускающем в себя серый свет сквозь круглые иллюминаторы под самым потолком, еще поговорили о Франции и России, о Петербурге, о Байроне, о политике; между тем наверху шла невидимая работа, в теле корабля ощущалось все более волнения и свободы.

Когда они снова вышли на палубу, черно-серая, обтекаемая громада Кронштадта была уже за кормой, а вокруг уныло серебрилось просторное море.

* *

*

В Париже Михаил Луний поселился на скромной улице Гальон, в меблированных комнатах, предназначенных отнюдь не для тех, кто вкусил хлеба и вина из дворцов.

С первого взгляда усвоив это, Луний отнесся к своему новому жилищу с той простотой и грустью, которых было достойно все его неуловимо временное, неверное, но бодрое пребывание в знакомом и новом мире Парижа.

Разворачивая газеты, Луний в задумчивости вникал в принципы, фразы, которыми жила сегодня столица мира. «Поменьше усердия», — объявили правители; недурно. Верно, устали за двадцать пять лет. Памяти герцога Энгийенского. Герцог Беррийский дождется своего. Сообщения из Турени, Сен-Сира: пожалованы земли, ренты, пенсии, замки, чины старым главам родов, пострадавших при Робеспьере, Жиронде и Бонапарте. Верная Вандея. Мир над столицей. Э, вот известие из «Колумбии».

Он откидывался в кресле и думал.

Корабль из Марселя, если не задержат англичане в своем Гибралтаре, — англичане, вечно не знающие, за кого они — за чужих повстанцев или за чужого короля, ибо

повстанцы шатают соперничающий трон, а это выгодно Англии, но король сохраняет неизменным принцип традиции, что тоже выгодно Англии; особенно после передрыг 1775-го в их Новом и 1789-го (и далее!) в континентальном Старом Свете, — если нет, то через месяц (?) плавания он будет у берегов Полуденной Америки.

Армия Боливара.

Предмет мечтаний многих — и даже Байрона.

Но однако...

Он отстранял газету — сидел в шатком кресле, смутным взором окидывая свое тесное, тихое, свое прочное и временное жилище.

Старые обои, стол под странной вязаной скатертью, два простых стула, громадная железная кровать с нелепым вензелем, окно с толстой голубой гардиной, упирающееся в серую стену: комната выходит в «колодец». В бедном шкафу — необходимое платье, два чемодана, портмоне и несессер, у двери (или за дверью) — короткие сапоги, на столе — табак и свеча.

Лунин садился на кровать, глубоко откидывался к стене, думал. По своей старой привычке, иногда возобновлявшейся ныне, кусал нижнюю губу под усами, брал, откладывал трубку, изредка в задумчивости грыз ноготь. Затем он садился к столу и, чувствуя, как постепенно воспаряет, летит, живет дух, мысль, быстро писал своим ровным почерком, лишь иногда отрывая перо от бумаги и в затруднении щекоча самим пером раздуваемые поздри.

Он сочинял «Лжедимитрия» — роман из эпохи смуты.

Он сам не знал — как он выбрал героя, время? вернее, он знал, но не рассказывал сам себе об этом, а просто — писал и писал; перед ним двигались лица, кипели страсти, Россия и Польша (на французском языке!) исходили кровью в трагическом споре, умный самозванец шел к своей неведомой цели, казаки бились с рейтарами и крестьянами.

Зачем Польша?

Будто предчувствие некое?..

Он писал; затем внезапно чувствовал, что мысль, сила, жизнь уходят из кончика пера, — и, набросав еще несколько фраз такого рода, чтобы с них сразу же можно было бы начать, войти в поток на следующий день, он небрежно кидал перо на бумагу; с конца разлетались бисерные пунктиры, но он уже не обращал внимания.

Некоторое время сидел, отстранившись на шатком стуле, кинув ногу на ногу, покачиваясь, сунув руки в карманы синего халата с кистями; смотрел перед собой, думал думу.

Вставал, начинал ходить; комната, да, мала — пять туда, пять назад — он замечал это, когда слишком часто наткался на угол, на голые стены.

Он вспоминал Оже: что ж он?

И тут же, иль полчаса, или час спустя раздавался особенный стук в дверь: и робко, и как бы поспешно (стучу, а может, он занят); Луини возглашал: «Входите!» — входил Оже.

Неизменно в черном сюртуке, в темных сапогах с желтыми отворотами, в широком плаще и немного рискованной с точки зрения высокого вкуса широкополой шляпе, француз вступал, несколько застенчиво улыбаясь, — и говорил свое:

— Добрый день, сударь.

Иногда они выходили вместе, но чаще оставались в этой темной комнате час-два, потом Оже уходил, чтобы вернуться вечером.

Дело в том, что он посещал кафе, которое было неподалеку, — и по дороге проводывал, «жив ли» Луини.

В эти часы Мишель был не слишком разговорчив — после напряжения над романом наступали вялость и «сон» (говорил он о себе); Оже не мучил расспросами; они выкуривали по трубке, съедали провизию, захваченную Оже

или принесенную сухопарой горничной с огромным орлиным носом и в складчатом чепчике; обменивались газетными новостями и мнениями о них.

По уходе Оже Мишель еще сидел или ходил в своей келье, нимало не обращая внимания на ее унылость — думая о своем; затем он одевался как подобает, выходил на узкую улицу — и вскоре попадал под зеленые или желтеющие каштаны, платаны и тополя тихой набережной, далекой от площадей, Елисейских полей, бульваров.

Он ходил на тот и на этот берег по Pont Neuf — Новому мосту, самому старому в Париже; задерживался на остром лоскуте Ситэ, пересекаемом этим двойным мостом, снова шел к перилам, сидел на белых каменных полукруглых скамьях, смотрел на тихую воду; вновь шел, топчя зеленые и желтые листья, глядя на дремлющих букинистов, на серые высокие дома с вытянутыми окнами и округлыми мансардами, на синее небо и солнце сквозь листья, — и как бы с удивлением впитывал свежий эфир, неповторимые, ясные запахи.

Он лишь теперь понимал, видел, чувствовал, знал, что полдня просидел в неприглядной и темной комнате; «как я не вышел ранее?» — было на душе.

Он сейчас любил Париж такой — провинциальный, далекий от бурь; что это?

Он заметил в себе подобное еще в тот раз — в те дни, когда победная армия, во главе с сияющим, еще молодым императором, одетым то в их «полуформенный» кавалергардский (малиновый колет, белые плечи), то в темно-зеленый с багрянцем преображенский, то еще в какой-нибудь наряд, дефилировала по главным улицам прекрасного города; нагарцевавшись, искупавшись в трескучих винах, намахавшись блестящим кивером-каска молодой парижанкам, довольно приветливо смотревшим из длинных окон на Елисейских полях, — он вдруг почувствовал желание посмотреть Париж «как он есть» — как он живет

вдали от Триумфальной арки, площади Согласия, Тюильри.

Он уходил в переулки, он полюбил сиреневые булыжники узких улиц, таинственно бегущих у храмов, домов, у Люксембургского сада; он с особым смехом думал об Аракчееве, сидящем в Париже, упорно не выходя из гостиницы — не отрываясь от бумаг.

И сейчас он шел, привычно ожидая явления Храма; вот он.

Лунин — в темном сюртуке, в плаще на одном плече, чутко ступая в коротких своих сапожках, — задумчиво прошел мимо, даже не поглядев — так хорошо видел внутренним оком всю эту вытянуто-линейную, лилейно-плавную романскую, первозданную готику, эти сине-красно-лиловые витражи, эти ниши, этот простор, простор внутри великого храма; этот таинственный треугольник над левыми воротами, нарушающий волнующую галльскую симметрию.

Лунин ничего не мог поделать с собой: он понимал, что любить следует тонкое и изящное, — и любил это, — но вновь и вновь он любил высокое и могучее...

Он свернул в боковую улочку, скромно сияющую фиолетово-желтым песчаником под рассеянным, тихим солнцем.

Камень был уложен веером, был матово-зеркален; он шел прямо по брусчатке, меланхолично глядя под ноги, — и чувствовал, как в душе привычно копится некая дерзкая, как бы белая и оранжевая, опасная сила.

Вдруг особое видение предстало перед мысленным взором; он не знал: отчего? по связи с Францией? еще по какой причине?

Он помнил, как после Семеновских флешей, у батареи Раевского их полковник с невольной тревогой, заботой в голосе подал сигнал к атаке; рвя меч-палаш из ножен, оскалив зубы, низко припав к дымной гриве своей белоснеж-

ной лошади, Лунин резко и с неожиданным вывертом, как бы вдруг ввинчивая — одному ему доступным способом, — дал шпоры, и конь отчаянно прынул с места в почти предельный, нервный галоп. Менее опытный седок, возможно, не усидел бы, а посредственный конник-дилетант — если со стороны — решил бы, что этот кавалергард не умеет обращаться со своей лошадью; но товарищи знали его умение, его трюк — и, сторонясь, пропустили вперед. Выгнув спину, привстав, угрюмо почти припав оскаленным лицом к холке лошади, низко и будто воровато держа сверкнувший в солнце палаш, Лунин рвался к французской пушке, наведенной в упор на его эскадрон, — и видел, что правильно рассчитал: французы в их синих мундирах и темных киверах с высокими «щетка́ми» (кутаса́ми), в эти краткие мгновения невольно рассчитывая на среднебыструю, привычную скорость лошади, засуетились, увидев слишком резко приближающегося всадника с блеснувшим клинком в руке, — и готовы были разбежаться от пушки; вот некоторые уж прыгнули к ближнему люнету; но в последний миг кто-то из них — в солнце виден был лишь застывший, немного согнувшийся силуэт — приложился и выстрелил из ружья; пуля визгнула мимо бока, но этот выстрел, это облако дыма, эта чья-то личная, растерявшаяся смелость, как бывает, сорвала оцепенение, свет и магнетизм страха, взявшего было бомбардиров; сразу двое кинулись к пушке — бац! — вспыхнул порох у фитиля — грохот, вой... конь, будто зная, будто еще до выстрела, пал на оба колена — Лунин перелетел через его голову — и, как кошка, на лету собравшись в комок, грянулся оземь, перевернулся через голову, а затем мгновенно вскочил, расставив ноги и машинально взявшись за ребро, чуть задетое собственным «мечом», оставленным сзади.

Кроме минутной злобы, неловкости человека, мужчины, только что бывшего в физически унижительном положении, Лунин тут же испытал особую бодрость, сгущение

энергии действия, неизменно находившие его в дыме риска, прямой угрозы; взглянув на французов и заметив, что они всего лишь выжидательно смотрят на него, — а двое лихорадочно перезаряжают свою злосчастную пушку, не прикрытую пехотой, в виду приближающихся русских кавалеристов, — Лунин оглянулся; лошадь была, несомненно, убита, сзади, в белых колетах и косматых касках, налетали на него собственные товарищи, уже забирая слегка вправо по своему ходу, чтобы оставить его вне лавы; он, облегчая им задачу, быстро — глядя на них и успокоительными знаками показывая, что не ранен, — отошел в сторону и, еще раз оглядевшись, пошел к леску.

Дойдя, он был удивлен тем, насколько он, этот предосенний Можайский лес, был внутри себя и не имел ни малейшего отношения к тому, что происходило на поле бородинского боя; он дремал и — желтеющий — готовился к белу снегу... Резкость перехода сильнейшим образом вдруг подействовала на сердце Лунина; видимо, он еще к тому же был несколько контужен — нервы отвечали миру особенно обнаженно; буря, смерть, оскал, натиск, тревога, дым, красная кровь на груди белого коня, огонь, вопль, гром — и этот чертов лесок, живущий своей зеленой и желтой, незначащей жизнью.

...Вот оно что; может, зеленое, желтое...

Он вошел в лес — как ни в чем не бывало стояли небольшие вязы, клены, осины, березки, изредка дубки, — быстро напал на сухую и сорную тропинку, ведущую куда-то, — и вскоре, легко пошатываясь, весь в копоти, вышел к отдельно стоящей избушке: лесник?

Дом был тих — и вдруг от стога отделилась белоголовая маленькая девочка в белом платьице в цветочек и, ревя и размазывая растопыренной ладонью слезы, направилась к Лунину с таким видом, будто его-то она и ждала.

И Лунин изумился не тем, что девочка тут одна и плачет, — странно было бы ей не плакать, — а тем, как плачет.

Она плакала так обычно и мирно, как если бы мать отняла у нее жука или булавку или дала шлепка за пролитый квас; она не понимала, что ей следует плакать как-то особенно, как-то страшно и невозможно — так, как подobaет, когда тут гремит великая битва.

Он улыбнулся и двинулся ей навстречу; она подошла и уткнулась мордочкой в его измазанную землей штанину — ее лицо было еле выше ботфорта. Ну да, она ревела привычно и тускло — так, как «всегда» (!!); ей, конечно, было страшно, но, ощущалось, страх ее был именно равен по силе, значению тем ее горьким чувствам, которые были бы при отнятии жука.

— Не плачь-ка, — сказал он, невольно слегка прижав ее белую голову к ноге — к сапогу и рейтузам. — Где мать?

— Та-а-ам, — затягивая ноту, показала девочка на дом и слегка вниз, давая понять, что они в погребке.

— А ты?

— А я вылез... они не глядели... мамка, — говорила она, всхлипывая и размазанно утираясь.

— Пойдем.

Она переставала реветь и как само собою дала ему руку; он взял в левую ладонь ее теплые мокрые пальцы, вспомнил, что правая — ныне свободная — его ладонь только что сжимала эфес оружия, улыбнулся, покачал головой на свои «рассудочные» сопоставления — и, все продолжая улыбаться и глядеть чуть вниз, ничего не видя, — повел затихающего ребенка к его дому.

Зачем он вспоминал ныне?

Теперь он думал, что пора бы нанять возчика: граф Сен-Симон «ждет в три часа пополудни».

Но он медлил, глядя на тополя и каштаны, слушая тихий, незримый-неслышимый звон европейской — западной ранней осени, ощущая волнение и покой в груди.

Граф был с виду галл до мозга костей; в колпаке, похожем на опрокинутый цветочный горшок, в ярко-синем плаффроке, смуглый, с огромнейшим туго изогнутым носом, тотчас напомнившим Лунину о чопорной хозяйке на улице Гальон, в грозных бровях, с черно-блестящими, сильно расширенными зрачками мистика и мыслителя, он принял «этого русского» (как тотчас же молча назвал себя Лунин устами хозяина) приветливо и непринужденно, с оттенком еле заметного как бы ожидания: раз пришел, я и хорош с тобою; но — говори, говори же, что и зачем.

— Я не задержу вас, — сказал Лунин, усаживаясь после легкого жеста философа и равнодушно-косым взором оглядывая комнату.

Книги и брошенные перья и два стола; портреты — видимо, предков; коричнево-красный колорит на всем.

— Я пришел не с какой-либо материальной просьбой...

— Материальная просьба! ко мне! вы видите, *каков* я материалист! — живо развел руками сутулый, носатый философ — и вновь в нем на миг стал виден литой француз: беспечность в манере, склонность к мгновенному и даже поверхностному, дутому каламбуру — лишь бы скорая игра ума, жеста! — скрытое чувство формы, рассчитанность в самой небрежности, в самом изяществе.

Лунин добродушно и невольно несколько снисходительно усмехнулся в усы и, сидя свободно, но без обычной своей «развязности», уставив чуть вывернутые руки в колени, спокойно смотрел на графа — не продолжит ли.

Его пышно-усатое, бело-матовое с румянцем, овальное, правильное лицо, слегка улыбочиво прищуренные живо-невозмутимые карие глаза, военная сильная фигура в «цивильном» темном сюртуке (что лишь подчеркивало тайную мужественность) выглядели известным контрастом к резкому даже в грации, сухопарому Сен-Симону.

— Простите,— сказал философ, воздушно и формально касаясь руки Лунина.— Так с чем вы, друг мой? Уж не о венской ли политике? не мое, не мое.

Ласковая вкрадчивость тона лишала вопросы их прямоты, но все-таки Лунин принял к сведению то обстоятельство, что его откровенно торопили — не сочли нужным ждать, когда сам скажет; он, однако, не обиделся, а даже одобрил пожилого европейца. В некотором смысле вопрос был демонстрацией уважения: я вижу по вас, что не следует тратить время на условности; кроме того,— и это особенно понравилось Лунину — бедность обстановки как бы обязывала этого графа быть гордо-скромным. Если б он был могуществен или хотя бы уж очень известен как философ, его гордость была бы в том, чтоб держаться с благородным, но неизвестным и младшим гостем, чужестранцем целиком «наравне»; ныне же он не мог не видеть, что этот с виду тихий собеседник принял бы такую манеру с оттенком насмешки. И взял верный тон: учтивый, но цепкий. Кроме того, сама его нарочито поверхностная острота как бы заранее ставила вещи на свои места.

— Вы правы,— со спокойным уважением молвил Лунин.— Я пришел к вам говорить не о современной политике, но о вашей социальной системе; я кое-что читал, еще более слышал о ней.

— Вы слишком любезны, мой друг,— с той же легкой предупредительностью сказал Сен-Симон; в нем удивительным, но естественным образом сочетались галльская живость, аристократизм и то достоинство, скрываемая сдержанность, которые даются лишь «скромной и гордой» бедностью. Лунин все с большим интересом смотрел на него самого, а не только думал о системе.— Моя система не так уж известна, чтобы о ней слышать. Я говорю не для позы, а лишь для того, чтобы избавить вас от необходимости льстить моему самолюбию. Вы учили психологию автора — наверно, сами пишете? — с «вольтеровским»

смешком приостановился он, — и оно у меня, конечно, есть: никто не свободен от этой банальной слабости; но лучше докажите мне, что вы знакомы с делом. Это и будет бальзам на мое самолюбие, галльское тщеславие.

Лунин усмехнулся, глядя в пол: как бы одобряя тон графа, но со своей стороны спокойно не принимая его.

— Сейчас, — сказал он. — Дайте собраться... Вы, разумеется, понимаете, что я не буду, как семинарист, излагать вам по тезам вашу мысль, чтобы войти к вам в доверие; я сейчас постараюсь показать, что проник ее изнутри и в целом.

— Ну-ка, — заинтересованно и (все-таки!) самолюбиво посмеиваясь, поддразнил граф; Лунин скромно продолжал:

— В двух словах говоря, ваша идея основана на том, чтобы соединить новейшие коммунистические, социалистические и другие подобные доктрины, основанные на правилах равенства, уничтожения моральных и имущественных привилегий человека перед человеком, на утверждении политических, гражданских и естественных прав человека, чтобы соединить все это с христианским принципом.

Сен-Симон, слушавший «восходящую часть» с мечтательным благодушием и киванием довольного учителя перед способным учеником, отвечающим один из начальных уроков, при последних словах отстранился отчасти.

Он полминуты смотрел на Лунина с живым удивлением, остановив большие зрачки.

Лунин ждал.

— О! — наконец сказал тот, справляясь с прямым чувством и входя в свою форму. — С вами и верно надо... настороже. Вы, конечно, слишком выпрямляете мысль; вы — как бы это? — обхватываете ее, как змея яйцо; весь объем у вас в зубах, но вы еще не чувствуете... вкуса желтка, сердцевины. Вы формулируете слишком уж плоско, чет-

ко; у вас нет культуры чисто философского мышления. Но сама формула — она поразительна, я вас поздравляю; она слишком однолинейна, но, если угодно, верна в основе. Да, в глубине души именно это меня и заботит: связь новейших движений равенства, труда, братства, естественного права с первоначальным христианством и его высокой моралью, принципами. В самом факте этой связи я вижу огромный свет, надежду для человечества. Пусть слова, пусть уровень прогресса, пусть суетно-житейские нормы будут другие; но если — хотя и в иных словах, иных формах — ныне возрождается, продолжается великая духовная, человеческая традиция, если люди, сами того иногда не ведая, оживляют в себе то исходное, давнее, значит, оно *глубоко* в них; значит, *есть* надежда для человека.

Лунин внимательно выслушал это как нечто, что знал и ранее, но что нельзя прерывать. Отблески мягкого света менялись на лбу говорившего.

— Однако, граф, — отвечал он, убедившись, что мгновенно увлекшийся, уже поднявший палец Сен-Симон действительно сделал паузу. — Для того чтобы осуществить это на деле, а не в доктрине, надо верить в живую человеческую природу. Верить не только в луч, в искру божественного, духовного начала в ней, о котором вы сейчас говорили; верить в нее в ее целостности, в ее жизни. Верить, что равнодействующая человеческого существа, человеческой земной жизни, как сказали бы ваши соотечественники Паскаль и Лавуазье, имеет положительный, а не отрицательный характер. Короче, мысль моя в том, что повальное равенство тоже опасно; чтобы осуществить его, надо верить, что человек по своей натуре достоин именно... доверия. Равенство глупца и умного, вконец испорченного бандита, негодного по самой своей природе (если допустить, что природа человека не всегда исходно добра), и незащитного ученого, пугающегося самого вида оружия,

равенство человека одаренного и ни на что не способного, кроме личных удовольствий, равенство святого и героев маркиза де Сада — приведет ли оно к желаемым вами результатам? К торжеству христианских принципов в обществе? Короче, верите ли вы в человека настолько, чтобы мечтать о земной христианской гармонии не только в принципе, но и на деле? И если не во всем обществе, то хотя бы в одной душе? И если в одной душе, то, может быть, в конечном итоге хотя бы в части общества? *Верите* ли вы в гармонию в душе человека? И, главное, в гармонию духа и поведения? — добавил он, вдруг понизив тон.

Лунин начал медленно, а потом говорил все быстрее, все более одушевляясь, несколько бормоча; однако остановился ровно, когда надо, как бы сдержав коня на скаку.

— Я это понял, мой друг, — после паузы сказал потускневший граф, глядя своим морщинистым, в резких чертах, несимметричным и вытянутым лицом мимо умолкшего и смотрящего на него Лунина: тот по-прежнему ладони в колени. — Я понял с первой же вашей фразы, и вы, конечно, должны знать это.

— Я знал, но я считал нужным развить мысль.

— Вы правы: всегда лучше сказать лишнее, чем говорить о разном... Что мне ответить вам? вы знаете, что короткого ответа на ваш вопрос на земле нет.

— Мне хотелось знать вашу мысль об этой стороне.

— Вот вам первый образчик того, как не всесильны широкие формулы. Вы сказали: христианство, социализм. Да, это звучит хорошо. Это краткое, обхватывающее выражение моей идеи, если угодно — тезис ее. Но вы сами уже видите, что все дело не в тезисе, а в подробностях.

— Да.

— Природа человека... — медленно сказал Сен-Симон. — Если б вы знали, как мучит меня это... туманное место моей системы в мои бессонные ночи.

Лунин молчал, ожидая.

— Я скажу старое как мир,— по-прежнему неловко глядя мимо Лунина, будто заранее считая, что в чем-то обманет его, сказал француз.— Доказать нельзя, надо верить.

Он помолчал.

«Фиделите»,— вспомнил Лунин символическое название корабля — и улыбнулся. Как всякий русский, он в душе презирал игру символов. «Верность»... Тот заметил улыбку — и посуровел крепче.

— Простите,— просто заметил Лунин.— Я не вашим словам.

— Вы можете и моим словам,— ворчливо-грустно возразил граф, однако же несколько светлея: на учтивость и свободную прямоту собеседника.

— Верить... Но веру, напоминаю, нельзя доказать, ею можно лишь заразить. Приходите ко мне, молодой человек; я постараюсь вас заразить своей верой,— добавил он, по мере речи освещая лицо любезной улыбкой.

В нем снова вставал француз, философ, аристократ и бедняк.

Лунин улыбнулся на это обретение формы — и молвил:

— Я от души благодарен... К сожалению, я, видимо, должен буду вернуться в свое отечество.

— Как? — вдруг опять встрепенулся Сен-Симон.— В свое отечество? Это куда же, в Россию?

— Да.

— Но там... э-э-э...

— Да, там медведи, снега и царь,— улыбаясь, подтвердил Лунин.

— Возможно ли! после того, как я нахожу... меня находит один из немногих людей, который способен понять мою мысль, он тут же исчезает,— серьезно сказал Сен-Симон, глядя в сторону.

— Но граф,— стал «светским» и Лунин,— вы можете наставлять меня в письмах. Я буду писать вам; вы — отвечать.

— Это в Россию-то? из России? — граф столь вяло и безнадежно махнул рукой, что Лунин засмеялся.

— Отчего же? возможно, молодые народы более воспримут ваше учение, чем уставшая от ума Европа,— любезно сказал Лунин.

Тот вдруг заново оживился:

— Вы правы... вы, вероятно, даже не знаете, что вы — правы. Народ, не изъеденный скептицизмом. Народ молодой и свежий. Да! Да!

— Позвольте проститься,— сказал Лунин, вставая.

— Да зачем же вы все-таки сейчас едете? — спросил Сен-Симон, поднимаясь медленно и сутуло.— Нельзя вам через год? через полгода?

— Я не знаю, когда я точно поеду,— отвечал Лунин, стоя вполоборота к двери.— Мне нужно... опасно болен мой отец...

— Отец? Кто же он?

— Русский помещик,— улыбнулся Лунин.

— Беден? Как мы, потомки могучих герцогов?

— Нет,— спокойно улыбнулся Лунин на его тон.— Мой отец богат; большие имения в Тамбовской и Саратовской губерниях... император не дошел до них; эти названия вам вряд ли известны.

— Bravo; вы владеете здешней манерой беседы,— одобрительно-иронически кивал философ. Лунин слегка поклонился со своей стороны.— Но... вы?..

— Вы хотите спросить, почему я в Париже, беден? — подсказал Лунин, усмехаясь той своей мысли, что Сен-Симон, как истый философ, все разговоры на бранные темы оставил на самый его уход.

— Да; в этом роде я и хотел спросить, хотя и не знаю, бедны вы или нет.

— Это видно по мне,— добродушно-испытующе усмехнулся Лунин.— Я даю здесь уроки французского языка.

— Вы, русский?

— Да,— улыбнулся Лунин.

— Браво... браво... Так вы поссорились со своим отцом?

— Да.

— Зачем же вам ехать?

— Он болен, граф,— повторил Лунин, улыбкой извиняя себя за невольное напоминание графу о его невнимании.

— Простите.

— Вы будете у Роже?

Лунин смягчал свой уход.

— Возможно, мы там увидимся.

— Буду рад.

* * *

*

Лунин, быть может, еще задержался бы у Сен-Симона, но спешил на урок.

Он отчасти имел в виду намекнуть на это, когда «похвалился» французским против французов; но, так сказать, олимпиец не понял его.

Помучив бестолкового сына некоего виконта глаголами «donner», «jeter» *, переписав своим резким, твердым почерком пять ответов на прошения для ленивых конторщиков из Ситэ, полистав у букиниста старый иезуитский сборник, Лунин отправился «домой» — в свою темную комнату.

У входа, незначаше переговариваясь, прогуливались мало знакомые между собою Оже и Мари.

Мари была на вид той банальной Мари, которыми так богат Париж.

* — давать, бросать (*фр.*).

Лунин познакомился с ней сам не помнил как, и она стала, *de facto* * без приглашений (он с юности привык к таким отношениям), навещать его в этой келье; иногда, выпив лишнее, она делала сцены, но он пожимал плечами и, если надо, умел прикрикнуть; она успокаивалась быстро и как-то прочно. Через полчаса он уже пошучивал на ее бывшие крики, она простодушно поддакивала. Мари столь же просто, хотя азартно, восхищалась его достоинствами, и он снисходительно слушал ее, зная, что она это говорит не в первый и отнюдь не в последний раз в жизни; она возбуждала страсти, но почти не задела души (хотя, если б *совсем* не задела, Лунин не принял бы ее, он был, по сути, разборчив), и это-то временами бесило ее, как бесит всякую женщину; но ее природная доброта, легкая и свободная привязанность к Лунину брали верх — и она возвращалась и веселела.

Он внутренне посмеялся тому, как неловко немного высокопарному Оже с Мари, которой до него нет никакого дела, — и женщина, как всегда, не умеет этого скрыть, — и подошел к ним.

И она и он вздохнули с облегчением.

— Я пришла сказать, я сегодня не приду, — сказала Мари — темная шатенка с голубыми глазами и черными ресницами, с пудрено-бледноватым лицом. — У меня дело.

— А что это у тебя за дело? А, плутовка?

— Ты не ревнив и не умеешь, не умеешь быть ревнивым, — надулась и отвернулась Мари.

— Ну хорошо, хорошо, — смеясь, говорил Лунин. — Дело есть дело.

— Если хочешь знать, я иду к подруге, которая знает твою Россию, — по-детски пышно сказала Мари.

— Она была там?

— Нет, но ей очень нравились русские офицеры, ког-

* — фактически (лат.).

да они брали Париж,— тараторила Мари, живая в присутствии живого для нее человека.

— О! Это причина! — захохотал Лунин.

— Не смейся! Может быть, ты был среди тех, кого она видела! — строго сказала Мари.

— Может быть; так ведь она говорит, что *правились*, а не ругает нас. Отчего же мне не смеяться? — смеялся Лунин.

Эта логика поставила Мари в тупик. Она на мгновение задумалась, затем неохотно подтвердила:

— Да, верно.

Лунин захохотал как сумасшедший.

— Все равно, перестань! Какой неприятный смех! — взъерилась Мари.

— Ты прелестна.

— Да?

— Да.

— Вот... она говорит, пруссаки, саксонцы и кто... я забыла, ну, словом, немцы, все немцы — они ей не понравились; но вы, русские!

— Сколько же ей было от роду?

— Ей тогда было лет пятнадцать; ее зовут Полина Гебль.

— О, пятнадцать.

— Француженка в пятнадцать лет понимает больше, чем ваши русские в тридцать.

— Я думаю, ты все-таки преувеличиваешь; впрочем, ты только что ругала немцев.

— Нет, немцы умней, а ты глупый, — отвечала она, причем, как и положено в устах женщины в такие минуты, слово «глупый» звучало как высшая похвала.

— Передай привет.

— Мы с ней будем шить, ей до завтра падо.

— Шейте, шейте, — сказал Мишель — а сам подумал: «И чего это они все шьют, когда не нужно».

— Полина из хорошей семьи, но они обеднели, и она хочет стать модисткой... да вот и она,— трещала Мари.

Из-за деревьев, розовая, показалась хорошенькая, беленькая с темным, немного круглолицая девушка, еще очень молодая, застенчивая; последнее не мешало ей исподволь с захватывающим интересом разглядывать Лунина — глазки так и стреляли; он тотчас это заметил, но не подал виду. Сразу стало ясно, что Мари была недостаточно скромна в разговорах — уж этот посвященный *взгляд подруги*, к тому же еще столь юной и не умеющей хитрить; Лунин усмехнулся на все это, время от времени задумчиво поглядывая на девушку.

Он не мог отдать себе отчета, какое странное получувство, полупредчувствие вдруг вошло в него; «нервы... бедность», — подумал он — и еще раз взглянул.

Хорошенькая, милая девушка, будущая любящая и преданная жена — у него глаз наметан; но что-то... *волево* и некий особенный интерес был виден в ее глазах, лице; будто она... примеряла, будто... смутно загадывала, гадала... догадывалась о чем-то.

«Экая мистика, нервы... не умер ли отец?» — подумал Лунин.

— Пошли, Pauline,— поспешно пошла к подруге Мари, поворачиваясь спиной к мужчинам и уводя ее: по-своему истолковав взоры Лунина.

Лунин улыбнулся ей вслед в последний раз — и обратился к Оже:

— Идемте, друг мой.

* *
*

— Прошлый раз вы утверждали,— начинал Мишель, развалиясь на шатком стуле и потягивая скверное кислое вино со столь рассеянно важной миной, будто в руках был

хрустальный кубок столетнего бургундского, — что музыка по силе воздействия не может сравниться с архитектурой; что готический храм своим видом более говорит душе, чем все «романтические искусства». Я же, напротив, утверждаю, что грядет, что уже настал век музыки, что новейшие композиторы больше сделают для искусства, для духа, чем деятели искусств пластических. Музыка в природе нашей эпохи; она выражает тоску по полноте истины, извечную мощь природы.

— Но кого вы можете назвать, друг мой? — с почтением говорил Оже, пригубливая и тут же ставя стакан. — Гайди уж прошлое, Гендель, Бах — еще более; Моцарт? вы правы, но один Моцарт...

— А Бетховен?

— Я слышал имя; у нас его произносят несколько иначе, однако несомненно, что это оно же.

— И что же вы думаете?

— Я, к сожалению, мало знаком с его творениями; по тому, что знаю, полагаю, что восторги, как водится, преувеличены.

— Как? вы не понимаете, — грустно говорил Луний, начиная смотреть несколько в сторону.

— Но докажите, друг мой!

Они выходили из комнаты, шли к сомнительному роялю в сомнительном общем салоне этого дома — и Луний говорил по дороге:

— В следующий раз, когда будем у органа, напомните — я буду импровизировать; а теперь...

Он садился, откидывал облувленную крышку, брал три, четыре аккорда:

— Видите? Видите? *Как* вы не понимаете? — нетерпеливо, в раздражении говорил он.

Оже прислушивался в задумчивости:

— Да... да, да, — говорил он. — Но, во-первых, вы просто прекрасно играете... вы из всего сделаете...

— Да нет,— с досадой обрывал Лунин.— Играю я хорошо — ну ладно; но дело в музыке... в музыке!

— Он талантлив,— неуверенно говорил Оже.— Но эта... чрезмерная дикость, эта жертва гармонией в пользу контрапункта и всяких сдвигов, эти бесстыдные *forte* *... эта медь... эта жесткость, грубый и плотный, полный хор скрипок... это небрежение фугой...

— Вы правы по частям, но вы слушайте *целое*,— устало говорил Лунин, прикрывая рояль.— Это — новое. Это — истина. Это — искусство,— вразумлял он Оже, глядя на него сверху вниз и «болезно» качая головой в такт словам: так, будто доказательство несомненно состоялось, но Оже лишь упрямится или оглох.— Вы не понимаете?

— Наверно, вы правы,— говорил Ипполит.— Но храм, но греческое искусство!

— Католический храм, греческое искусство — прекрасней нет ничего на свете; я сам знаю величие храма; я говорю лишь, что наше время в искусстве — время музыки и Беттговена.

— Может быть.

— Не может быть: верно,— говорил Лунин, теряя интерес к собеседнику.

Чувствуя это, Оже переводил на иное:

— Как урок?

— Мои друзья Муравьевы дали мне прекрасные адреса и рекомендации,— отвечал Лунин.— Жаловаться не на что.

— Неужто вы, в прошлом офицер, известный своим мотовством, роскошью и проказами, стойвшими денег, привыкший не стеснять себя в средствах,— неужто...

— Да,— усмехался Мишель.

— Как ваш роман?

* — сильно (*итал.*).

— Идет.
— Брифо готов прочесть; хотя не скрою, он полон скептицизма.

— Русский роман на языке Расина?

— Приблизительно это он говорит.

— Пусть прочтет, потом говорит.

— Вы, как обычно, правы... Мишель?!

— Ипполит?

— Неужто вы и верно собираетесь ехать?

Лунин помедлил, в рассеянности «глодая» трубку.

— Вероятно, скоро уеду.

— Но почему? Вы же собирались теснее установить связь с Сен-Симоном, с иезуитами; вас интересует Жозеф де Местр; вы не окончили романа.

— На днях кончу.

— У вас тут новые знакомства; вас занимают новые социальные веяния, системы, изучить которые здесь, на месте, не торопясь, при той свободной жизни, которой вы ныне живете, при этом самоограничении, которое вы сумели усвоить себе...

— Я? Самоограничение?

— Но это хорошо, что вы спрашиваете; стало быть, оно и верно не тяготит вас; я хочу сказать, что у вас уж не будет иного случая.

— Видите, Ипполит, — сказал Лунин. — Что я хотел здесь узнать о себе и людях — многое уж узнал; конечно, еще не все, но...

— Но?!

— Это не объяснить. Кроме того, у меня есть чувство, что мой отец умер.

Ипполит молчал, подбирая ответ — утешение и слова, слова-утешения.

— Не трудитесь, — проговорил Лунин, будто тот сказал о своих усилиях вслух. — Мои чувства сложны; но, во всяком случае, утешение — не то, в чем они нуждаются.

— Мне будет не хватать вас,— сказал Оже.
— Зато не успеете разочароваться,— улыбнулся Лу-
нин.

* *
*

Еще прошлый раз Лунина подавил переход от Парижа к действительности его тамбовских владений (тогда — владений отца); ныне это чувство возникло снова.

Минуя холмы и впадины, проезжая молчащие поля, перелески, опять поля и поля,— холмы и небо, ровное поле и небо, овраги и небо, облако, дым, синь, небо,— проезжая все это в своей бренчащей, тараторящей таратайке по взрытой, вздорной, но зато почти прямой дороге,— Лунин, погрузившись от пыли в дорожный плащ и надвинув шляпу, поглядывал по сторонам и думал о близкой встрече с управляющим Евдокимом Суслиным, с мужиками и дворней.

Он представлял их лица, грязь, неуют и копоть в просторном и внешне богатом, «приятно» обставленном доме.

Вон дерево, ветла, от которой откроется Сергиевское; он был готов к чувствам, которые охватят его при въезде.

Сельцо открылось: дома под серой соломой, редкие тополя, ветлы, речка, бедная светлая церковь; видя ее, неловко и пусто было думать о некоем храме; вместившем в себя красоту и знание целого мира; будто, пока был в храме, церковь ждала тебя... Он грустно смотрел, он предвидел встречу.

Неудобство въезда было в том, что приходилось миновать улицы самого села; бывают же деревни, где дорога к усадьбе — в стороне от крестьян... Лунин, завернувшись в плащ, молча смотрел, как торопливо и при этом неловко опускаются в пыль случайные мужики, как иные запоздало смахивают с затылков эти свои нелепые малахаи; он столько раз представлял это, ведя свои разговоры о по-



вых обществах, что стало казаться — *на деле* этого нет, это только воображение, это испито, истощено воображением; и опять — *оно*, и опять, — *на деле*, как ни в чем не бывало. Смотрел, как лают грязные псы, разлетаются белые и пыльные куры, как гуси поднимают шеи с желто-черными клювами на конце, настороженно думая, уйти ли от грязной, разбитой лохани, установленной перед домом в пыли, или просто переждать лошадей и звон; как кидаются к бричке болезненно-пузатые, грязные, сопливые, тонконогие ребятишки — и останавливаются в нерешительности, оглядываясь на истощенный окрик из темных сеней и все-таки кося, кося глазом на барскую повозку — редкое развлечение; как облуплены, сыпятся сухой глиной неровные, некогда белые стены домов, как покосились мелкие окна, как печальна, грязна и илиста полуречка, полуручей, один из притоков Цны (что ли), заросший осокой и ивами; как мутно стоит безнадежная, серая черноземная мгла над забытым богом, хотя по бумагам и богатым, селением.

Миновав «порядок», Лунин невольно вздохнул с облегчением; подкатив к усадьбе, он вспомнил, кто он такой и зачем приехал. Приличный, затейливо-шахматно уложенный каменный забор, высокие липы, ветлы и ясени, густо стоявшие за ним, ворота-башни при въезде, почтительно встречающий Суслин — все было к тому, чтобы поскорее забыть эту тягостную степную улицу. Но Лунин спокойно знал, что с белой руки не стряхнешь да не заткнешь за пояс. Меняются дворы, Екатерина душит в каземате своего мужа, законного императора, Пугачев бунтует против Екатерины, Суворов душит турок, поляков, французов и Пугачева, Павел изводит столицу, столица, с участием сына Павла, кроткого Александра, изводит Павла, Бонапарт играет Европой, комета внушает ужас, в Южной Америке идут землетрясения, извержения вулканов и катастрофические освободительные войны, солнце светит, земля родит, ветер дует, Париж злословит, Меттерних хит-

рит, Талейран коварствует, лошади скачут, Кювье заботится об истине и прогрессе в подходе к истории природы, паровая машина туманно гудит, крихтит и работает, работает, луддиты ломают машину, звезды сияют, влюбленные клянутся и ссорятся, революции сметают троны, реставрации сметают революционеров, трава растет, Земля вертится — а здесь...

А здесь, в этой деревне, вся та же бедность, пыль, хлеб, тишина, солома; все те же новости о зерне, бедных свадьбах, крестинах, еще более бедных похоронах — больше ни о чем; все те же полуразвалившиеся и полуцелые хаты, все та же пыльная церковь с пузатым «шпилем», все те же угрюмые и жалкие, бедные люди в их малахаях, платках.

Лунин сознавал, что мысль его «банальна», но, когда безысходная банальность снова, снова молча и скорбно, настаивая на себе, но и не зная, куда спрятать себя, встает вживе, поневоле поежишься. «Организация... воеводы...» — прошли в голове чужие слова.

Он вылез из брички; Суслин, чувствуется, был в замешательстве: он не знал, *как* приветствовать барина.

Весь заросший и оттого зверский с виду и действительно властный и умный бывший мужик — ныне управляющий, — он привык быть хозяином в этой «забытой богом» веси, — привык, что перед ним ломают шапку; со старым помещиком у них отношения были проверены: тот приезжал, снисходительно смотрел на ритуальные выражения сыновней любви — земные поклоны, целования ручек и прочее, — смотрел, но не останавливал; разбирал счета, посещал поля, ток, амбары, благожелательно, но без фамильярности беседовал с Суслиным, давал понять, что его не проведешь, — и уезжал.

Барича Суслин знал давно; относился к нему с почтением, но помнил, что тот не любит церемоний; раньше оно вроде так и следовало, а теперь — старому царство небесное, а этот... здесь и хозяин.

— Здравствуй,— вяло сказал Лунин, сощуренным лицом оглядывая пыльный пустырь перед въездом.— Устрой... там.

Он кивнул на кибитку.

Суслин, заранее в поклоне, начал было клониться еще ниже: начал, но медленно, невольно ожидая, не воспоследует ли от молодого барина каких-либо распоряжений по этому поводу.

Распоряжения не замедлили.

— Что с тобой? — холодно сказал Лунин, презрительным взором окидывая показавшийся заросший загрибок и мускулистую, широкую спину в зипуне хорошего сукна.

Суслин мгновенно распрямился, воровато-умно усмехнулся Лунину; пошел к лошадям.

Лунин прошел по тенистой, приятной аллее, подошел к дому, заранее поморщился: живописно и неопратно одетая дворня застыла у крыльца в позах, не оставлявших никакого сомнения в дальнейших действиях этих людей. Они с некоторым удивлением глядели на Лунина: несомненно, ожидали, что экипаж подкатит к самому крыльцу, и они, «дети ваши», с воем падут прямо под ноги к лошадям и к подножкам; Лунин же, встретив Суслина у ворот, вышел и шел уж пешком, а лошадей вели следом. Но все равно, как бы по команде какой-то старухи, которая неестественным, истерическим голосом вдруг завопила: «Отец ты наш! Милостивец наш!», вся дворня взвыла в причитаниях, плаче, восторгах и повалилась в ноги.

Лунин постоял, полминуты посмотрел на согнутые худые спины, худые, жилистые шеи, подумал и сказал твердо:

— Здравствуйте, мужики.

И четким военным шагом — насупившись и думая о своем — прошел на скрипучее крыльцо и далее в сени.

Через полчаса Лунин, умытый и в свежей белой сорочке, расстегнутой до третьей пуговицы, с трубкой и в до-

машнем сюртуке сидел за обширным простым столом, приятно поставленным в углу у окна, а Суслин топтался у двери, ожидая, не будет ли новых приказаний.

Заглянул некий заполошный малый — сонный и встре-
паннный, с толстым курносый носом; Суслин с неожидан-
ной резкой злостью дал ему по загривку — и в этом дви-
жении выразилось простое: душевный неуют хозяйствен-
ного, властного Суслина, привыкшего гнуть шею перед
высшим и повелевать низшим, но не знающего, как и что
пойдет в этом, в нынешнем случае; Лунин, задумчиво
глядя, видел его настроение, и помимо воли все это начи-
нало его раздражать. Он сдерживался, но злорадства росла.

Он решил отделаться от присутствия Суслина.

— Хорошо, Евдоким, — сказал он спокойно и привет-
ливо. — Ты пока свободен. Отдыхай, и я отдохну. Скажи
там: жаркого и красного вина. И ступай себе.

На лице Суслина выразился непонятный страх.

Он не двигался с места, глядя на барина и бессмыслен-
но потирая ладонь о ладонь.

— Да что с тобой? что тебе? — спросил Лунин.

Суслин молчал в замешательстве.

— Посуди сам, Евдоким Федорович, как я могу... так
сидеть, когда ты молчишь, — терпеливо сказал Лунин, ме-
ряя взглядом Суслина.

«Евдоким Федорович» совсем смутил управляющего;
он глотнул и сказал:

— Михаил Сергеевич... ба... барин.

— Ну? — поднял брови усталый Лунин.

— Вина красного нету. Подвода застряла в Николь-
ском, второй день чинят ось. Про... простите... велико-
душно...

Он мялся, опять не зная — кинуться в ноги, целовать
руку или так стоять.

— Так что же? Белое-то хотя бы есть? — спросил
Лунин, отводя от него глаза на окно.

Там, в окне, качались зеленые, вечные липы, шурша и рассказывая друг другу всегдашнюю тихую сагу.

— Белое есть.

— Давай белого, черт возьми, хотя это и глупо.

— Сию минуту.

— Да что с тобой, наконец? — с нескрываемой досадой спросил Лунин, хотя уже и сам знал, что.

— Я думал, вы рассердитесь, — улыбаясь, как сквозь сон, оттаивая, сказал Суслин. — Сергей Михайлович не любил, когда... нет внимания...

— Так, разумеется, радоваться нечему; но *так* пугаться! ты что! ты мужик или баба? — не удержался Лунин.

— Простите, ради бога, Михаил Сергеевич, — отвечал Суслин, улыбаясь. — У нас тут бывает: вот, исправник: вроде и ласков, а как что не по нем, так...

Суслин осекся, поняв, что лучше без объяснений.

— Так я, по-твоему, исправник, что ли? — все же спросил Лунин, тоже понимая, что лучше не спрашивать.

Суслин молчал потупясь.

«Мы народ, не разъединный скептицизмом», — подумал Лунин.

— Простите, — наконец глухо повторил Суслин, по-своему истолковав нависшую как бы грозную паузу.

— «Простите, простите», — в раздражении передразнил Лунин. — Бог простит, — добавил он, как бы продолжая пародировать Суслина и еще кого-то. — Неси свое белое.

— Сейчас, — просто отвечал Суслин.

Оставшись один и терпеливо ожидая вновь отчего-то задерживаемого завтрака, Лунин смотрел в окно на густые кусты и деревья, думал свою думу и не сразу заметил, что в соседней комнате возникли некие шум, шевеление.

Обратив внимание, он в раздражении встал, подошел к двери и резко распахнул ее.

У порога толклись трое-четверо робких дворовых, а в противоположную дверь как раз вошел вконец растерянный и убитый Суслин.

— Сказали?! — спросил он, обратившись к дворовым.

— Не смеем.

— И, чтоб вас, — замахнулся Суслин; стелясь, те исчезли.

— Что такое? Теперь и белого, что ли, нет? Евдоким, ты доведешь меня! — грозно заговорил Лунин. — Я вижу, вы понимаете один мордобой; так я...

— Батюшка, — запыхавшись, но решительно прервал Суслин. — Не до вина теперь. Беда. Горит у нас, горит луг.

— Что?

— Горит, говорю.

— Да вы нарочно, что ли? Подгадали к въезду моему? Да я вас собственноручно! — в бешенстве заговорил Лунин, поднимая руку; весь этот день возвращения в родные пенаты действительно начинал выводить его из себя.

— Нет, батюшка, — с четкостью беды и отчаяния, со строгостью хозяйственного мужика толково отвечал Суслин. — Горит не твой, а мужиков луг; но луг — с полбеды, там уже скошено, а копен не много; беда, что огонь идет к полю. По скошенному, по сухому: не высок, а широк. Поле тоже мужиково... Хлеб стоит — вот беда. Огонь идет к хлебу.

— Так что же? Вы так и ждете?

— Нет, я послал мужиков тушить, а тебе — сказать. Но они, — он кивнул на двери, — не решились.

— Что мужики?

— Да человек десять побегло, а те — молятся.

— Кто — те?

— Прочие.

Лунин думал одно мгновение, глядя в сторону.

— Созвать остатних хозяев дворов, — сказал он, поворачиваясь к Суслину спиной.

— Слушаю, батюшка,— с невольной радостью отвечал Суслин, по тону Лунина чувствуя, что дело будет.

— Скорее,— бросил вслед Лунин.

— Да они все тут, у ворот,— крикнул Суслин, удаляясь.

* *

*

Лунин не стал ждать, когда те подойдут к крыльцу, хмуро спустился и пошел им навстречу. По сторонам двора снова валилась в ноги, и в лицах было ощутимо: приехал барин, начались беды, быть шуму.

— Мужики,— сказал Лунин, останавливаясь в аллее в пяти шагах от тоже остановившихся, изнывающих крестьян, большей частью пожилых,— немедленно ведите к моим воротам своих лошадей.

Мужики, будто ожидали этого, попадали на колени.

— Батюшка... Михаил Сергеевич... Лошадушек... Богом молим... Лошадок... Не тронь, богом молим,— пошло в их толпе.

— Немедленно лошадей!! — в дикой, внезапной, долго бродившей в нем ярости гаркнул Лунин.— Ну!!

— Батюшка, Михаил Сергеевич, возьми ты детей, жен, возьми ты нас, грешных сирот, лиши живота; возьми наших девок. Только не тронь лошадок,— выползли на колени несколько стариков.

— З-з-запорю! в шпицрутены! в розги! в кнут! — вне себя крикнул Лунин.— Ж-ж-живо. Ну!!

Мужики, ропща и крестясь, стали подыматься и, приседая, убегать к воротам; через четверть часа, под завывания и причитания баб и уныло-угрюмые взгляды стариков и мужей, у ворот барского дома, на пустыре, собрался табун голов в двадцать. Лунин, не ожидая прочих, с размаху взлетел на расседланного коня, казавшегося лучше других, и, всей кожей, всем существом почувствовав не-

объезженность, глупость лошади, низко припал к ее (к счастью, густой) гриве и вдавил в бока неловкие пятки дорожных сапог. Лошадь пусть и бестолково, но повиновалась; он знал свою силу, власть над конем. Носясь перед табуном, он скоро дал понять лошадям — одним из самых понятливых и чутких животных на свете, особенно когда имеют дело с любящим знатоком, — чего от них хотят.

Табун, во главе с одиноким всадником, несся к племени, Лунин, оскалив зубы и весь припав к гриве, давил бока лошади и не давал опомниться ни ей, ни всем.

Из-под копыт шарахнулись пять-шесть мужиков, тупивших низкий, бледный в дневном свете, широкий огонь метлами и тряпками; в одном Лунин узнал своего Алексея Еремеева и успел ободряюще кивнуть ему; малый радостно улыбнулся и вновь кинулся к огню: «школа»...

Он провел лошадей так, что они — храпя и шарахаясь, но подчиняясь — растоптали передовой фронт огня и взрыли копытами всю землю перед ним, вмяв сухую горючую траву в пыльный, рассыпчатый чернозем. Такую операцию мог провести только превосходный кавалерист; на миг Лунин порадовался сам себе.

Он забсрнул лошадей еще раз — на всякий случай; но огонь уж был обескровлен; он будто в задумчивости помедлил — и тихо стал опадать.

Через полчаса Лунин, во главе своих четвероногих помощников, торжественно возвращался к воротам; к тому моменту животные подчинялись ему беспрекословно.

— Забирайте лошадей, дураки, — сказал Лунин, слезая с коня и с гримасой отстраняя двух подобострастно хихикающих дворовых девок, бросившихся, за неимением стремени, поддержать сапог.

— Благодарствуйте... батюшка... — запели мужики, ваяясь в ноги.

В их позах и голосах была действительная благодар-

ность; но было и простое: тут как-никак пронесло... что за этим? Чего теперь снова ждать?

— Встаньте, подите прочь,— задумчиво молвил Лунин, проходя мимо башен в ворота.

* *

*

— Ты знаешь, Евдоким,— говорил Лунин, глядя в окно,— мой приезд нехорош, много суеты; и часто у вас такое?

— Как сказать, Михаил Сергеевич; конечно, когда бог милует, а то — часто. То горит, то град, то пало сразу пять лошадей, то мертвое тело нашли, то трое сбёгли, то еще что. А горит — часто.

— Сядь, ради бога.

Суслин присел на стул так, что было непонятно, каким образом держится его коренастое, крупное тело.

Лунин посмотрел на это с оттенком усталости, ничего не сказал и продолжал о своем:

— Это так, а ведь у меня серьезное дело. Подводы, луг, лошади, а есть и такое. Я должен хорошо посоветоваться с тобой, Евдоким. Ты человек умный, понимаешь в жизни, в хозяйстве. Только прошу тебя: не хитри, не финти, отвечай прямо.

Суслин молчал, внимательно и со смыслом глядя на Лунина.

— Как ты знаешь, друг Евдоким Федорович, мы не вечны; я, несмотря на сравнительно молодые годы, составил свое духовное завещание. У меня есть причины думать, что смерть моя может быть внезапна и преждевременна; ты знаешь, раньше я был военным...

— Да уж слышали... всякое,— усмехнулся Суслин.

— ...пынче я в отставке, но положение, по разным причинам, может всякий миг измениться. То завещание существует, но сейчас я намерен составить новое, более дель-

ное и законное; поскольку оно прямо касается моего имени, то есть всех вас, я прошу тебя помочь мне. Согласен ли ты?

Суслин хозяйственно медлил, Луний спокойно ждал.

— Что же, говорите, Михаил Сергеевич. Чем могу.

— Так вот, того моего завещания никто не видел, но я тебе скажу, в чем его смысл. Я хочу освободить всех крестьян *с землей*.

Луний пристально смотрел на Суслина.

Тот не мог скрыть мгновенного волнения; забывшись, глубже подвинулся на стул, поворочался, смял картуз, почесал за ухом; побряхтел натужно.

— Круто берете, — только и сказал он наконец.

— *Как* тебе это? — ввинчивая острый взор в Суслина, спросил Луний.

Тот молчал, ерзал.

— Трудно отвечать, Михаил Сергеевич, — наконец сказал он, глядя в пол, в сторону.

— Отчего же?

Суслин еще побряхтел, страдая и маясь.

— Как вы меня спрашиваете, Михаил Сергеевич, я вам скажу: не делайте этого, — с трудом, но твердо говорил Суслин — и умолк, давая освоить свои слова.

— Отчего же? — сразу, даже еще не дав закончить, спросил Луний.

Суслин внимательно посмотрел на Лунина, отвел взгляд и нехотя (мол, сам знаешь) пояснил:

— Не дай бог, преставитесь на войне или на дуели (вы меня простите сердешно, Михаил Сергеевич, вы ведь сами спрашиваете, так чего ж теперь), а прямых наследников у вас нету, так муж сестрицы вашей, Екатерины Сергеевны, Федор Александрович, все равно не допустит, чтоб отпустить крестьян, да с землей. И все здешнее начальство, дворянство ему поможет и Петербург, Москва не откажет. Сами знаете. Так что лучше без этого.

— Но ты знаешь, что есть указ от 1803 года, по которому можно освободить крестьян с землей?

— Это я знаю.

— И что же?

— Пустое дело.

— Ты, однако, не путай; я знаю, некоторые из моих друзей хотели освободить без земли, так это не велено; а с землей — можно.

— Да знаю я. Оно верно, умный закон; и потому верный, что крестьянину без земли все одно делать нечего, и потому, что...

Суслин замялся.

— Говори, говори, — усмехнулся Лунин.

— Что знали, что писали: какой-нито дворянин, он, может, крестьян-то и отпустил бы из крепости: и лучше работать будут, и люди все-таки; но уж земли не отдаст. Так что закон, он умно написан, — откровенно усмехнулся бывший мужик.

— Ты прав, — просто подтвердил Лунин, — но я-то освобождаю с землей.

Они смотрели друг на друга; оба эти человека сейчас понимали друг друга.

— Женитесь лучше, Михаил Сергеевич, — наконец неохотно сказал (мол, зря говорим) Суслин, отводя глаза. — Родите наследника, мы ваши, вы наши. Неужто в Петербурге барышень нету?

— Барышни есть, — задумчиво сказал Лунин. — Я знал, что ты так ответишь.

— Да уж вижу, что знали, — не глядя, отвечал Суслин. — Была бы власть, а законы найдутся. Вы добрый, другие злые, на всех не угадаешь. Нам бы нонче, чтоб вы побольше жили, иного мы не хотим, — говорил Суслин, глядя в сторону. — А это завещание...

— Уж так ты не веришь в завещание, — опять усмехнулся Лунин, в рассеянности вертя по столу трубку.

— Уж коли завешание, так завешайте нас братцу, Николаю Александровичу, только и всего,— вдруг «брякнул» Суслин.— Так оно вернее.

— Ты умен, не обманул моих ожиданий,— улыбаясь, молвил Лунин.— Я не думал, что ты и это сообразишь.

— Да чего уж соображать-то. И имение, целое-неделимое, у вас, у вашей фамилии, и нам спокойно. Барин-то, слышал я... вроде вас.

— Ты, каналья, небось не только слышал, но и говорил с Nicolas,— улыбался Лунин.

Суслин улынулся «в бороду».

— Да чего тайть, случалось и видеть и говорить.

— Ну то-то. Меня, брат, не проведешь.

— Да где уж,— усмехнулся тот.

— Меня, брат, во Франции сочли прекрасным писателем,— неожиданно похвалился Лунин.— Говорят, я чародей; я не хуже Шатобриана. Это французский писатель,— нежась, говорил Лунин.

— Так, стало быть, ваша книжка будет и на французском диалекте? — не без интересу спросил управляющий.

— Нет, брат,— очнулся Лунин.— Уехал... а книжку, то бишь свою рукопись, так и оставил там в сундуке.

— Что ж так?

— Черт с ней... не до этого.

— Ну, дело ваше. А лестно,— примирительно вымолвил Суслин.

— Так о чем мы?

— Да вот...— опять посерьезнел управляющий.

— Видишь ли, Евдоким, я ожидал от тебя чего-то подобного. Ты прав во всем, хотя немного все-таки хитришь. Ты видишь, что мне, конечно, и самому неприятно утратить из рода старинное наше имение; но поверь, я бы сделал это, если бы был уверен...

— Да уж так.

— Впечатления от приезда сюда не укрепили моей уверенности, что то, первое, мое завещание пойдет впрок.

Суслин как бы виновато потупился.

— Кроме того, — медленно сказал Лунин, — есть одно тебе неизвестное обстоятельство, по которому я могу считать, что то радикальное — дерзкое, понимаешь? — мое завещание будет не принято и опротестовано. Оно и это, новое, может подвергнуться той же участи; но то — то наверняка.

Суслин в удивлении смотрел на хозяина; до сих пор разговор был весь ясен, теперь — нет.

— Так что, если что, держитесь, милые, Николая Александровича. Я отдам ему все распоряжения.

— Михаил Сергеевич! Вы чего это? — начал Суслин.

— Так, — прервал его Лунин.

Молчание.

— На всякий случай.

* *

*

Не раз ему приходила мысль, что длина лет не одинакова в разные эпохи человеческой жизни.

Как подумаешь, сколько жизни минует между твоим первым лепетом на зеленый лист и отроческим чтением Гёте, между первым осознанием образа матушки и юным желанием славы и радости, — так представится, что это тысячелетие; а ведь это — не более десяти лет.

И напротив, в годы юности, ранней и поздней молодости жизнь, кажется, полна дел и яркого колорита, и вся вообще в высшей степени полна; а оглянешься — где они, пять, десять, пятнадцать лет?

Если и помнится нечто, так вовсе не то, что должно бы помниться: не крупное, резкое, а — некий взгляд, милый жест, запах, звук, всхлип, дорога некая, ржание коня в сине-розовой полумгле, отблеск воды, чей-то крик, даль.

Лунин сравнивал мысленно свои годы меж тридцатью — тридцатью пятью с Европою пятого — десятого смутных веков: кажется, дым, чистая степь, звук пустой, а — пятьсот лет.

Но что такое три, четыре, пять лет в жизни единичного человека?

Не то же ли это самое и не более ль даже важно это для него, чем пятьсот в истории общей — в истории, которой некуда спешить.

Годы эти прошли и деятельно и ясно: человек, личность, вошедшая в зрелость, укрепляет себя в этой зрелости; Лунин устроил имения, поправил свои дела в комиссиях и в банках, одновременно вел напряженные переговоры с членами тайных обществ на Юге и в Петербурге; соображения у него были разные, он неизменно был сторонником мер решительных, но, как человек по душе военный (пусть и в отставке!), он не любил прожектов, предположений, которые не были бы обеспечены «грубой реальностью» — не соответствовали бы ее ходу.

Он полагал, что крепостное право обескровило себя, но не видел, чтобы те мысли, которые были предлагаемы товарищами, отвечали бы законам, которые ныне руководили жизнью; он знал, что при нынешних настроениях, при смутности планов, программ восстание одного полка или даже дивизии, корпуса не станет языком пламени, который запалит лес, — и Семеновская история — восстание одинокого полка — подтвердила это. Все было кончено куда скорее, чем у испанского революционера Риегги. Он не надеялся на распространение европейского либерализма; он видел, что множество из его друзей еще не готово к действиям наступательным ни душевно, ни материально; но все-таки, встречаясь с ними со всеми вместе, говоря с ними врозь, видя слабость обществ, сердясь на это и в то же время будучи осведомлен в их «приготовлениях», он надеялся, что собрания, действия, решения

общие, собирательные, а не групповые произведут большой толчок.

Он читал философов и теологов, разъезжал меж Тамбовом, Саратовом, Петербургом, Москвой; улыбаясь, пробегал письма прекрасных дам и посылал ответные; танцевал на розовых скрипучих паркетах, блеском отмечавших синюю черноту сада за люстрами, за стеклом, за отворенной дверью балкона; ехал в пролетке, искал в темноте теплой руки; ходил один по улице, по шуршащей пшенице, вновь думал об основах жизни общества, энергически приучал своих крестьян к мысли о хозяйственных выгодах труда сознательного и вольного, вновь убеждал товарищей в необходимости действий решительных, общих.

Он предполагал, что печатная пропаганда недооценена; как-то, говоря с Трубецким, он заметил:

— Ежели вы хотите дела, так нельзя думать, что при одной вспышке бунта все всё поймут. Нужно воспитание умов. Надобен печатный станок, неофициальные издания. Только так можно склонить просвещенную часть общества в нашу пользу. Политика — это программы, пункты и планы, не только героизм.

— Это говорите *вы*, вечный герой на свой страх и риск? — улыбнулся сухопарый, немного сутулый и тем как бы скорбный князь.

Лунин пожал плечами.

— Вы правы, конечно. О станке нужно подумать.

— О чем думать, князь; ну давайте я возьму на себя. Невозможно же только думать и думать; тут редкий случай, когда можно начать прямо с работы, и надобно пользоваться, — с раздражением сказал Лунин.

Князь нахмурился.

— Вы правы, — после молчания отвечал он, сдержав себя. — Извольте же заняться.

Лунин занялся, быстро добыл станок; но некоторые тотчас же начали опасаться столь вещественных призна-

ков реального «противозаконного» действия, как материально печатное слово, и вскорости все заглохло; станок закопали в саду.

Лунин жил, занимался своими делами; жил плотно и ясно.

И где годы?

Они — «там», сказал старик Державин.

«Где там? не знаем...»

Три года — один день; три года и столько-то суток далее — один день с минутой.

* *
*

Они подъезжали к *месту* в шестом часу вечера.

Лунин устал от степных пейзажей, они ему надоели еще под Тамбовом, а тут — богаче, солнечней, резче, цветистей, но еще меньше лесу, еще ровнее пространство.

Неспешную грусть-печаль навевает на сердце ровное место; полнит грудь простор, свежесть ветра, но что-то нежное, заунывное есть в самом просторе, самом открытом небе.

Странные взоры маячат сквозь облака, синь-взоры, незнание наяву, въяве; есть тоска в песне ветра, есть память и тихий стон, боль в зное и в мареве.

Показалась усадьба в пойме, на склоне, в балке; раины, широкий белый дом, дальнейшее сияние окон в усталом, но еще крепком солнце; золотые рябые подсолнухи, тот холм, ветер, густые сады... Малороссия.

Украина.

Никита и Лунин ехали сюда почти нелегально, официально они были лишь в Одессе, в Крыму, в Киеве; никто не был предупрежден; они улыбались, представляя удивленные и довольные лица хозяев и все шумное общество, которое высыпет им навстречу.

Так оно и случилось: расспросы, объятия, расшаркивания, поклоны, «целую ручки, вы степная роза», знакомства, пожатия.

Они пошли отдыхать — и там, в «бельэтаже», перед тем как разойтись по комнатам, Никита сказал, довольный:

— Тут еще больше народу, чем мы ожидали.

Он весь сиял; дела его шли волнующе; кажется, намечалась истинно высокая любовь; маячили и розовые мечты о славе отечества.

* *
*

Был уж поздний вечер.

Лунин сидел в углу на диване с чужим чубуком и слушал говоривших.

Посредине залы за шумным столом, накрытым белым, шло розовое, серебряное веселье, пылали лица, блестели зеленые, золотые бутылки, сахарный, ледяной хрусталь, сияли цветы из домашней оранжереи, дымились рыже-красные индейки и темные, матовые рябчики, отливали пунцовым, лимонным ранние яблоки, кричали веселые молодые люди, смеялись дамы, девушки в светлом и легком, пытался влезть на стол молодой поэт, удивительно «взвинченный», эксцентрический, невоздержанный на язык; его урезонивал тоже сравнительно молодой, но степенный, пытающийся хмурить черные брови, но сам невольно улыбающийся Якушкин; хозяин, не чая успеха, звал стол к порядку, чтобы суметь произнести речь.

— Господа, — начал Давыдов, когда все-таки наступил некоторый штиль, — я безмерно рад, что нас так много за этим шумным и молодым столом; должен сказать, сей праздник напоминает о братстве, которое знали мы в дни великой войны за свое отечество; между прочим, сей стол говорит мне о том высоком, благородном содружестве, которым мы связаны ныне.

Многие на миг примолкли, думая, не сказал ли и не скажет ли он лишнее; но он продолжал с молодой улыбкой, долженствовавшей выразить, что он понял опасения своих северных, своих южных друзей, но сумеет развеять их, эти опасения.

— Господа,— продолжал он,— я пью содружество за нашим столом! Пью, чтобы государь наш Александр, который взял Париж,— чтобы он был верен своему высокому слову, данному нам в Европе, на Польском сейме, в запрошлом годе; чтобы законно-свободные учреждения, вольность и покой снизошли на нашу отчизну ныне, когда пошли двадцатые годы просвещенного девятнадцатого века; чтобы юным поэтам, присутствующим среди нас, не приходилось писать сатиры, а только гимны, эпитаграммы и оды; чтобы отечество наше, Россия, была так же счастлива и дружна, как наш веселый стол!

Все закричали кто что, а хозяин победно посмотрел на Якушкина и других главарей-«либералов» (слово явилось из Испании, успешно входило в свет). Эти карбонарии, эти маркизы Позы не простят, что я в столь шумном, разнообразном обществе ясно намекнул на более тайное общество; пускай,— сказал его хмельной, молодой взор. Весь розовый, темнокудрый, в расстегнутом красно-золотом мундире, он возвышался, с сияющим бокалом в руках, над столом, полным жизни, хмеля. Якушкин и Фонвизин переглянулись, не очень довольные — Лунин заметил; они тем более не могли быть довольны, что многие приехали совершеннейше инкогнито; Никита, в середине стола, смеялся, растроганно глядя на Базиля, и покачивал головой: ах, шалун, ах, сорвиголова. При одном внимательном взгляде на эти покачивания можно было сказать, что в России существует тайное общество.

— Лунин! Лунин не за столом! — закричал рыжеватый поэт.— Ах, славное вино, прелестные дамы, душа моя; ну отчего вы не среди нас?

За шумом не все расслышали, однако же многие обратились к Лунину.

— Право, зачем же в стороне? Мишель, вы старинный мастер тостов и мадригалов, сюда! сюда!

— Взгляните! Вот ваш двоюродный! Только ваше место свободно: п е р в о е!

— Оставьте, господа,— бормотал Лунин; чтобы отвяжаться, он вышел из угла и сел на свободное место рядом с жеманной чернявой девицей.

Когда постепенно стол опустел и непосвященные разбрелись кто куда — дамы в сад, старики спать в прохладный флигель, юные гусары в беседку с девицами, поэт во след, дети к веселой воде,— оставшиеся некоторое время молчали; кто так и был за столом, кто по стенам на диванах, в креслах и канапе.

— Давыдов был слишком восторжен, неосторожен, и он искренне верит в государя,— сказал солидный Михаил Фонвизин,— но мы, наконец,— раз нас в кои-то веки столь много вместе,— должны договориться.

— Итак, Союза спасения нет, Союз благоденствия вскорости распускается, чтобы воспрянуть вновь. Чтобы встать в новой силе, отсеять случайное и пустое,— сказал высокий, с вытянутым лицом, сухой Трубецкой, дымя кальяном.— А между тем начинаем мы с того, что Базиль во всеуслышание...

— Да, да,— послышались притворно возмущенные голоса.

Сновавшие слуги хмуρο косились, но, говоря по-французски, те не обращали внимания.

— Надобно решить... попытаться договориться,— слышались голоса.

— Господа, есть проект цареубийства, он принадлежит одному из присутствующих здесь,— спокойно сказал Якушкин, как многие тайно знали, имея в виду себя, а не Лунина.

— Одному ли? — спросил черный как смоль Александр Поджио, подмигивая на Лунина.

Тем временем вошел только что приехавший Пестель; он возмужал, стал весь суще. Он возвращался из Киева в Тульчин и должен был увезти с собою Никиту и Лунина.

Все примолкли при его появлении, но вот снова заговорили.

— Очень жаль, что родич мой Александр (Николаевич!) Муравьев отошел от дела, — сказал из тени Сергей Муравьев-Апостол. — У него семейные несчастья, имение расстроено, он вышел в отставку; он очень помог бы нам по вопросам политико-экономическим.

— Здоровье Аглаи!

— Господа, здесь было сказано о проекте царевубийства, — напомнил Якушкин.

Все хмуро ждали; никто не хотел высказаться первым.

— Я полагаю этот разговор преждевременным, — сказал волнующийся темный драгун. — Я сам за действия решительные; но не теперь. Может, Якубович...

— Кто это?

— Но дайте же договорить. Одно дело, когда мы сражались с противником; другое — стрелять по своим. Тут надобно обдумать, господа. Нижние чины могут не пойти за нами — вы не знаете настроения солдат, Семеновская история — эпизод, не более; на одной же ненависти к временщику и военным поселениям не сделаешь бунта. Я за решительность, впрочем.

— Разгромить бы Грузино — вотчину временщика, — тогда государь одумался бы и прогнал Аракчеева, видя общую ненависть к нему.

Все помолчали, давая друг другу усвоить очевидную глупость этого предложения из чьего-то угла.

— Нужно обдумать всю организацию, а мы говорим пустое, — подал голос угрюмый Пестель. — Нужны дисциплина, тайна и подчинение, а здесь — разговоры.

Они помолчали, считаясь с его авторитетом.

— Вы не совсем правы, Поль,— заговорил какой-то незнакомый гусарский ротмистр.— Здесь не Франция; Россия имеет свое предназначение; русский мужик по природе терпелив, мудр не словами, а чувством, склонен к покорству и богобоязни; а без мужика, без солдат мы бесильны.

— Мы освободим крестьян, и эта пропаганда лучше, чем все толки,— сухо ответил Пестель.

— Все не так легко,— ответило сразу несколько голосов.

— Христианский принцип не должен быть забыт,— издали сказал... Оржицкий: Лунин посмотрел и узнал его, но не подал виду.

— Робеспьер и Дантон...

— Господа, это не первоочередные вопросы,— чувствуется, привычно сказал Пестель.— Главное, подготовить первейшие реформы и взятие власти. И взять самую власть.

— Но каким образом? Без крови?

— Но отчего без крови? впрочем, если отдадут без крови — пожалуйста,— в сдерживаемой ярости сказал Пестель.

— Вы не остановитесь перед убийством?

— Бить своих?!

— Стрелять по своим?!

— Убийство — не моя цель, но, если требует дело, надо смотреть правде в глаза.

— Но, убив царя, надобно истребить царскую фамилию; иначе возникнут новые претенденты, из-за границы придет реставрация, и тогда...

— Да, надобно,— сказал Пестель.— А вы думали иное?

— И детей? И великих княгинь, княжон?

— Да.

Все были заново смущены или откровенно подавлены.

— Но позвольте,— в замешательстве начал один из

гвардейских гусаров-поручиков загибать пальцы.— Сколько же человек? сам государь... Константин, Николай... Михаил... императрица Елизавета Алексеевна... великая княжна Александра Федоровна... малолетние Александр, Михаил...

— Перестань,— тотчас же с отвращением сказали несколько человек.

— *Убивать* живых, близких. Не дальнего неприятеля, а людей, которых мы видели, знаем, говорили...

— Да... да... Ужасно...

— И что же далее? Какая власть?

— Натурально, монархия на англицкий образец.

— Но кто же монарх?

— Господа, нельзя так сразу своим против своих,— сказал Ивашев, которого Лунин узнал по голосу, а после и въяве: он тоже сидел в отдалении.

Когда он говорил, Лунин посмотрел на него, затем они кивнули друг другу.

— Не монархия, а — диктатор, чуждый сомнений, слов и сентиментальной фальши. Чуждый интриг, страха, иллюзий, глупости, всей чепухи. Умеющий привести страну, народ к счастью, даже тогда, когда они сами того не хотят — упорствуют, ленятся,— сказал Пестель.

— И *кто* же диктатор? — насмешливо спросил кто-то.

Все посмеялись, явно «провоцируя» Пестеля; он в каком-то бессильном гневе глянул исподлобья — смех умолк.

— Я думаю так,— сказал тяжелый Михаил Орлов,— что власть, конечно, не будет нам отдана по первому требованию; но что мы силой, но без пролития крови принудим отдать ее. К примеру, две южные армии откажутся повиноваться своим генералам, требуя смены правительства, вольности для крестьян и отмены военных поселений; или гвардия выйдет на площадь перед дворцом и поклянется не уйти до тех пор, пока не будет дарована конституция или царская фамилия не сложит с себя власть. Или потребуют

от Сената, от Государственного Совета... Я понимаю, господа, что по видимости наивен; но примите во внимание, что, когда государь увидит общее неповиновение армии, негодование дворянства и всего общества, когда он увидит воочию желание вольности у крестьян, он вынужден будет...

— Я согласен с вами,— горячо и серьезно подхватил доселе молчавший Никита.— Все мы знаем святость нашего дела, знаем, что реформы необходимы, что нужно спасти отечество; но начинать с крови, с убийства детей? начинать с убийства своих соотечественников? на это трудно решиться, от этого сердце обливается кровью; в то же время совершенно ясно, что правительство, государь, высшие сановники, высшее дворянство не уступят свою власть, привилегии без применения силы. Как же быть? Как увидеть нашу Россию свободной и просвещенной, процветающей в счастье и разуме? выход есть; пусть действительно наивно, первоначально, но он сейчас выражен. Наше дело — угрожать силой, привлечь на свою сторону все здоровое, цельное, умное, ясное в нашем отечестве; когда старики, Аракчеев и император увидят, что все против них, им ничего другого не останется, как сложить оружие.

— Браво, Никита!

— Браво!

— Умереть! Ах, как славно мы умрем.

— Но, господа, этот план слишком рискован; и есть ли у нас программа?

— Русская Правда Пестеля!

— Пестель будет нашим мечом, Никита... Никита...

— Да что,— вдруг четко сказал из своей тени Сергей Муравьев-Апостол; он приехал в строжайшей тайне и большей частью молчал: не только по своей природной склонности, но и поэтому; теперь все вновь ощутили обаяние его одновременно крепкой и мягкой манеры; говорить он, по всей вероятности, «в настройении» умел внушительно.—

Мы погибнем: победы не может быть. Перед нами Россия. Мы — первые перед светом; мы обязаны знать, что наша участь — смерть; мы должны знать и должны... выступить, умереть, как умирали мы на полях великой войны. Но нынешнее дело нравственно тяжелей, и не всякий сумеет... Будем помнить об этом, господа; все должны заново, вновь обдумать. Для того и распущен Союз... для того возникает новый Союз — более тайный, суровый...

— Сергей Иванович, гибель — не первое, о чем должно думать, — начал Пестель, и на сей раз его голос — как бы лишь подав знак — утонул в общем ропоте:

— Что это, Сергей Иванович?

— Вот Муравьевы.

— Мы еще живы.

— Кассандра.

— Зачем же идти, коли не думаешь о победе.

Но минула и эта минута; опять были восторги, проекты.

Лунин, уж снова сидевший в тени, встал и начал прохаживаться как бы в задумчивости; и никто не заметил, как он вышел из шумной комнаты.

* *

*

В саду стояла летняя ночь; луна побеждала тучи рассеянным бело-голубым, как бы игольчатым светом; сами провеянные сиянием, небесные туманы казались «волшебным» флером, закрывающим мягкую, теплую бездну; сад едва шумел тяжело, грустно и настороженно; казалось, яблоны, сливы, вишни, груши с их мягко-глянцевитыми в свете листиками, темная трава, плетни и бело-синие пятна хат, заметные в отдалении, знают о себе нечто важное, теплое — и шуршат или молчат, не ведая слова; тополя темнели в стороне, пряча живые призраки, — зыбко по-сверкивая серебряными изнанками листов в том же еле

заметном ветре, в том же странном свете,— темнели, как бы привлекая в свою тень,— и правда, там, в глубине, у беседки, слышались мелкий смех и шепоты (поэт? те юнкеры?); резные перила, бельведеры, балкончики, лианы дикого винограда, взбирающиеся по нитям до крыши, амбары, телега с высоким решетчатым краем, конюшня с ее хрустом и глухим топотом, бочка, верх погреба — все в ярких полосах из окон и одновременно в тихом, извечном бело-голубом, сине-голубом полусиянии,— все было лишь в синих силуэтах и контурах, все было подчинено настроению ночи.

Милый вымышленный образ привычно, но необыкновенно четко для души мелькнул меж темных, поблескивающих тополей — и растаял мерно.

Лунин, постояв еще, вернулся в дом.

* *
*

Через два часа Никита, розовый и бодрый, пришел к нему; он упал поперек кровати, уперевшись головой в стену, и тут же встал, сел у стола:

— Ну, что невесел, друг мой? А я вот, друг мой, брат... но об этом молчу, молчу: не хочу спугнуть своей волшебной птицы... Как тебе наши друзья? как их много, славные ребята, не правда ли?

— Ребята милые,— нехотя сказал Лунин, сидя у стола и поглаживая щеку ладонью; вопреки обыкновению, в его фигуре была не грация и развязность, а некоторые неловкость и прямая дума.

— Да! Видишь!

— Ничего у вас не выйдет,— подумав, сказал Лунин.

— У вас?! — темнея, переспросил Никита.

— Такие дела надо делать или решительно, или никак не делать. Пестель прав; он не знает другого, но в этом

прав. А вы! «Силой, но без пролития крови!» — в раздражении повторил он. — Заставить, угрожая Сенату! Не прольем крови братьев. Не тронем младенцев!

— Я сам мучаюсь наивностью и бездействием некоторых членов обществ; но, однако, Мишель...

— Коли гибель младенцев есть первое, что приходит вам в голову, не следовало ввязываться; тут нужны другие люди.

— А ты способен...

— Да просто не о том ваш спор, пойми; думая о перевороте, не думай о прочем, иначе погиб. Заставим Сенат! Государственный Совет! Сами вы и младенцы; вас-то и перебьют.

— То, что ты говоришь, мне внятно; ты напрасно убеждаешь убежденного. Я сам испытываю тревогу о судьбе дела. Но как же «не думать о прочем»? Мы не бандиты, не честолюбцы; мы хотим лучшего устройства общества, спасения отечества.

— Ты полагаешь, среди вас нет честолюбцев?

— Есть; и всякий из нас не чужд сего. Но главное — вольность, благо народу и справедливость; потому... приходится думать и о младенцах. Свободу лелеют чистыми руками.

— О них не надо думать: их просто не надо трогать. Детям не место в этой игре. А вы не тем заняты, — как-то вяло сказал Лунин.

— А если это дети царей? — раздельно сказал Никита, думая поразить логику Лунина в самое сердце.

— Все равно не место, — равнодушно — думая о своем — сказал Лунин. — «Сенат», — снова передразнил он.

— Я не говорил о Сенате.

— Все равно. Можно подумать, что вы не военные и не знаете, как бывает в деле; и эта ваша разногласица. Толки о смерти... Турецкий базар. Можно расхотеться во мнениях, но...

Он угрюмо умолк.

— Да ты что бы сделал на нашем месте? И отчего ты молчал?

Лунин не ответил, глядя в стену.

— Очень жаль, Мишель, что ты не с нами,— торжественно сказал Никита.— Я сам в некоторой тревоге; но я не таков, чтоб совершенно отойти.

— Отчего же, я вовсе не делаю объявления о выходе из общества,— нехотя возразил Лунин.— Я не люблю болтать, как любят те или другие из вас, и не хочу в вожжи; но я совершал, предлагал кое-что, разве нет? Я выдвигал себя возглавить летучий отряд, обреченный на гибель; беседовал во Франции с революционными умами; изучал крестьян, их истинное положение, мысли; возился с пресловутой типографией и не был поддержан, тогда как ясно, что без решительной связи через печатное издание ничего не выйдет; не раз выдвигал разные программы акций — но как раз к реальным акциям вы, по сути, не готовитесь. А пора готовиться или прекратить игру... Впрочем, я, повторяю, не слагаю с себя ответа. Мало того, я, по всей видимости, снова вступлю в службу, как и вы того ждете (вы правы, что требуется быть действенным, не сидеть в тени): тоска с хозяйством; не по мне. Заботы много, проку нет. Нет, некоторый есть, но не оправдывает... И... словом, не по мне.

— Как тебя понимать, Мишель; ты недоволен ходом дела, и в то же время тебе как будто действительно все равно, считаем мы или не считаем тебя своим. Объяснись внятно.

— Кроме того, должен тебя предупредить, вы играете с огнем. Вы не знаете, что ли, этих людей? Они-то не ждут ждать, угрожать.

— Мишель! Тебя ли слышу! Ты — страх? Ты — о страхе? Стареешь, Мишель! Стареешь! — звеняще-задорно запел Никита.— А я... я чувствую себя дерзким, как птица,—

говорил он, сладостно-детски потягиваясь и делая гимнастические движения.

Лунин пожал плечами, молча встал и направился к балкону.

* *

*

Вновь и вновь Лунин думал о своем участии в тайном обществе.

Ему принадлежал первый в истории всего движения проект царевубийства. Он был из первых основателей самого движения. Он был из первых и в дальнейшем ходе его. Он участвовал в собраниях Союза благоденствия на его прежних и нынешних этапах. Обсуждал уставы и «клятвы», организацию, проекты конституции, порядок приема, строение руководящей думы; бывал на совещаниях Юга и Севера. В Париже интересовался новейшими социальными доктринами, прикидывал их на Россию и вообще на устройство новейшего человечества. Но была некая двойственность в его положении.

Он слишком хорошо понимал, что при нынешнем состоянии общества оно не достигнет действительных результатов; человек ума и духа, он видел, что взятые меры недостаточны, что общество не выигрывает ту крупную игру, в которой поставило ставку.

На начальных стадиях он возвышал голос, но, обнаружив, что его и не слушают, и просто опасаются, он перестал спорить попусту. В заседаниях он участвовал по-прежнему, от общества формально не отходил, но только для виду соглашался с различными недействительными проектами, с которыми приходилось встречаться.

Он знал мужиков и знал солдат и знал своих друзей — членов общества. Он понимал, что последние так и не объявят освобождения крестьян с землей, да Россия и не готова к такой мере. Не пойдут они и на коренные перемены в армии. То есть солдаты и крестьяне будут в стороне.

А раз так, получается, что горстка людей выступает против Левиафана; ясно, что горстка будет раздавлена.

Лунин искал реального дела, физического или умственного, которое будет иметь свои реальные результаты; пока он не находил его.

Он надеялся, что в будущем найдет. Вся его жизнь двигала его к этому будущему: еще неясно, какому...

Пока же ему было нелегко: он не желал уйти от общества — единственной свежей силы в России, — и предвидел его поражение, и не мог переменить ход судьбы; он готов был погибнуть вместе с товарищами, но еще более ему хотелось ясного действия и победы; этого, он видел, не будет; «бросаться» же в одиночку он сейчас не стал бы, ибо это было бы еще бесполезнее, да и против правил, против дисциплины самого общества.

Вскоре Михаил Лунин снова вступил в военную службу: сначала в уланы, в Слуцк, затем в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк — и уехал в Варшаву, к Константину.

Несколько месяцев ушло на первоначальное устройство, возобновление связей. Оказалось необходимым напомнить о былой славе и опыте. Так, когда он сказал, что у современных улан, в отличие от гусар, обмундировка непрактична, вокруг улыбнулись. «Чудит старик», — было в улыбках. Пришлось делать шум, задевать надменных; все они, зная легенды о Луине, друг за другом незаметно умолкли и отошли, но зато приблизился сам Константин, стоявший неподалеку, и спросил с ехидной улыбкой:

— Подполковник Лунин опять недоволен нами?

Он был краснолицый мужлан с виду, но по-своему неглуп и обладал в обращении тем снисходительным добродушием, которое дается сознанием своей власти и нежеланием, ленью применять ее слишком часто; Лунин не вы-

носил этой манеры в отношении к своей особе и — так как Константин был близок к кавалерийским полкам — в прежние годы не раз «имел эпизоды» с великим князем. То он выезжал из строя на дуэль с Константином, который с пылу нагрубил офицерам, а после не знал, как бы помириться, и вызвал первого, кто решится, надеясь, что никто не решится; то дерзил Константину и самому императору по случаю своего сумасбродно-одинокого плаванья на плоскодонной чухонской лодке по штормовому морю вдоль стен морских крепостей и переругивания с часовыми, для остротки палившими, в тумане и сумерках, поверх его головы; то выпускал собак на медведя вблизи великокняжеских вилл, тем задевая и Николая, не только Константина, и намекая на причастность (впрочем, неясную) последнего (как и Александра) к смерти отца; то это пение серенад, то иное; но Константин не знал, что Луний зол на него, ибо он, Луний, так и не сумел победить его, великого князя, этакое спокойствия.

Луний видел, что Константин принимает все его выходы как шарахания прекрасного, праздничного коня, как «страшный» фейерверк в Петергофе, как мимолетный рык любимой борзой; Константин любовался им, как дерзким, красивым животным, удовлетворяющим потребность юного удалого помещика в развлечении и в опасности, как лихим шутком, как рискованной, острой игрушкой; его здоровая, цельная душевная ограниченность начисто отметала возможность обиды, жажды наказать, а удаль и мужество он любил всем сердцем. Он наказывал робких и вялых, вдруг вздумавших грубить, или расчетливых, решивших искусственной дерзостью подмазаться к его характеру «простого, прямого и грубого воина», — у него было безошибочное чувство на солдата и несолдата; но таким, как Луний, трудно было взбесить его. Он был недостаточно грамотен духом, чтобы понять, что Луний тайно выше его, и обладал достаточной властью, чтобы презирать оскорбления, которых ему

никто не подумает зачесть за оскорбления. В этом отношении он был полной противоположностью своему брату, императору Александру, который был как раз достаточно грамотен, чтобы с первого взгляда видеть, что тот-то и тот-то умнее, выше его, и недостаточно светел и благороден, чтобы простить это. Были люди, которым он мстил всю жизнь, сам не зная за что, и они не знали; любимой его привычкой было — ласкать, воспевать действительно достойного, даровитого человека, которого он наметил в немилость. Сановники знали эту черту — и бледнели при каждой похвале императора в глаза или за глаза. Такие люди любят прямых и твердых посредственностей вокруг себя — и рано или поздно должен был явиться Аракчеев. Нет, Константин был не таков; тут иное...

Четыре брата, и все различны по характеру; третий, Николай, был известен в армии, в гвардии как человек упрямый, жестокий, не дурак, хитрый; впрочем, не самого храброго десятка; Михаил любил артиллерию, был совсем молод, капризен и глуп; но до них Лунину не было дела, а Константин — вот он, снова стоит перед ним, улыбаясь и благодушно и снисходительно.

Полминуты они молча смотрели друг на друга; затем Лунин молвил почтительно, но с улыбкой:

— Я только говорю, ваше высочество, что форма улан ненадежна; при боевом деле стеснительна. Много пышности, мало толку.

«Мало толку» — не такие слова, которые следует говорить высочествам; но Константин только усмехнулся — и спокойно-живо отвечал, с удовольствием ожидая от Лунина новой выходки:

— Отчего же? ведь ныне не времена моего отца; военные формы практичней и крепче.

— Уланская — нет: эти фижмы, зацепки, банты сбоку, украшения и шнуры на...

Он умышленно запнулся, и все засмеялись, в том числе

великий князь; Луний внутренне угрюмо поймал себя на мысли, что делает именно то, чего от него ожидают, — ведет свою привычную, но в данный момент навязанную «ролю».

Он красовался перед Константином, одетым в простой польско-гвардейский зеленый мундир, в своих ярких зелено-голубых с серебром, с золотом лейб-гвардии гусарских ментике и долмане, в слишком высоком кивере вместо каски, усатый и слегка выше ростом, чем Константин, хотя и тот высок. Выше ростом, но в невольно-почтительной позе, отчего еще хуже; хотя не столько почтительной, сколько развязно-почтительной, но от этого еще более неловко. Кругом — ухмылки свиты, кавалерийских офицеров. «Погоди, — подумал Луний, начиная беситься. — В парадной красной обмундировке быть бы еще глупее: чистый шут; но нет, погоди».

— Эти флажки-значки на дротиках. Но главное — амуниция.

— По-прежнему дерзок, — смеясь, говорил Константин. — Семь лет отставки ничему тебя, вижу, не научили. Посмотри на твоих товарищей: Чернышев — генерал, Волконский — тоже.

— Каждому свое, ваше высочество, — улыбнулся Луний, действительно довольный: заставил сделать себе выговор.

Кроме того, он, предвидя события, прикидывал расстояние до уланского эскадрона, который строился в стороне.

— А вот увидим, — сказал великий князь. — Иди за мной.

Пестря голубым, зеленым, красным и белым, группа свитских и кавалерийских офицеров разных полков, во главе с решительным Константином, пошла к уланам; Луний примерился, где встанет.

Разноцветный, напыщенный ротмистр, увидя высокое начальство, поискал глазами своих командиров, не нашел и сам подлетел для рапорта.





— Отойди, братец,— не глядя на него, спокойно сказал Константин, отводя ладонью с пути его локоть — два пальца к киверу.

— Молодцы — уланы! — вдруг зычным голосом крикнул великий князь.

Всадники подобрались — руки в поводья, спина как шест.

Константин — опытный военный — мгновение подождал, пока они действительно приготовятся к дальнейшим распоряжениям, и вдруг заорал:

— Принимайте команду от подполковника Лунина!!

И с улыбкой повернулся, чтобы увидеть, насколько готов к такому обороту дела сам подполковник Лунин.

Тот был готов, хотя заранее досадовал, что Константин поставил его в невыгодное положение: кавалеристы прикрикнули «принимать команду» от *конного*, и когда он будет кричать им снизу, тот безусловный инстинкт повиновения, который помимо разума действует в солдате в привычной обстановке, будет нарушен. В мгновенной улыбке Константина Лунин увидел и это: а ну, *как* ты выпутаешься, если и не растерян? знает, бестия... Но еще прежде, чем Константин успел оглянуться как следует, Лунин выступил из толпы, развязно и властно встал перед строем уланов — озирает ряды — и в свою очередь, дав им приготовиться к повиновению, неожиданно резко крикнул:

— С коня!!

Уланы торопливо замелькали голенищем над седлами; но не успела нога коснуться земли, как Лунин в рассчитанное мгновение — именно когда одна нога еще в стремени, а носок второй уж вытянут, но еще не коснулся твердого, — весь в ярости, даже присев и слегка ударив себя по ляжкам, вдруг заорал:

— На ко-о-о-о-онь!!

Эффект был угадан верно: нога несчастного пышного улана еще двигалась вниз и как раз ударилась оземь, но

все тело, в позыве повиновения, поддернулось, потянулось вверх; кроме того, вторая нога уж выскочила или начала выскакивать из проклятого стремени, а ее тут же надо было вставить обратно; люди спутались, а банты, концы золотых шнуров, зацепки, ленты и даже кушаки заболтались, обвисли или слетели на землю.

— Молодец,— сказал сзади Константин слегка напряженным голосом; Лунин не оглянулся; он знал, что тот, черт возьми, доволен — театр! балаган! — но что есть и досада.

Однако не более...

— Свой брат! Все наши штуки знает,— сказал Константин своим настороженно посмеивающимся адъютантам (выходка была такова, что начальственный результат мог быть разный), отечески и дружески обнимая за плечо вернувшегося Лунина; тот принял «ласку», покосившись на наследника без улыбки; но Константин, по сути, не обращал на него внимания, он говорил курносому адъютанту: — Позови, пожалуйста, этого ротмистра.

При этом он шел от уланов, не останавливаясь.

Ротмистр догнал его и, забежав и развернувшись, как артиллерийская упряжка, застыл перед цесаревичем, надув щеки, вобрав живот в легкие и вновь пяля руку с двумя пальцами к киверу.

— Видел, братец? — спокойно-насмешливо спросил Константин, останавливаясь, отпуская Лунина и указывая на него большим пальцем от плеча, как на неодушевленный предмет.

— Так точно, ваше императорское высочество!!

— Не ори, братец; не глухие. Видел, старая выучка? Поучись; чтоб мне больше такого не было.

— Обмундирование по инструкции, плац-адъютант... — весь плясая, сразу почти со слезами на глазах, с отчаянием в горле начал ротмистр; это, несомненно, был человек, выбившийся из акцизных, из однодворцев; вся удача, вся

сила его была в ладной фигуре, в умении обращаться с лошадью, и покуда эта удача служила ему; но вот...

Он никогда не решился бы и слова сказать цесаревичу; но в нем говорило отчаяние, а оно творит чудеса, в том числе чудеса храбрости.

Впрочем, это была не храбрость, а крик жизни.

— Поди прочь, милый,— заученно сказал Константин и пошел на ротмистра так, будто перед ним никого не было; но тот весь сжался и при этом и выпятился — и не сходил с места.

— Ваше высочество,— плаксивым мужским голосом повторил он.

Вышла заминка, Константин стоял перед служакой, невозмутимо разглядывая его лоб, нос и кивер и привычно надеясь на адъютантов.

— Подите, ротмистр, и будьте мужественны,— вдруг резко сказал Лунин из-за плеча великого князя.— Его высочество, командующий Польской армией, понимает, что обмундирование кавалерии зависит не от вас; от вас же он требует соблюдения порядка и всех приличий.

Все остолбенели от такой дерзости; сам Константин посмотрел на синего подполковника как бы сквозь него и кисло-презрительно.

Возникло молчание.

К тому же глупый ротмистр так и стоял, не двигаясь.

— С своей стороны я, как виновный в шутке, позволю себе просить его высочество не наказывать этого уланского ротмистра,— нагло добавил Лунин.— Ежели наказывать, так позвольте меня.

Было видно, что Константин колебался, не послать ли их обоих, и шутника и пострадавшего, к черту — на гауптвахту, в караул или куда-либо; но последнее замечание Лунина охладило его; в нем проснулось родовое упрямство.

— Я сам виноват, сам и распоряжусь,— холодно сказал

он Лунину. «Наказать? а вот и не накажу», — прозвучало в этом простое, детское. — Ротмистр, отойдите с дороги; ничего не случится с вами. С меня и испуга вашего довольно, он ваше высшее наказание, — миролюбиво-сдержанно перешел на «вы» Константин под снисходительный смех боевых и свитских офицеров. — А вы, Лунин, в своем *employ* *, — по-английски произнес он последнее французско-британское слово, тем самым придавая своей речи оттенок игры, безразличия, светскости. — Напоминаю вам, что те самые правила приличия требуют, чтобы непосредственно в моем присутствии и без моего собственного на то указания никто, даже высшие офицеры (а вы пока не совсем высший, — равнодушно-мстительно усмехнулся он) не смеют отдавать приказания и тем более читать поучения моим подчиненным; ежели вам угодно нарушать эти правила, не сажать же мне вас на гауптвахту... в вашем возрасте, — сказал он с довольной ухмылкой, думая, что уязвляет Лунина более, чем при любом наказании, и недалекий от истины. — Так-то, — по-русски округлил он, вдруг взглянув на Лунина: довольный своим решением, тоном, словами. — Опять, скажешь, дерзость?

— В наших устах все дерзость, в ваших — все правда, — спокойно-презрительно сказал Лунин.

Офицеры молчали, в свою очередь поглядывая на Лунина с тайным презрением: нет, этот далеко не пойдет, можно не обращать на него внимания; Константин усмехнулся:

— Я понимаю, ты не кончишь, пока я не кончу. А зря, зря, мой милый. — «Ты видишь, я могу уничтожить тебя одним пальцем, а не делаю этого — не делаю просто из своей прихоти; так пойми это, наконец», — сказала его прохладно-улыбчивое лицо. — Я ценю тебя; тебе давно пора быть среди первых людей гвардии. Тебе уж не двадцать. Ты,

* — роль, род занятий (*fr. employ*).

я слышал, умен, начитан, все знаешь; это твое дело. Но ты прекрасный офицер, мне такие по душе. Для чего нам ссориться? Тебе надо поправить свою карьеру, догнать товарищей; мне...

«Заткнуть за пояс петербургскую гвардию», — мысленно довершил Лунин, и великий князь понял его.

— Ну-ну, — вежливо-примирительно сказал он по-русски.

«Экий весь ладный да сдобный конь, а уж слишком горяч; экий прекрасный кадет, да больно ребячлив», — сказало его незлое, неглупое, но слишком довольное, мягковластное глыба-лицо.

«Будет», — подумал Лунин.

Он хмуро поклонился.

Константин настороженно-мягко кивнул — «не взбрыкнешь ли снова? ну хватит, хватит» — и, тотчас забыв о Луinine, важно-свободно пошел вперед.

* *
*

Константин любил держать Лунина при себе и давать ему поручения.

Нынче он послал его доставить пожертвования в пользу кого-то: Лунин даже не разобрал как следует.

Он принял мешок с деньгами, сел в пролетку, в рассеянности глядя по сторонам, миновал серое и желтое, в узких улицах, башнях, костелах с зеленым шпилем, в неровных булыжниках Старо Место, в сотый раз смерил взором Святого Яна, проехал еще несколько улиц — в стороне черный Саксонский сад, весь в конусах Бельведерский дворец, — шумно (мостовая тут была совсем неровна) подкатил к старинному, романтическому и как бы дородному, седобородому особняку рода Сангушко — приземистому светлому дворцу-замку, скрытому за фигурной оградой в глубине парка.

Он скучающе прошел по белой аллее, нарочито гремя, медленно «взошел» по высокой и белой лестнице (ему нравилась и одновременно его злила шляхетская поза, внешний «католицизм» во всем), нагло кинул шинель на руки «белому как лунь» (как положено) мажордому, который вполне невозмутимо поймал одной рукой, тогда как оставленный жезл в другой даже не шевельнулся, вошел в вестибюль, скользко стуча и звеня по зеркальным мраморным плитам. Конечно, еще одна белая лестница с венерами, ледами, лебедями, психеями по бокам; Лунин взбежал, вошел в залу, походившую на фойе — кулуары сейма, — так много и в то же время как бы и немного тут было важно прохаживающихся господ в темных фраках, в коротких бородках, с прямыми талиями (все они ходили или по двое или как бы отдельно от всех, и оттого было ощущение «много — не много»), поисками глазами распорядителя или кого-то подобного... и тотчас, будто блеснул луч на хрустале, он увидел в стороне у окна печальную высокую девушку в голубом, явно ожидавшую кого-то.

Это была красавица чистого польского типа: белая, с голубыми глазами, с как бы лилейными лицом, шеей и высокой, но плавной грудью; чувствуется, что, когда шла, она подавалась назад — так стройны и линейны, продолговаты были контуры ее рук, спины, всего тела; она и сейчас стояла, будто бы отшатнувшись от света и чуть застыв в задумчивости; светло-золотые волосы шли по спине, по плечам — не были убраны в прическу, а были распущены на славянский манер; она была юная и вся гибко-нежна, но невыразимая унылость была в ее лице, в ее взоре, синесеребряно сияющем в свете утра из затененного серыми кленами, праздничного готического окна; особая кристальная мягкость, заставляющая думать, что тайна, беда тут реют над неким сомнением; и это светлое сочетание: юность и дума, нежность и «горе» (горе? но откуда?), тревога, — это сочетание умиляло сердце.

Лунин отвернулся, потом снова взглянул на чужестранку и родственницу, на это, вдруг возникшее, туманное голубое солнце; она задумалась — как он сам, бывало, — и, видимо, на мгновение забыла, кого ждет и зачем пришла.

К нему подбежал суетливый поляк низкого роста — в *pinse-nez* и сером жилете; он заговорил спешащим старческим тенором:

— Вы от его высочества? о, он так добр; наши компатриоты в Австрии, они так страдают от гнусных немцев; вы не поверите, им запрещают говорить, отдавать детей в славянские школы, им не дают поступить на службу. Да, они участвовали на стороне Бонапарта; но ведь русский великодушный император, великодушный цесаревич простили, простили заблудших, мало того, им дарованы...

— Да, — вовремя кивнул Лунин.

Тот было приостановился на миг, проверяя, готовы ли его слушать; но, вдохновленный поддержкой, продолжал с напором:

— Нам дарованы конституция, сейм, чего нет и у русских, — да, нет у русских, — не стесняясь повторил он, а у Лунина в голове мутной кометой мелькнули споры и возмущения на этот предмет, имевшие место в Южном и Северном обществе и особенно во вновь возникавшем Обществе соединенных славян, почти неизвестном в Москве, Петербурге, но отчасти известном в Варшаве. «Поляки, трижды, четырежды побежденные, имеют от императора сейм, закон; Финляндия, Остзейские провинции, эти Лифляндии и Курляндии — то же самое; а мы? Мы, победители Бонапарта?»

Теперь, глядя на довольного старика, говорившего таким тоном, будто не Александр, а сами поляки учредили все эти сеймы, Лунин слегка нахмурился, но опять кивнул:

— Да.

Не до сеймов, однако, было; а тот стрекотал, как в легком тумане:

— Вот! Вот видите, добрый пан! а австрийцы? а Меттерних? почему они утесняют?

Лунин наконец решил поправить свою ошибку; вежливо дождавшись того момента, когда старик был вынужден перевести дыхание, он поспешно вскинул руку — и сказал с досадой:

— Ах! забыл! — И, взглянув на поляка — как бы вспомнив о нем: — Простите... Простите.

Всего вам доброго.

* *
*

Он, однако, не знал, как подойти к «милой панне»; он видел, что тут не тот момент, который вечно был в его жизни, — он идет, с образом нездешней возлюбленной в сердце, в очах, а за ним идет, его ищет женщина, дева, которой он дарит внимание, — нет; он уж знал, что то было иное — сама тайна, возлюбленная.

Он не решил, как быть: в смущении он предвидел, что она потому и возникла, что свет лилии и печали сопутствует их явлению друг ко другу, этой встрече; что голубизна, что туман и недоумение обнимают радость, алмаз прихода — не дают сиять солнцу, граням; что возвышенное и ясное победит тут восторг и радость.

Но оттого и сильней была несомненность и свет; оттого свежее были печаль, любовь.

Он подошел к девушке, не дошел три шага и грустно склонился; его руки были уж свободны, одной он придерживал край голубого с сиянием ментика: гордая гусарская удал; другую держал у сердца.

Усы были лихи, лицо бело, розово, волос пушист и рус, глаза «томные», светло-карие; он был велик ростом, не мальчик, строен, в блестящих ботфортах (отсюда — в строй!), весь блестящ; он был *тот* гусар, *тот* конник, и бывший ротмистр, и нынешний подполковник, который

мог, мог полюбовиться гордой девушке с этим станом и золотыми, белыми прядями.

Но непонятная грусть, печаль были в его красивом, мужественном лице, в его туманно сияющих светло-карих, темных в глубинах глазах и в его «тихом» поклоне, во всей его одинокой средь шума, фигур, шагов, толков, как-то по-нуро склоненной фигуре, в его этом взоре несколько исподлобья; она не знала его, она смерила тихим, холодным взором его, приближающегося, его, красивого и картинного, — и хотела отвести свой тихий, свой гордый, свой скорбный взор; но она посмотрела на него, остановившегося, на его забытый поклон...

И она ждала его слова.

Он же сказал:

— Вы ищете кого-то; вы грустны. Позвольте помочь вам.

Он не хотел говорить — хотел поклониться и отойти; но увидел — она ждет слова; и Лунин — гусар, мужчина — заговорил.

Она колебалась, говорить ли, — и наконец сказала:

— Вам известно, что *так* не подходят к девушке; а вы даже не знаете, *кто* я.

Как странно: она молчала — в ней были печаль, синева, блеск, алмаз, тоска, лилия; ныне, заговорив, она оказалась добра тем особенным добродушием, которое идет от самой природы и сопутствует инстинктивно уверенным в себе обаянию, нежности; будто привыкнув, что с ней неизменно ласковы, тихи, она была заранее и проста и добра... хотя говорила иное.

— Простите; по первому вашему слову...

— Нет, пусть; вы правы; я ищу хозяина этого дома, моего кузена, князя Сангушко, он ушел за...

— Вы грустны, — глядя на нее, отчаянно сказал Лунин; впервые за долгие годы он ощущал биение сердца, идя напрямик и полагаясь на ту простую, дерзкую, невозможную

близость в словах, во взоре и в жесте, которая как бы приоткрывает теплую, льдистую бездну.

— Вы грустны; могу ли я помочь вам? — грустно, спокойно повторил он.

Мгновение она смотрела на него, ширя синие глаза, розовея; то инстинктивное, защитное, женственно-простое движение, которое она сделала, заговорив о деле и тем как бы совершив попытку перевести эту встречу, это событие в будничное общение, — это движение было отвергнуто Луниным; он вновь подвел ее к сути: вот... вот.

И она тотчас робко увидела, поняла, что не миновать.

— Я не знаю, что вы нашли во мне грустного. — В этой простоте была суть, была мгновенная сдача на милость рока. — Я лишь задумалась; у меня нет никаких причин.

Она улыбнулась и добродушно... и тихо-печально.

Лунин молчал, полный свежего ветра восторженного чувства; ничего не было сказано — *все* было сказано, *все* было решено.

Их двое, и есть трогательные явь, свет; и нет ничего.

— Может быть... мне это показалось, — промолвил Лунин тепло, влюбленно и прямо.

— Наверно, так; у меня, право, нет причин для печали, — преданно улыбаясь, говорила девушка; они стояли друг против друга... и тут Лунин растерялся; не было сказано ничего — все слишком быстро было сказано.

Забота вдруг овладела его существом; он «засуетился», как-то подозрительно посмотрел ей в лицо — не смеется ли уж над ним? — оглянулся, зазвенел шнорой, вновь посмотрел в глаза.

Она улыбалась, розовея и ожидая и глядя; он растроганно начал:

— Вы... скажите, что мне делать; я хочу нечто сделать... для вас.

— Но что же? — подняв темные брови, улыбаясь, до-

бродушно спросила она, тепло и покорно глядя в его лицо; она была в шелковом серо-голубом спенсере и голубом свободном легком платье из тарлатана, неуловимо оттенявших именно нежность ее; он испытал восторг, нежность, как бы отцовскую теплоту и заботу и — грусть.

— Я сам придумаю; не хотите ли...

— Натали! — раздалось за его плечом.

Он оглянулся и тотчас нахмурился; к ним подходил хозяин дома князь Сангушко, с которым Лунин был шапошно знаком, но не любил иметь дела, как со всеми слишком родовитыми шляхтичами. Их спесь утомляла, а разговор был односторонен. Теперь же он был и совсем некстати.

Он приблизился: весь плотно-полный и в бакенбардах и с коком чуть набок.

— Наталья, ваша матушка тотчас же подойдет, — говорил он, сухо и мелко кланяясь Лунину и окидывая его с ног до головы церемонно-подозрительным взором. — А... вы знакомы? Вас представили панне Потоцкой, господин... Лунин?

Он знал фамилию, но нарочито запнулся; Лунин уже был в бешенстве, но, собственно, это было не столько бешенство, сколько радость — юный задор и некая свежая, сочная удаля, рвавшаяся наружу вблизи голубой, милой «панн».

— Вы же и представили, — нагло смеясь, сказал Лунин, обращая на Потоцкую свой счастливый, влюбленный взор.

Она, тотчас же подыгрывая, с готовностью, любовью и робостью засмеялась, видя одного Лунина и не видя князя.

Нет умного и живого мужчины, который не заметил бы этого; но спесь, неожиданность, раздражение мешали князю понять положение, как оно есть.

— Наталья — особа королевской крови, — пышно сказал князь. — Шутки здесь неуместны.

— Я не шучу, — уже «в рассеянности» отвечал Луния, глядя на девушку и произвольно-картинно скрещивая

руки на груди: присутствие князя как бы вынуждало к этой позе.

— Милостивый государь, извольте разговаривать вежливо, вы в моем доме, — слегка повысил голос князь, но так, чтобы вокруг не услышали.

— Я вежлив; да вы хотите ссоры, что ли? — холодно и при этом слегка торопясь, повернулся к нему Лунин; никогда он так не хотел ссоры, как ныне.

— Кто вы такой, чтобы мне, Сангушке, рубиться, стреляться с вами? я прикажу моим слугам выкинуть вас вон, только и всего, — говорил князь, от волнения вставляя во французскую тираду польские «пшь».

— Извольте попробовать; шпагу я оставил при входе, да справлюсь и так, — «спокойно» сказал Лунин, отлично видя, что чопорный Сангушко весьма боится скандала, и невеликодушно играя на этом.

Но тут счастливая мысль пришла в голову князя; он тихо сказал:

— Вы пользуетесь, что русский офицер, что вы приближены к цесаревичу; конечно, в доме побежденного можно позволить себе бесчинства.

Лунин тряхнул головой, будто очнулся; он посмотрел на юную Потоцкую — она смотрела робко и тихо, ожидая чего-то; он оглянулся — два-три человека явно слышали сказанное — и с интересом наблюдали искоса.

Сангушко, сказав свои рискованные слова, посматривал и на него, и на них как-то настороженно.

Лунин понимал: от него ждут ответа — и не находил его.

— Это единственные слова, которые могут заставить русского офицера отступить без боя, — наконец медлительно сказал он — и, медленно поклонившись испуганной панне, грохнул шпорами и не спеша пошел из залы.

О, панна.

Сангушко холодно взглянул вслед: ушел — и прекрасно.

* * *

*

Они скакали по лесной дороге, сдерживая коней; справа за дубами мелькала довольно широкая серо-желтая Висла, слева стоял молодой осинник — мелкие листья, зеленые стволы; белели одинокие березы.

— И зачем нам этот глухарь? — спросил невысокий рыжеусый Ворцель.

— Да, олень или вепрь были бы интересней, — как бы торжественно отвечал Крыматовский; такова была его манера.

Лунин и Яблоновский, ехавшие сзади, с улыбкой переглянулись; они знали, что Крыматовский смел, но хвастлив, а Ворцель вообще не велик охотник.

— Вскоре поедем в Оборы, к Потулицкому, там будет истинная охота, — сказал Яблоновский.

— Не слишком ли нас много на глухаря? да и кто его видел? — спросил Лунин, все сдерживая коня; он повел плечом — мешал ментик, досаден мех — как дамская капвейка; да, он чуть ли не с малолетства привык к гусарству, но не привык к гусарской одежде. Возраст? Дух противоречия? он знал, что ныне Александр запретил офицерам даже «в свободное от службы время» являться в «статской» одежде; так, может, именно запрет «играет ролю», что ментик стесняет. Зачем в лесу, на охоте?

Лунин отшнуровал лихую накидку и остался в одном долмане; ментик он кинул перед собой на гриву.

— То ли еще будет, когда те двое подъедут, — смеясь, не сразу ответил молодой, светлый, с умным лицом Яблоновский.

— Однако же вскоре надобно спешиться, говорят, они в той роще, — сказал через плечо Ворцель.

— Кто сказал?

— Да Беляев; он говорил, как через луг откроется рощица, так стой. Там видели глухарей.

— Стало, Беляев и этот, второй, подполковник, как его? — уж там; их дорога короче. Они уж вошли с того края.

— Неприятель окружен, но бой будет жаркий, — усмехнулся Лунин; им было неловко, что охота их не совсем удалая.

— Однако же поспешим, господа, а то совсем опоздаем, — сказал деловитый Ворцель.

— Да куда спешить? — отвечал крупный темноволосый Крыматовский таким тоном, будто он говорил о введении в дело пушек в виду приближающейся вражеской кавалерии. Как бы лихой капитан, ожидающий, когда те подскочут вплотную, и сдерживающий нетерпеливых товарищей.

— Лунин, потеряете ментик, — сказал Яблоновский, поглядев на соседа.

— Нет.

— Сейчас проедем по лугу — и в рощу. Там, на опушке, тотчас оставим коней, — повысил голос Яблоновский, чтоб слышали впереди едущие.

— Да, да.

Они выскочили на луг — и открылась вся Висла, задумчивая и серо-желтая, в камышах и осоке на том берегу; и на горе над водой возвышался замок-дворец среди парка — розовый, белый, в башнях, колоннах и поздних портиках; кругом торчали малиновыми, желтыми, синими крышами дома не столь знатного происхождения.

— Удивительно! Глухари — почти в самой Варшаве! — сказал Яблоновский, поглядывая через реку вверх.

— А чей замок? — спросил Лунин.

— Как? вы не знаете? — покосился Яблоновский со странной улыбкой; Лунин тотчас же догадался и не удивился тому, что приятель знает «тайну»; всякая истинная «причина», пусть тщательно скрываемая, становится известна.

Лунин на миг приостановил коня, будто запоминая, посмотрел на дворец; прищипнул.

Он, Яблоновский молча миновали луг; впереди тоже молчали.

День был серый, трава на лугу зеленела как бы ядовито и сочно; рощица приближалась, влево в прогалину открылась чистая деревенька и дальний холмистый простор.

— Польша, Варшава, Ржечь Посполита,— сказал Лунин, глядя налево, направо, вперед; нарочно произнося последнее чисто по-здешнему.

— Да,— твердо сказал Яблоновский, одним этим словом как бы и начиная и оканчивая разговор, который просился на язык после слов Лунина... Не время.

Лунин смолчал.

— Однако мы дали круг,— тихо и торжественно сказал Крыматовский, слезая с лошади и привязывая ее к черному, тонкому, но даже на вид крепкому стволу молодого дуба.— Этот мост...

— Да, если б мост был здесь, мы попали бы к месту куда быстрее,— сказал Ворцель.

— Полноте, ежели б тут был мост, были бы тут глухари, вот вопрос,—с своей особенной легкостью спрыгивая с седла, возразил Лунин.

— Да, все предместье хлынуло бы сюда,— засмеялся Яблоновский.

— Однако тише, достаньте ружья,— сказал Крыматовский.

Все стали вытаскивать из седел ружья, а Лунин спросил:

— Что ж? Так и будем палить по одному глухарю?

— Лунин, не разрушайте нам поэзию охоты,— ворчливо и почти шепотом сказал Крыматовский.

Все засмеялись тихо; но оттого, что смеяться было нельзя, смех, как водится, забирал все сильнее, и трое здо-

ровых и молодых мужчин продолжали смеяться, глядя на возмущенного и важного Крыматовского.

— Господа, но мы на охоте или нет? — спросил он. — Кроме того, те двое вот-вот начнут стрелять, а мы медлим, — говорил Крыматовский. — То сами торопили, теперь спите.

— Шестеро верзил откроют пальбу по глухарю, — перестав смеяться, тихо сказал Лунин, но эти его слова вызвали новый взрыв сдавленного смеха у Ворцеля, Яблоновского: они вдруг представили всю картину: глухарь, ни о чем не ведая, сидит, что-то клюет; и вдруг его окружили шестеро и с пресерьезным видом целятся — бах, бах...

— И он улетает, — как бы dokonчил Лунин молча воображаемое.

— Нет, господа, решительно так нельзя охотиться, — сказал Крыматовский, и тихий, рыжеватый Ворцель, а за ним Яблоновский с Луниным так и покатались со смеху.

— Довольно смеяться.

— Все, все, — сказал Лунин, переставая смеяться.

— Объясняю охоту на глухаря, — не поддаваясь их нараставшему легкомыслию, сказал Крыматовский. — Вы идете с ружьем, и если глухарь поет, то есть издает некий клекот, сипение, шорох, идите спокойно; но только замолчит, немедленно встаньте, замрите, хотя бы это было вот в таком положении.

Его громоздкое, как бы серьезное тело самым уморительным способом изобразило человека, застывшего на одной ноге, подняв другую назад и вверх и опустив голову чуть не до земли; лицо налилось кровью, на нем остановилось напряженное и хмурое выражение.

— Хорошо, идем, — сказал Лунин. — А то как бы сами не померли от натуги, не сходя...

Бах! Бах! — раздалось в лесу.

— А что я говорил? — злорадно-торжественно сказал Крыматовский.

Все были несколько смущены: и верно, стоило ехать, чтобы...

Бах! — ударило в третий раз.

Вдруг из лесу с квохтанием выпорхнули три-четыре небольшие буро-пестрые птицы — и заматались, не решаясь вылететь на луг и в то же время не желая сесть на деревья вблизи людей.

Лунин мгновенным и машинальным движением вскинул ружье — бах! — одна закувыркалась, цепляясь по веткам, другие взмыли и полетели через луг в тот лес, который они проехали.

— Bravo, Лунин, — сказал Яблоновский, глядя вверх сквозь дым.

— Но это рябчики; а где же глухарь? Что за басни? Глухари, кстати, любят глухие места, на то и название, — сказал Лунин.

— Вы не можете себя упрекнуть: попасть в летящего рябчика несравненно труднее, чем в огромного и сидячего глухаря, — в прежней пышной манере говорил Крыматовский. — Вот ежели б мы еще не промедлили.

Тем временем из лесу показались два русских офицера, один в уланской, другой в гусарской гвардейской форме; они несли за ноги... по два-три рябчика.

— Где же глухарь? — улыбаясь, проговорил Яблоновский.

— Глухаря не было. А вы не нашли? — спросил черный с красной грудью уланский подполковник.

— Как и вы, как и вы, — со смехом отвечал безмятежный Ворцель.

— Кто стрелял?

— Лунин; вон, сбил рябчика, надобно взять, — сказал, отходя, Крыматовский.

— Где же, однако, глухарь?

— Да кто первый сказал? вы, Беляев?

— Нет, кажется, не я; мне сказал... Ворцель?

— Быть может; но мне сказал... уж не помню кто, — смеялся Ворцель.

Несмотря на отсутствие глухаря, а может быть поэтому, охота явно удавалась; все постепенно входили в то благодушное настроение, которое иногда овладевает людьми, печаянно сошедшимися среди природы, мало знакомыми между собой, но именно от этого особенно приятными, одобрительными, ласковыми друг к другу. Немалую роль тут играла неожиданная смешливость Ворцеля, добродушие Лунина и, по сути, безобидная важность Крыматовского. Последняя особенно была кстати, ибо в такого рода компании необходим предмет для шуток.

— Нечего делать, разложим костер и съедем добычу, — говорил, возвращаясь, Крыматовский, и все — прислонившись к стволам или просто стоя в свободных, ленивых позах — улыбались его серьезности. — Мы назначим рябчика глухарем. Когда я в Оборах ходил на вебрь...

— Вебрь оказался козой, — добродушно, но веским тоном договорил Лунин; вокруг злорадно захохотали.

— Нет, домашним поросенком, принадлежащим прекрасной оборской мельничихе, — говорил Ворцель, как бывает, развивая в одну сторону понравившуюся смешную мысль.

— У Потулицкого есть мельница? — спросил Яблоновский.

— Нет, но все равно.

— Была бы мельничиха, — сказал Лунин; и опять зашевелился.

— Лунин, вы так и ехали без ментика? — спросил доселе молчавший, ясно стеснительный гусарский поручик.

— Ну да, — сказал Лунин.

— Вы правы; на охоте мешает, — сказал молодой человек и умолк.

Все помолчали, ожидая, что же он еще скажет; но он ничего не сказал.

— Ох, Лунин, право, вызвать бы вас на дуэль, а я тут охочусь,— посмеиваясь, говорил уланский подполковник, присаживаясь на корточки и ощипывая птицу.

— Можно теперь, хотя не знаю, за что. Вон и секунданты,— отвечал Лунин, оглядывая место.— Дробью... Впрочем, придется идти за хворостом...

— Как не знаете? а «с коня — на конь»? честь полка!

— Ах, это! — смеясь и отыскивая взглядом свои сумы, говорил Лунин.— Ну, это еще не велика честь. А что ротмистр? не тронули его?

— Нет.

— Пойду, однако, за хворостом, так нам не справиться; я надеюсь, ром не забыли?

— Господа, где ром?

— Вот что значит — ездить без слуг!

— Ну, какие же мы болваны.

— Да вот он.

— Так как же вебрь? Крыматовский?

— Ну вас.

— Он пойдет на волка. Там, у Стара Мяста, сплошные волки.

— Ха-ха.

— Нет, верно, господа, я нахожу, что в середине Варшавы слишком много развелось волков.

— Смотрите, Ворцель, метафоры не доведут вас до добра.

— Нам следовало настрелять воробьев на кровлях Святого Яна и зажарить. Зачем было ехать? — попробовал включиться в общий тон Крыматовский.

— Крыматовский, ваши шутки таковы, как ваши бабетные таланты,— сказал Яблоновский, тоже присев и ощипывая рябчика.

Уходящий Лунин и Ворцель засмеялись.

— Что? что такое? — спросили поручик и подполковник.

— Тут Крыматовский изображал, как следует охотить-

ся на глухаря, — говорил Лунин, все никак не могущий уйти за хворостом: отошедший и снова вернувшийся на разговор.

— Как же?

— Вот.

Лунин, пародируя, встал на одну ногу и задрал вторую; шпора смешно отставилась вверх, при этом Лунин сделал сразу два жеста — одной и другой рукой.

Все хохотали, а Лунин уже как ни в чем не бывало шел своей грациозной, развязной походкой, окончательно удаляясь в лес.

* * *

*

Вскоре хорошо затрещал костер. Свежо, бодро запахло жареной дичью, из сияющей фляжки полилась искрометная темная влага, Беляев занялся жженкой, Лунин строгал кинжалом дубовые вертелы, молчаливый поручик, стоя на коленях и согнувшись, дул в глубь костра, а оттуда плоско и вкрадчиво стелился желто-зеленый дым и сверкали ножи пламени; Яблоновский разливал чистый ром и пунш по маленьким стаканам с очень толстыми, белыми на изломах граней, крепкими стенками — приятно смотреть; прочие, во главе с Крыматовским, поджаривали бедных рябчиков.

Было по-прежнему серо, трава была ярка, дальние дали — мутны и сине-зелены; в воздухе была сырость, отдавало водой и дымом, в двадцати шагах изредка негромко, спокойно храпели привязанные кони.

— Лунин, еще вертел.

— Извольте.

— Кончаем; сейчас приступим к трапезе.

— Спешите, а то эти остынут. Ах, прекрасный вид; слюнки текут. Как жир запекся.

— Не растрavляйте: голоден. С утра.

— Что же так?

— Опаздывал. Нынче Польша не та; раньше можно было совсем не ходить в присутствие.

Все поляки (в том числе любивший подчеркивать свою военность Крыматовский) были одеты в местные охотничьи одежды — куртки с шитьем, узкие панталоны, короткие сапоги поверх штрипок; трудно было видеть, кто военный, кто «статский», а ведь некоторые в этой компании были, по сути, действительно мало знакомы между собой.

— Так вы по гражданской части? уж не по иностранной ли?

— Верно, ранее не ходили...

— Но когда? Все при том же Александре...

— Да, но в восемнадцатом году он был благосклонней к «царству Польскому»...

— Герцогству.

— Разве? по-моему, это вы ошибаетесь; впрочем, не все ли едино. «Конгрессовка»...

— Он и теперь вас жалует более, чем своих соотечественников,— важно сказал уланский подполковник, развлясь на мундире, положенном подкладкой вниз, у костра и заложив ладонь за борт белой сорочки. У него был вид раненого воина, отдыхающего после битвы. Рука словно бы на привязи.

— Получайте, господин улан; вы ближайший,— церемонно сказал Крыматовский.

— Зачем же я? сперва накормите голодных,— неловко пошутил подполковник.

Яблоновский и Ворцель натянуто улыбались.

— Я пошутил, господа; я всем сердцем уважаю великую Польшу и никого не хотел обидеть,— миролюбиво сказал улан, лежа в том же положении.

— Вы как усталый победитель после битвы,— на миг сощурился на него глаза, сказал умный, улыбчивый Яблоновский, беря свою птицу на палочке и нюхая.— Ах! восхитительно.

— У всех ли дичь? Лунин?

— Есть.

— Возьмите свои бокалы, прошу вас.

— Ну, ну, бокалы.

— Ныне это — бокалы.

— Крыматовский, меньше речей. Здесь не сейм.

— Об этом-то я хотел сказать; господа, я думаю, наши русские друзья не обидятся, если я подниму здоровье великой Польши — Польши, которая жива, несмотря на разделы, несмотря на постыдный сон магнатов, несмотря на лживый сейм, на молчание народа, забывшего славу шляхты и честь Речи Посполитой; я верю, наш воин, как феникс, восстанет из пепла, я верю, он снова возьмет в свои сильные руки хоругви священной церкви; я верю, что сотня доблестных витязей сильнее быдлова стада; я верю, что русская свобода поможет свободе польской, что жестокий двуглавый орел, ненавистный вам, нам...

— Однако же, господа, я довольно слушал, — сказал, привставая, улан. — Извините, господа, но русскому офицеру слушать такие речи совсем не прилично; я думал, наш оратор поймет со временем всю неучтивость своего поведения, однако он продолжает и продолжает; я не смогу так пить, — добавил он, отвернувшись от костра и от всех.

Повисло молчание; но тут же подполковник вновь неловко повернулся — и договорил в смущении и как бы спеша не испортить о себе мнения:

— Я, господа, понимаю ваши мечты о свободе, я порядочный человек — я не... доносчик, не извольте беспокоиться... да о чем это я, о господи; я думаю, все понимают... Но позвольте мне иметь свои мнения, свои убеждения; я офицер, и мне не пристало слушать такие речи, только и всего.

Крыматовский и Яблоновский обменялись взглядами; «Экая непростительная оплошность!» — сказал взгляд Яблоновского; «Но я думал, здесь все свои! это само собой

разумелось! кто же позвал чужого?!» — сказал взгляд Крыматовского; «Охота есть охота, тут всякий может оказаться, а вы бы поосторожней, хотя, впрочем, жизнь сложней всех секретничаний», — сказал безразлично-усмешливый взор Лунина, в свою очередь обращенный попеременно на Яблоновского и Крыматовского; но как человек, увидевший, что приятель уже сошел вниз с обрыва, не зовет его назад, а бросается ему на помощь, сам спрыгивая, — так вступил в строй Яблоновский.

— В чем же ваши убеждения? что земные порядки хороши и неизблемы?

— Но позвольте, господа; ах, вы все спутали, — волновался русский улан. — Господа, ну что же вы молчите? — мимоходом, слегка разведя руками (мол, вот, я один имел глупость встрять, один и выпутываюсь), обратился он к Лунину, молодому поручику; но первый, лежа на боку и подперев щеку грациозно растопыренными пальцами в перстнях, отсутствующим взглядом смотрел от костра вдаль и — пока шел спор — потягивал ром с таким видом, будто это было слишком пресное пиво; второй же покраснел и, по-девичьи сидя (сведенные ноги в сторону) у самого костра, смотрел в землю, сжимая неподвижный стакан.

— Давайте разберем, господа, — говорил улан, видя, что ему все-таки одному выпутываться. — Вы говорите, народ; согласен. Да ведь и у нас народ.

— Да почему же царь имеет право предписывать другому народу?

— И в чем же величие империи? уж не в невежестве ли и неряшестве? — одновременно спросили Яблоновский и Крыматовский; Яблоновский в досаде покосился на пышного соседа: его ответный вопрос был так же глуп, как и ответ улана. Во взгляде было: не лезь, когда есть крепче тебя.

— Но позвольте, позвольте, господа; а самозванец? Разве это пустое?

— Тогда поляки были неправы,— холодно сказал Яблоновский.

— То-то; а наши только мстили за то, что...

— Мы далеко пойдем, коли веками будем мстить друг другу; а я-то думал, что русская свобода объединится с польской,— четко сказал Яблоновский; он молчаливо взял на себя ту роль, которая прежде принадлежала Крыматовскому,— говорить торжественно и «от имени». Только у него это выходило строго.

— Верно,— неохотно буркнул Лунин, все так же глядя вдаль.

— Я полагаю, Лунин, вы неправы,— засуетился улан, явно радуясь даже столь невинному нарушению нейтралитета.— Это всё слова — свобода, свобода; то есть, господа, вы не подумайте, что я ретроград,— сбился он, испытывая тяготы человека, все более и более ощущающего, что оказался среди чужих, но желающего поправить дело.— Я вполне разделяю новейшие либеральные (он споткнулся на модном слове) идеи; но я говорю только, что Россия и Польша должны идти вместе... ведь и вы говорите то же самое? — с надеждой обратился он к Яблоновскому.

— Но прежде надо дать народам право решать,— холодно сказал Яблоновский, как многие волевые люди не давая ни малейшей потачки суетящемуся противнику.

— Вы по видимости правы, но вряд ли правы по существу дела,— горячился подполковник.— Польше дарованы закон, парламент.

— Уж эти закон, парламент,— улыбнулся «спокойный» Яблоновский.— Одно слово «дарованы» отобьет охоту.

— Ну, пусть, ну, не будем об этом; но... о чем я?..

— Но...— тут же страстно встряли Крыматовский и доселе молчавший Ворцель.

— Позвольте! позвольте, господа! Дайте, дайте досказать! Не сбивайте меня, ради бога! — загородился ладонями подполковник.

Те досадливо потупились и умолкли; улан продолжал:
— Я хотел сказать, что у русского народа есть свои достоинства — не те, которые *вы* цените в людях; он живет не рассудком, а чувством, он верует в свою святую православную церковь именно оттого, что она вся народна и полна тепла, чувства — не то, что католицизм.

Поляки дружно всплеснули руками, хлопнули по коленям, зашептали, загомонили.

— Позвольте! позвольте, господа! — продолжал свое подполковник. — Потом *вы* скажете.

— Опять мы потом, — зло прошептал Крыматовский, как и Лунин, холодно отворачиваясь вдаль.

— Однако же я закончу, а после вы как хотите.

— Даже не пили, а такой спор, — проворчал Лунин.

— Вы-то пили, — тонко ведя линию, в нужный момент показывая свое шляхетское невнимание к словам вульгарного подполковника, свою власть над спором, заметил Яблоновский.

Лунин с одобрением искоса взглянул на него.

— Нет, послушайте; русские священники — заметьте, они из народа, а не из привилегированных сословий; далее, русские добродушны и терпеливы...

— О! Всегда добродушны?

— Нет, я не о том, господа; дайте досказать, а там судите, как знаете. Дело в том, что наш народ искони, сизмальства уважает государственность, блюдет авторитет старших; целостность государства для него — первая забота. Отсюда он терпелив, не доверяет рассудку, высоко ставит принцип власти, послушен...

— И до сих пор остается в рабстве. Польша с ее древним правом *liberum veto* *...

— Погубившим ее! — вставил улан.

— Боже мой, да остановитесь же, господа, — чуть не плача, сказал гусарский поручик.

* — свободный запрет (*лат.*).

Все притихли и — кроме яростных Крыматовского и улана — невольно улыгнулись.

— Я так полагаю, господа, — робко-петушисто заговорил мальчик, ободренный внезапным успехом, — что мы должны склониться перед Англией — ее мощью, цивилизацией. Взгляните на Россию — она бедна и невежественна; взгляните на Польшу — она несчастна и самолюбива; между тем...

Он вдруг сбился и огляделся.

Все считали долгом улыбаться — сам вид его был таков, что нельзя иначе; Лунин, заметив его смущение и устраняя неловкость от снова повисшего молчания, благодушно проговорил:

— Послушайте голос юных. Это — споры завтрашнего дня.

— Но вы-то, Лунин, могли принять участие и в сегодняшних, — со значением сказал Яблоновский, как бы приглашая Лунина наконец бросить валять дурака и объясниться с мужчинами мужественно. — Тут прозвучал голос русского народа; что вы-то скажете?

— Это голос не русского народа, а татаромонголов, — лениво отвечал Лунин. — Ныне они выдают себя за русских.

Вокруг нехотя улыгнулись, покосились на улана, — у него действительно было несколько монголоидное лицо.

— Но вы-то что скажете? — не давая сбиться на шутку, с еще большим напором спросил Яблоновский.

Присутствующие молчали; Лунин подумал.

— Я скажу, что первое, вы неосторожны; если у вас действительно серьезные цели, то не следует легкомысленно заводить столь важные разговоры в обширном обществе.

— Вы правы, — быстро кивая, заговорил Яблоновский: он рад был, что сбил Лунина в колею, что начальные же слова его в этой колее — дельны. — Но кто мог знать?

— Как вас понять, Луний: мне вызвать вас? — помрачнев, впервые как следует обиженный, молвил улан. — Я русский, а не татарин; и это подозрение.

— Я прекрасно отношусь к татарам; у меня в Саратовской губернии есть второе имение, там рядом и башкирцы, и татары, и все мы дружны; что же касается подозрений, то согласитесь, подполковник, что, если бы я считал вас шпионом, я просто не стал бы говорить с вами, — напротив, я вас уважаю и верю вам; за всем тем, если вам угодно променять пару пуль, то извольте. Вы, я вижу, нынче рветесь в бой, — дружелюбно отвечал Луний.

Все помолчали тягостно.

— Поймите, Луний, что теперь я *должен* с вами биться, хотя и не хочу этого, особенно в присутствии этих господ, — подавленно сказал улан. — Вечно мы, русские, деремся между собою.

— Отчего же нет? — улыбаясь, отвечал Луний. — Пусть видят, что мы храбры... хотя и рабы, — лишь слегка выделил он голосом эти последние слова. — Нет ли пистолетов?

— Господа, я решительно против дуэли, — резко сказал Яблоновский. — Вы слышите, Луний? я против; дуэли не будет.

— Ну, раз так, так и будет, — сказал Луний, нарочито «разнеженно» поднимаясь. — Да нет ли пистолетов?

— Луний, довольно школьничать, мы не для того здесь; мы знаем все легенды о вас и вовсе не требуем подтверждений. Если угодно, ваша дуэль — это как раз трусость, нежелание ответить на прямой вопрос, — твердо сказал Яблоновский, глядя снизу на уже стоящего Лунина и не меняя своей свободной позы.

Луний мгновение как бы неловко смотрел на него, потом сказал:

— Что же, со всеми с вами драться по очереди?

— Нет, я не буду драться, — так же твердо отвечал Яблоновский. — Пусть, если угодно, пострадает моя шляхет-

ская гордость, но я не для того здесь; дело мое важнее. Гордость моя ныне — в ином.

— Не будете, и не нужно,— отвечал Лунин.— А вот мы с уланом — два подполковника — разомнем мышцы. Верно?

— Верно,— пожав плечами, хмуро сказал улан.

— Не может быть, чтобы не было пистолетов! — сказал Лунин.

Кругом молчали, глядя на них, вставших; Яблоновский смотрел в молчаливом неодобрении, тотчас по-мужски поняв, что Лунин уж будет делать наперекор, и прекратив уговоры.

— Пистолеты найдутся,— наконец угрюмо сказал Крыматовский; он тоже явно не одобрял всего этого.

Кроме всего, было в этой сцене нечто неуловимо неудобное для поляков, особенно для Крыматовского; казалось бы, русские дрались между собой, давали спектакль — чего же боле; но нет. Впечатление дополнялось тем, что те были в военном, эти — в охотничьем, но «статском».

— Давайте,— говорил Лунин, снимая долман.— Кому угодно быть секундантами?

Пожав плечами, поднялись Ворцель и Крыматовский; последний сходил к своей лошади, порывлся в неснятых сулах, вернулся с ящиком.

— Заряжены,— сказал Лунин, слегка оттягивая курок и затем небрежно заглядывая в дуло.

— Конечно.

— Я знал, вы предусмотрительны.

Все смолчали.

— Господа, я прошу права стрелять первым, к чему глупые жребии,— смеясь, говорил Лунин, отходя, стоя в белой ажурной сорочке, плотных рейтузах, в синем кушаке и блестящих ботфортах, стройный, мужественный и наглый.— Подполковник, вы не будете в обиде? — добавил он, неучтиво-грубо поднимая пистолет прямо вверх.

Подполковник смотрел с угрюмым неодобрением; он помедлил у запущенного костра и сказал:

— Извольте все-таки бросить жребий.

— Ну, будем от барьера, под быстроту,— примирительно сказал Лунин, улыбаясь улану.— Двенадцать?

— Пускай.

Крыматовский вытащил из костра две рогатые ветки, на глаз кинул их как барьеры; Лунин отмерил от своего назад:

— Пять? Хватит?

— Хватит,— буднично сказал подполковник; отмерил и встал, повернувшись к Лунину.

— Как, однако, ваша фамилия? чтобы хоть знать,— спросил Лунин.— Служа в уланах, я не знал вас; может быть, вы не были в Вильне?

— Фамилия моя вам ничего не скажет, я скромный офицер, честной службой получивший свой чин,— с досадой отвечал подполковник.— Я не принадлежу к высшему свету, к вашему кругу.

Лунин молчал мгновение.

— Все-таки?

— Моя фамилия Муравьев.

— Ах-ха-ха! — картинно захохотал Лунин, все держа пистолет дулом вверх.

— Не вижу причины для смеха,— сказал подполковник; все вдруг заметили, что он уж не молод. Его уланские усы висели как бы пасмурно.

— Вы не так поняли, подполковник,— оправдываясь, заговорил Лунин.— Дело в том, что фамилия ваша знаменита, а будет еще знаменитее; я вам предсказываю.

— Моя фамилия ничем не знаменита. Я не из тех Муравьевых, я бедный русский дворянин, и даже эта дуэль с вами — честь для меня,— сказал улан, и эти слова прозвучали бы торжественно, если бы не простота его тона.— В уланах много таких, как я. Стреляйте.

— Вы имеете полную возможность отомстить мне, — с интересом глядя на подполковника, сказал Лунин. — Впрочем, простите; я, кажется, опять оскорбляю вас, — серьезно-дружелюбно улыбнулся он.

— Ничего, — так же просто отвечал подполковник.

— Однако сойдемся, — сказал Лунин.

— Да.

— Господа, вы забыли о секундантах, — обиженно сказал Крыматовский, беря свой прежний тон. — Это наше дело — командовать.

— Да, да, — подхватил рыжеватый, беспокойный Ворпель.

— Простите, господа, — сказал Лунин, быстро, как бы неожиданно собранно подошел к барьеру и без улыбки, мягко и четко глядя на подполковника, выстрелил «на воздух»; почти одновременно раздался второй выстрел; ветер потянул дым в глубь луга, сквозь пелену скоро стали видны неподвижные фигуры двух мужчин в белом, стоящих друг против друга, подняв свои длинные пистолеты и будто ожидая чего-то. Улан стрелял вверх, хотя не позировал заведомо.

— Два подполковника, как два подпоручика, — первый сказал Яблоновский, невольно улыбаясь и вздыхая с облегчением; все вздыхали и улыбались.

— Теперь, господа, пошутили, и хватит.

— Вы по-прежнему требуете ответа на свой «прямой вопрос»? — оживленно говорил Лунин, возвращаясь к коustru и примирительно слегка ведя за плечи еще угрюмого, но уже скупно улыбающегося улана и подмигивая гусарскому поручику, глядящему на него, Лунина, с тайным «девическим» обожанием.

— Конечно, — спокойно подтвердил Яблоновский.

— Вы великолепны, друг мой; но согласитесь, что и подполковник недурен, даром что кичится своей бедностью, — улыбаясь, говорил Лунин.

— Не доводите до второй дуэли,— усмехнулся оттаявший Ворцель.

— Нет, зачем же; впрочем, ежели не Муравьев, но князь Яблоновский будет по-прежнему приставать, как педант, то иного способа...

— Как вам угодно, Луний; вы понимаете, что разговор есть разговор, а балаган есть балаган, и одно с другим мы путать не будем.

— Да зачем же путать? Я, со своей стороны, говорю, что почти согласен с вами; мало того, я почти согласен и с Крыматовским, только «сто витязей» против регулярных армий? Воля ваша, они не справятся. И зачем же неосторожность?

— Я думал, все свои! — ошетинился Крыматовский.

— Ну да, свои,— сказал Луний, наливая себе рому.— Я полагаю, сам спор — пустой.

Яблоновский слушал его напряженно и молча, Ворцель слегка кряхтел.

— А зачем же... — начал опять Крыматовский.

— Да разве я говорю, что он прав? — спросил Луний, залпом выпивая ром.— Пейте, господа; что-то вы... заговорились.

— И правда,— тонко улыбнулся Яблоновский, начиная отыскивать взглядом стакан на яркой траве.

— Эх, господа, посмотрю на вас, славные люди,— говорил Луний, уминая рябчика; кости трещали.— Жалко, хлеба нет. Соли мало... И вы, Крыматовский, и подполковник.

— Я, как представитель... — начал Крыматовский.

— Оставьте; кому вы говорите? ему, что ли? — он ткнул пальцем в улана.— Мне? Ему? (поручику). Им? — он показал на Ворцеля, Яблоновского.— Я полагаю, коли бы мир состоял из нас с вами, не было бы никаких битв.

— То-то! А сами как петух! — детски-пышно говорил Крыматовский.— И потом, взгляды господина уланского подполковника...

— Оставьте, какие взгляды,— сказал Лунин, грызя крыло.

— Ежели, конечно, господин улан не таит к нам ненависти,— начал Крыматовский.

— Какая ненависть,— махнул рукой сам улан; после дуэли он стал прост и задумчив.

— Поймите, господин... Муравьев,— вдруг сказал Крыматовский, и голос его был строг.— Народ наш достоин лучшего.

— Понимаю я,— снова махнул рукой Муравьев.— А Россия? вы думаете, Россия счастлива?

— Эх договорились,— самодовольно усмехнулся Лунин.— То-то, надо было начать с рома.

— Господин Муравьев, я вижу, вы искренни; позвольте мне обнять вас,— снова не без скрытой пышности сказал Крыматовский.

— Конечно, конечно,— заторопился улан; они привстали навстречу друг другу и обнялись.

Они вновь расселись; улан остался задумчив.

— Лунин, вы, однако же, вновь искусно ушли от вопроса,— тихо сказал Яблоновский.— Надобно выяснить первое, главное: поможет ли ваша свобода нашей; поможет ли...

— Господа, не привести ли лошадей,— вдруг очнулся юный поручик от каких-то очередных своих мыслей, не дав Яблоновскому снова сказать заветное; тот умолк, рассердился было... но вдруг, поддаваясь общему настроению, устало махнул рукой — и усмехнулся на испуганно умолкшего юношу.

— Да, наши лошади так и привязаны с той стороны,— сказал улан-подполковник.— Беляев, подите, пожалуйста. Беляев встал.

Но в это время из-за деревьев показалась девушка в платье служанки; это было так неожиданно, что все, включая Лунина, застыли на миг.

Девушка, разумеется, испугалась; мало того, что она заметила офицеров, охотников, она наткнулась на лошада Лунина, привязанную в самом том месте, где «фея» явилась из-за поворота лесной и луговой тропы.

— Боже мой! — сказала она по-польски.

После замешательства Яблоновский с Луниным встали и подошли к девице; она закрывала лицо широким рукавом и смотрела круглыми глазами хмуро и настороженно.

— Не бойся, красавица, — по-польски ласково сказал Яблоновский. — Не хочешь ли отведать с нами? может, полюбишь кого, — добавил он, смеясь.

Их разделяло сырое место на тропинке; погода была влажна, сера и тревожна.

Ярко-ярко зеленела трава.

— Я горничная господ Потоцких, — сказала девушка. — Пропустите меня.

Те помолчали; она приспустила рукав и смотрела прямо.

Будто знала что-то.

Она была недурна и стройная, но ее вид отбивал у Яблоновского охоту к игре; он отступил в сторону с кислой миной.

— Что же ты делаешь на этом берегу? — столь же ласково, но учтиво спросил ее Лунин.

— Я ходила за травами для графини, матери; вон моя лодка, — сразу и просто, и строго объяснила молодая полячка. Лунин спросил на ее языке, она не обратила внимания на чужой акцент. — Пропустите меня; я горничная молодой госпожи.

Лунин помолчал.

— Отчего же для матери?

— Молодая панна Потоцкая весела и здорова, ей сем-

надцать лет; старшая не всегда здорова,— вновь просто и внятно сказала девушка.

— Весела?

— Это ее дело,— тут же ответила та.

Лунин помолчал снова; приятели с интересом наблюдали за ним.

— Ты славная девушка,— сказал Лунин.— Хочешь ли золотой?

— Ваша милость без мундира,— ясно и лишь слегка насмешливо сказала девица.

— Ого,— сказал Яблоновский, улыбаясь с довольным видом.

— Ты права,— примирительно сказал Лунин, улыбаясь и отступая в сторону лошади — опираясь локтем на гриву.

Девушка невольно помедлила, видя перед собою воду на тропке, справа — высокие влажные травы, слева — гущара с его конем.

Лунин неторопливо — будто для этого и было припасено — снял зелено-голубой ментик с гривы коня, одним грациозным, ленивым движением постелил под ноги полячке и отступил:

— Прошу, панна,— сказал он, слегка улыбаясь в усы и небрежно показывая рукой.

Та зарделась, одарила его гордой и благосклонной улыбкой и просто прошла по ментик с его мехом; она миновала костер под восхищенные возгласы поляков:

— Браво! — прошла к реке — и вскоре можно было видеть ее лодку, стремящуюся к холму замка. Гребец был мужчина; стало быть, слуга ждал под берегом. Лодка быстро, как бы торопливо удалялась.

— Я думал, неужто послали одну? — в рассеянности спросил поручик, глядя на реку.

— Нет... это Польша,— сказал Яблоновский, взглядом как бы прося извинения за свою пышность.

— Вот тебе глухарь, — торжественно сказал Крыма-
товский — и все опять засмеялись: как тону слов, так и на-
рочито-итоговому их смыслу для всей охоты.

* *
*

Из Петербурга приходили сентиментальные, но неглу-
пые послания сестрицы Екатерины Сергеевны, а также во-
сторженные письма Никиты о жене Александре (*chère
Alexandrine* *), о генерале князе Сергее Григорьевиче Вол-
конском и его необыкновенной Marie, воспетой Пушки-
ным, о маменьке Екатерине Федоровне, о братьях, о мо-
лодом кавалергарде Анненкове и его истинно романтиче-
ской любви; вперемежку — о делах тайного общества, о
козьяйстве, о деньгах.

Напрашивалась поездка в «северную столицу»; рано
или поздно было не миновать, и Луний решил не мед-
лить, хотя для сестры было не совсем удобно.

Как он знал, были и «сердечные» причины, из-за ко-
торых он покидал Варшаву; конечно, долго отсутствовать
не удастся — служба, служба, — но сменить впечатления,
произвести «диверсию» — повернуть душу, возможно, бу-
дет полезным.

Он знал и то, что успеха не будет; но считал необходи-
мым сделать попытку.

Зачем?

Зачем он «упорно бежал счастья»?

Он даже сносил насмешки товарищей — молчал, как
рыцарь Печального образа пред портретом своей Тобос-
ской; впрочем, насмешки были скромны — вокруг видели,
что дело красиво.

Разумеется, дева королевской крови — как будто не для

* — дорогая Александрина (*фр.*).

него; так что как будто есть истинная, простая причина, отчего надо быть «подале» от дома Потоцкой.

Но мать, та самая графиня, любезна, доброжелательна — шлет послания, зовет «в вечера»; но дочь... он помнит ее сияющий, верный взор; но он богат и красив, он смел, он любим Константином; он — Лунин, человек без страха в душе; он — революционер? карбонарий? Риего? Он «заговорщик»? Но не заметно ли, что заговоры ныне — пустое; что юные и уж не совсем юные братья, друзья его не годятся ни в Робеспьеры, ни в Бонапарты; что...

Но умолкало сердце, и гасли слова; и только знало оно — нет; нет.

Он выехал в Петербург, почти не сказавшись; только договорился со штаб-офицером, что будет командировка.

Он спал и читал всю дорогу... и видел, видел одну Наталью Потоцкую — далекую, идеальную; и воспрянул сердцем, лишь повернув на Фонтанку и видя знакомый дом.

— Мишель! О, брат! О, милый! *Как* возмужал! Но позволь: ты совершенный боец, красавец! — кричал двоюродный брат.

— Подумаешь, под Бородином был не я, а мой дядя, — растроганно улыбаясь, говорил Лунин, обнимая его. — Но ведь *меня*, друг, брат мой, не так много, как Муравьевых; я ведь один, один.

— Ах ты старый киник! Знаем! — сиял, грозил Никита; меж тем они шли по комнатам к Катерине Федоровне («Мишель! Все тот же добрый Нарцисс, только еще красивей!» — «Ха! Позвольте»), к молодому, в модном *pince-nez*, приветливому и стройному Анненкову, который как бы случайно попался по дороге, к знакомым и охающим служанкам, лакеям; к Alexandrine.

— Родная моя, позволь представить...

— Но полно, полно, — по-русски сказала жена Никиты, розовея простым, красивым, российского склада лицом и быстро, смущаясь и не скрывая этого, идя навстречу —

как бы торопясь миновать тот барьер формального незнакомства, который делил их доселе. — Я вам рада, Мишель; надо ли говорить, что ваше имя, что легенды о вас тут всякий день на устах; ну, я думаю, вы сами утомились от этих легенд; я так надеюсь, что мы станем друзьями... Никита любит вас, — быстро и слегка приседая при поцелуе руки, волнуясь, говорила Alexandrine; «какие родные, свои», — думал Лунин.

И впервые особая, как бы пустая тревога мелькнула в его душе: будто тень вдалеке; что это?

Он тотчас же понял истину связи тревоги со своим знанием, со своей судьбой, со своим поведением этих дней; но мелькнула — и тут же сгинула тень; да, было не до нее.

— Я счастлив, сударыня, — добродушно, радостно улыбаясь, молвил Лунин, глядя на славную Alexandrine.

— Ах, полноте! — как-то даже испугалась, засуетилась она. — Зачем? зачем эти слова? Зачем «счастлив»? Мишель?!

— Родная, дай ему опомниться, — счастливо говорил Никита, стоя рядом и глядя на нее.

Лунин смеялся, растроганный и довольный.

«Я дома. Вот — дом», — думал он.

«Впрочем...»

* *
*

— Как ваша прямая раба, ваша сестра? Ее муж?

— Они в отъезде, в Москве.

— Да где там снова Анненков? — воскликнул Никита. — Вот странный! Рассеянный! Верно, у маменьки. Пождем его; будем вместе пить чай. Ваши Захарьевы казармы * мучают его. Он добрый малый.

— Может, он задержался около горничных? — засме-

* Захарьевские казармы кавалергардского полка.

ялся Лунин, тоном удаляя грубость и к тому же несколько кланяясь Муравьевой.

— Нет, что вы,— мигом таинственно посерьезнела Alexandrine, даже не замечая его ужимок.— Бедный Иван Александрыч, он так... у-у-у... да разве Никита не писал к вам? у него такая любовь, такое...

— Да, очень романтически, но не весело,— посерьезнел Никита, не в силах, однако же, конечно, скрыть собственного своего сияния при виде Alexandrine и Мишеля.

— Однако же, милый, ты должен видеть нашу вторую,— продолжал Никита, приняв деловую мину.— Ты знаешь, мы опасаемся насчет веса; как ты думаешь, лишние восемь фунтов...

— Лишние? — захохотал Лунин.

— Да!

— Ну, благо что нет недостачи.

— Ты смеешься, родной; но видишь ли, ты не понимаешь...

— Оставь Мишеля,— смеясь, открыто глядя на Лунина, говорила Alexandrine.— Ему, такому бравому, совершенно неинтересно.

— Отчего же, я... я,— несколько принужденно улыбаясь Лунин; мысль о младенце действительно отчасти страшила его. Он боялся не самого младенца, а того, что придется расточать неумеренные восторги.

Муравьева звонко захохотала.

— Мишель, вы уморительны; пойдемте, взгляните, но верьте, верьте, вы вовсе не обязаны...

— От вас, Александра Григорьевна, не скроешься,— пробормотал Лунин; на миг он почувствовал себя стыдливым и молодым перед более молодыми Муравьевыми; они поняли его.

Все балагурили, идя в детскую; на дороге снова попался Анненков — прихватили его с собой; при виде пухлого и напыженного младенца невольно засмеялись; Лу-

нин, весь в шнурах, бляхах и аксельбантах, не решился подойти слишком близко — не испугать бы.

— Ты сам не бойся! — серьезно сказал Никита.

— Идите, идите, пока молчит, — замахали руками старая нянька и Александра Григорьевна.

— Чай остыл, — сказал Анненков, проводя пальцем по несуществующим усам, которых ему хотелось; он был «вечный кавалергард», а по части ритуалов были строгости: в тяжелой кавалерии полагались баки, а не усы.

— Тебе, Иван Александрович, Аракчеев за одну подобную жестикуляцию даст полную гауптвахту, — сказал Никита.

Они опять засмеялись, а Лунин спросил:

— А что? злобствует?

Анненков и Никита комически-лукаво переглянулись.

— Живут там, с Константином и сеймом, как у Христа за пазухой, — посмеиваясь, молвил Никита, ведя гостей к столовой. — Вас бы... к Неве.

— А где ты был в наводнение? — спросил Лунин.

— Я разве не писал?

— Быть может; впрочем, потом переговорим, — с улыбкой промолвил Лунин.

— Как рад, — улыбаясь, чуть обнял Никита на ходу Лунина.

Молодой Анненков, сначала красиво сидя в свете у окна в своем белом мундире, вдруг переменил позу и явно стал беспокоиться.

— Что с вами? — спросил Лунин.

Alexandrine и Никита делали ему знаки, но было уж поздно.

— Нет, я так, — сказал Анненков, — и сидел еще минут десять как на ножах. — Дело в том... я скоро должен идти, — наконец, заминаясь, объяснил он.

Все помедлили; Никита как бы готовился — и наконец сказал:

— Иван Александрович... Жан, милый, теперь же зови ее сюда.

— Нет, нет,— быстро отвечал Анненков.— Спасибо, Никита; нет, об этом не может быть речи. Я пошел, господа; спасибо.

— Ну, что тут сделать? — развел руками Никита, глядя на Лунина.

— И так всякий раз,— подтвердила Alexandrine, которая, однако, была немного растерянна; взглянув на нее, Лунин понял, что Анненков был совершенно прав, не соглашаясь на великодушные Муравьева.

— Господа, но это же черт знает что, мы сами не уважаем своих убеждений; естественные законы,— принужденным голосом начал было Никита.

— Оставь, милый,— мягко коснулся его Мишель.— Иван Александрович, погодите; я с вами. Я виноват.

— Но как же,— начала Alexandrine, покраснела и вконец смешалась; ее доброе и простое лицо стало жалким... тут был тот случай, когда она не знала, что делать. Женщина есть женщина. Покраснела же она еще и потому, что поняла замысел Лунина; он ободрил ее улыбкой.

Никита, конечно, был менее понятлив.

— Как? Ты уходишь?! — возопил он.— Alexandrine, отчего ты молчишь; тамап! маменька! — закричал он по-русски и по-французски.— Что это такое? я не понимаю тебя, Мишель; ты только приехал... ну, Иван Александрович, у него важные дела; но ты?! да что я объясняю, что с тобой?

Жена его тронула за рукав, он бестолково смотрел на нее — и вот понял; он покраснел... кивнул...

— Возвращайтесь скорей, Мишель,— глядя в сторону, шепнула в дверях Муравьева.

Он, улыбаясь, кивнул.



Невдалеке от дома Муравьевых, напротив Голицыных, на набережной стояла закрытая коляска; рядом по тротуару нервно прохаживалась молодая дама в черном, в желтой пелерине. В руках у нее был сложенный зонтик, которым она иногда, как палкой, проводила по решетке парашета; раздавался несильный треск.

Она повернулась и настороженно и немного затравленно смотрела навстречу; она не знала, кто такой Лунин, и, «в ее положении», могла ждать всяких мелких обид. Она была светлой шатенкой или темной блондинкой.

Лунин, в накинутаой узкой шинели, подходя, смотрел на нее задумчиво и в некоем недоумении; у него было чувство, что он знаком с ней — знаком не по душе, не в воображении, а «реально»; он напряг память, но тотчас понял, что не вспомнит, и бросил думать.

— Дорогая Pauline, — скрыто-радостным голосом заговорил, кутаясь в накидку, Анненков, — позволь тебе представить моего товарища подполковника Михаила Сергеевича Лунина; он *сам* хотел тебя видеть, — по-детски добавил молодой Анненков, не чувствуя, что в этом добавлении такт слегка изменяет ему.

Pauline сначала взглянула на Лунина робко и благодарно — товарищ Жана, столь учтиво умеющий остановиться перед ней, заслуживал ее доброго чувства; при последних словах она вспыхнула, не взглянув на Анненкова; но Лунин перебил того, сказав свои слова так, будто он в эти мгновения обдумывал именно свои слова и не слушал, что там говорит ее милый Жан; Анненков, поняв свою оплошность, смутившись, умолк, а Лунин сказал:

— Сударыня, я пришел объявить, что это я один виноват в опоздании Жана; я приношу свои извинения, сообразовалите принять... Сударыня, — вдруг странно решившись, продолжал он, — позвольте мне на правах старшего

выразить вам одну вещь. Глядя на вас и на Жана, я вижу, что все устроится; поверьте, у меня наметанный глаз. Быть может, вы рассердитесь на мою дерзость, но поверьте, вы будете жить долго, почтенно и счастливо; а пока — терпите, мы, друзья Жана, чем умеем, вам будем способствовать. Вы достойны самой лучшей участи. Не могу ли я что-либо сделать для вас с Жаном?

— Благодарствуйте, — напряженно глотнула француженка. — Мне ничего не нужно; спасибо за добрые слова. Мне... так редко приходится слышать от... от...

Она волновалась, глотала; он подсказал спокойно:

— От друзей Жана. Ничего, сударыня, все устроится; вам нечего бояться. Я знаю вашу историю. Вы прекрасная жена, — говорил он, целиком веря своим словам, хотя не знал никакой «истории»; и она чувствовала все это — и особенно, он видел, ценила именно то, что он верит, не зная.

— Я вижу, вы будете счастливы и жить долго, — повторил он.

— Спасибо, — пеловко шепнула Полина Гебль, в смущении глядя в сторону и лишь время от времени настороженно-благодарно поглядывая на Лунина.

— Не познакомили ли нас когда-нибудь? — вдруг спросил он.

— Мне тоже сдается, я вас мельком видела, сударь; но где? — быстро спросила Pauline.

— Не могу представить, — медленно отвечал Лунин, вспоминая, как сон, странные ощущения: дым... судьба...

* * *

*

— Спасибо вам, друг мой, — усадив Полину и догнав Лунина, говорил Анненков. — Вы так помогли мне; Pauline так нервна, она женщина, она так переживает свое положение; спасибо вам за слова «сударыня» и «жена» — я

так боялся возможного вашего «мадемуазель», она теперь совершенно не выносит этого слова; и вы знаете... она сама отказалась венчаться... и все из-за моей матери, из-за моего имени; она, «простая девушка» (он сказал ее тоном), не хочет влиять на мою судьбу. Вы видели, *как* она «проста»: в ней более благородства, чем в светских дамах. У нее такая романтическая («Далось им это слово», — подумал Луний) история. Судьба забросила ее в Россию — и вот. *Неужели* я погублю ее... Да *зачем же* я говорю все это? — в недоумении остановился экзальтированный, серьезный юноша.

— Ничего. Мне — можно. — Луний улыбался, тронутый. — Только смотрите... не всякому встречному бросайтесь на шею, — добродушно прибавил он.

— Нет... нет, — тут же отвечал Анненков. — Я знаю... вы с нами, — вдруг по-детски понизил он голос — будто говорил приятелю: «А я спрятал тот апельсин в комод».

— Как, и вы? — удивился Луний; он не мог скрыть неприятного впечатления от этого открытия. Он забыл, что ему уж сообщали...

— Я понимаю вас, — тотчас же «проницательно» сказал Анненков. — Вы полагаете, я слишком молод? ошибаетесь... то есть я молод, но я способен на нужное дело в пользу отечества, — закончил он.

«Тайное общество или приют для взрослых детей?» — думал Луний.

— Да... да, вы, конечно, — между тем с улыбкой глядел он на Анненкова.

— Не сомневайтесь, Pauline мне не мешает; она разделяет мои воззрения, — торопливо добавил Анненков.

* * *

*

«Экие славные ребята», — насупленно мыслил Луний, возвращаясь к Муравьевым — и взор его выражал как бы

спокойную тревогу и думу; и первое, чем встретила его Alexandrine, было:

— Вы знаете, Мишель, этот ужасный Аракчеев из-за своей Анастасии стал совсем бешеный. — Это было явно не ее слово; явно, поджидая Лунина, они тут только что обоюдно «возмущались» с Никитой. И только он увидел это, как она сказала: — Вот мы здесь говорили с Никитой... Можно ли, чтобы женщина так сильно влияла на человека государственного, мужчину.

Она говорила немного заученно; видимо, Никита стыдил ее, что она заговорила Мишеля делами любовными и семейными — заговорила до того, что он пошел посмотреть на Pauline; и она искупала свою вину. Никита с улыбкой смотрел на жену и даже подмигнул Лунину. Каков стал!

— Однако же как там наши влюбленные? — спросила Александра Григорьевна, и в ней появилась прежняя жизнь.

— Ничего. Никита, неужели ты ни разу не говорил с Pauline? — улыбался Луни.

— Я? — недоуменно спросил Никита и серьезно задумался. — Ты прав, — наконец сказал он. — То есть я говорил с ней, видел ее — *мне можно*, я не женщина (Alexandrine ужасно покраснела, а он, со своей стороны, даже не заметил этого); но я... не говорил с ней от сердца, живо.

— То-то, — поддразнил Луни.

— Мне жаль ее... их, — сказала жена. — Но согласитесь, Мишель, в нашем положении... дом на весь Петербург... в ее... положении...

Она снова спуталась и смотрела в сторону.

— Не мучайтесь, Alexandrine, — сказал Луни. — А ты, друг мой, между прочим, поменьше толкуй с женой о предметах политических. У нее своих забот много.

Никита быстро заговорил:

— Но... Alexandrine... У нас все общее; ее интересуют политические вопросы.

— И кем же ты ее собираешься сделать? *madame de Staël* или Шарлотт Корде? — спросил Лунин, пристально глядя на друга — не зная, *насколько* посвящена жена в их *тайное* общество.

— У нее есть *свое* — семья, дом, — отводя глаза, говорил Никита.

Он, деятель, руководитель, под взглядом *de facto* «отставшего» Лунина порою вел себя как ребенок.

— Семья, дом, — задумчиво повторил Лунин — и для Никиты в этих словах был тон укоризны.

Во всяком случае, он *так* понял Лунина — это было ясно по его беспокойному, скорому взгляду.

«А что же я, верно, хотел сказать?» — думал Лунин.

— То-то, — повторил он.

* *
*

Он побывал у Волконских, стоявших в те дни на квартире отца — Раевского — недалеко от Захарьевых казарм; красивый и «взматеревший» князь, старый друг, тоже в прошлом кавалергард, встретил его приветливо; но видно было, что «тайная дума» гложет его. Он сделал Лунину скрытый знак, могший иметь только одно значение: «При жене ни слова о *той*» (как звали они *Свободу* во времена оны); Marie была бледна, беременна, что-то чувствовала; ее черные «алмазы-глаза», знаменитые на весь Юг, Петербург, потускнели, и трудно было представить, какими же они были прежде; исконно смуглое лицо приобрело землистый, зеленый оттенок; она была испугана будущими родами и еще сама не знала чем — и, словом, вся эта встреча была тосклива и принужденна.

Он был у Трубецкого — и не увидел уверенности и прочного дела; Якушкин «метался» между Москвой и Пе-

тербургом и так и не освободил своих крестьян, ибо без земли было нельзя, а с землей он не мог по состоянию своего семейства; кто пировал, кто выгодно женился, кто по-прежнему упрямо говорил о восстании, кто жалел о запрете масонских лож; ходили легенды о молодом Рылееве, о Семеновой и Колосовой, о трагиках Каратыгине, Брянском, о «юном» московском Мочалове, о поэмах, о байроническом «Онегине» сосланного уже теперь с Юга на Север Пушкина, — как говорят, наподобие «Беппо» и «Дон Жуана»; о Грибоедове, о проходимце Булгарине — другие Бестужевых, Грибоедова и других серьезных людей; о приятеле его Грече, которого Лунин крепко оборвал на каком-то обеде и по лицу увидел, что тот не забудет; о липецких водах и прочем.

Он побывал еще на двух-трех балах, четырех-пяти ужинах — и устал.

Он стоял у Невы; все тот же шпиль в шафранно-лазунном, зовущем на запад небе; все та же темная, голубая, таинственная вода.

Он уезжал под вечер, как было принято в это время,

Они расцеловались с Никитой — и что-то блеснуло в их взорах...

Вдруг оба, отвернувшись один от другого, вновь, не стовариваясь, пожали руки — и вновь задумчиво встретили глаза друг друга.

Он скоро скакал в наступающей тьме — и, глядя в окно пролетки на лес, на степь, — думал одно и простое:

«Люблю... люблю».

Где ты, панна?

* *

*

Лунин обходил эскадрон.

Его отношения с подчиненными были взаимно доброжелательны; с близкими ему по чинам и возрасту он был дружен и раздражался лишь, когда видел прямое невыпол-

нение приказаний, — и все это знали; с молодыми офицерами и нижними чинами он держался с той добродушной снисходительностью, которая предполагает понимание условий дисциплинарно-иерархических связей и в то же время соблюдение их, поскольку уж все подпало под правила игры. Он содержал эскадрон в порядке, был строг и капризен при каждом проявлении лени, неряшества, мелкого своеволия, но восполнял это кропотливой заботой о подчиненных — прежде всего об их материальном быте, от пустяков до всего остального. Он небрежно поощрял в эскадроне умную дерзость и лихость по отношению к начальству: любил, например, когда вахмистр или рядовой гусар, вобрав живот и напыжив мышцы, быстро, толково отвечал впопад на замечание ротного командира или его самого, Лунина; но не любил вялой, угрюмой грубости, основанной единственно на мысли о том, что подполковник Лунин «все одно» не пошлет в шпицрутены. В таких случаях он краснел, орал или, наоборот, сузив глаза и пощипывая усы, переходил на иронию, будучи в этом невеликодушным. Он умел найти в человеке, особенно в его внешности, смешное — и, зная, что ответить ему теперь уже не решатся, всячески разбирал и выпячивал перед всеми это смешное.

— Ты, Веревкин, сказал, что вовсе не спишь, отродясь не спал на лошади, — говорил он, глядя снизу вверх, руки назад, на мешком сидящего в седле сутулого, унылого Веревкина, хмуро грубящего подполковнику сверху вниз. — А это? — кивал он на грудь его лошади.

— Что? — начинал тянуться за шеей лошади бедный Веревкин; Лунин — видя, конечно, что тот слишком глубоко запустил ногу в стремя, — вдруг орал:

— Ого! А что же это на крупе?!

Веревкин начинал угрюмо поворачиваться назад и, запутавшись в стремени, всем корпусом изгибался и ложился на лошадь, стараясь высвободиться; ближайшие «уса-

чи» гусары лихо хохотали, а Лунин смотрел самодовольно, укоризненно — и наконец «ронял»:

— А говоришь, не спишь. Вот и поспи... лежа на боку. Тем временем, — продолжал он педагогическим тоном... все замирали, зная, что последует неожиданный вызов, — Музыченко!

— Я, вашвысокобро! — вытягивался Музыченко, аж прогнув спину, настороженно влив самые концы сапог в стремяна.

— *Что* тем временем? не молчи, дурак. Отвечай сразу, пусть глупость, — говорил Лунин под новый сдержанный смех подчиненных.

— Тем временем, вашвысокобро, его порубают сзади как следует.

— Верно; долго думаешь. За это время и тебя порубают сзади, а то и спереди, — говорил Лунин, тоном придавая простым словам неуловимо-непристойный оттенок и заставляя гусаров хохотать догадливо. Сам он в течение сцены слегка улыбался «в усы», но был невозмутим. — Ну, кто еще тут не спит? Вережкин, Музыченко, вы не *заразили* весь эскадрон? — говорил он, оглядывая стоящих коней и сидящих на них военных и заставляя их досадливо косить взор на Вережкина: идол. Из-за тебя. Все знали доскональность, с которой Лунин ведал трудности гвардейско-кавалерийской и всякой вообще амуниции, и боялись нового подвоха; они понимали, что нет того образцового солдата, которого такой командир, как Лунин, не смог бы осрамить при желании. Они не любили его иронического настроения и старались не давать повода, а дав — скорей отделаться.

— Ваше высблагородь, лучше покажите нам сызнава посест на ходу, — кричал из рядов какой-нибудь Перегуд, Кулаков или Храпченко: один из лихих. Тот, кто знал, что нарушение устава простится ему за всегдашнюю резвость и «сметку».

Лунин понятно грозил ему кулаком, все улыбались, а Лунин говорил что-либо вроде:

— А вот покажу тебе «посест» на десять суток, на ходу и без ходу, — и рота с готовностью хохотала.

Лунин, разбрасывая ступни, развязно, медленно шел к своему коню.

Сегодня он спешил эскадрон и обходил его вместе с штаб-интендантом, вымеряя рост. Сам Лунин был при всей форме: горел резной, выпукло-латунный знак подполковника, болталась ладунка (прямоугольная плоская бляха) на перевязи, сияли шнуры, шитье на вычищенных рейтузах, ботфорты и (металлически) шпоры; ташка (кожано-шитая папка для бумаг) была сбоку-сзади, сабля слева — низка и вздета, усы вместе мягки и кручены — особое искусство, кивер у локтя, а потом у отставшего денщика — русые волосы волнисты и по-гусарски скромно-живописны. Интендант был со скатывающимся аршином, весь согнут, проворен.

Здоровые гвардейские гусары, в своих зелено-голубых походных долманах и ментиках, в сильно обтянутых рейтузах и ботфортах с рогато оттопыренными шпорами, разумеется, воспринимали это необычное действие с веселостью. Лунин старался хмуриться, но не мог не поддаваться «общему состоянию», тем более что смотреть на выпученные глаза, усаые («легкая кавалерия»!) лица и неловко расставляемые руки и переминающиеся огромные, увешанные железом ноги каждого верзилы действительно было трудно без смеха.

Главной темой шуток был сам рост гусаров.

— Пилипчук! — неожиданно гремел тот же Кулаков или воспрянувший духом Музыченко. — Ой, спрячься, малютка! Залезь в орешек!

— Го-го!

— Кулаков, молчи, рожу сворочу набок, — говорил Лунин, тараща глаза, но невольно улыбаясь сквозь крик. —

Взял манеру! А ты, Пилипчук, стой, не возись — не съедят.

— Да зачем измерять, ваше высблагородь? — грозным басом спрашивал из-под усов Пилипчук, и вновь эскадрон гудел. — Я, чай, не маленький.

— Велика фигура! — говорил Лунин под то же гудение. — Не соображает! Слушай господина интенданта, черт тебя возьми!

— Не гнись, дурак, — потеряв терпение, поддакивал юркий интендант. — Мне твой *рост* нужен, понимаешь, *рост*? а не твоя нагнутая башка.

— Ог-го!

— Ваши ахалтекинцы так не ржут, — бормотал Лунин, собственноручно выравнивая Пилипчука, и тихие слова, неожиданно услышанные при замолкшем смехе, тонули в повом.

«Не слишком ли много смеемся в последнее время», — подумал Лунин и тут же забыл эту мысль:

— Ну, чего раскорячился, как ребенок?

— Ог-го-го!

— Стань прямо, ноги вместе, черт тебя.

— Та на земле нескладно, — отвечал загорелый, медлительный малоросс.

— В небе привык...

— На коне я, — конфузясь, сказал солдат, проведя кулаком под носом и сильно «окнув» — и тем снова вызвав веселое движение. От каждого ожидалась некая пища для общего настроения, все дело давно уже смотрелось как непредвиденный и тем особенно дорогой балаган-театр.

— И для чого эти замэры? — спросил солдат, пока интендант суетился с аршином.

Смех всплыл, как волна.

— На, смотри, милый: «На постройку рейтуз». Да в бумагу смотри, а не на меня! На моем носу нет твоих рейтуз! О тебе заботятся: чтоб ты не ходил так, что...

Скабрезность Лунина утонула в общем веселье.

— А долман тебе новый не нужен, что ли? вон твой во щах! или в чем!

— О-ха-ха!

— На локте дыра!

— Дэ?

— Стой смирно, дурак!

— Ох-ха-ха!

— Сколько их еще? — спросил невозмутимый, юркий интендант, заглядывая в бумагу, писанную готическим почерком Лунина. — Двенадцать пеших, тридцать четыре конных, шесть унтеров, один вахмистр... сколько прошли?

— Половину иль около.

— Та разве нельзя бэз замэров? шей всё на господина пидпилкивника, та и всё, — продолжал рассуждать украинец.

— Молчи, Татаренко, ты мне уморишь солдат, а я за них в ответе, — говорил Лунин в гудении.

— Та ни!..

— Ну, хватит. Поговорил, и баста.

— Та хіба ж я выше вас ристом, що мени надо мэрить? — говорил Татаренко. — Как раз как вы. И уси тут един к одному, — «докладывал» он, мешая великорусское с малоросским.

— Такой здоровый дурак, как ты, только один, — говорил Лунин, записывая цифры, которые интендантский поручик диктовал ему, сидя на корточках, в то же время занося их и в свою записную книжку.

— Вы выше его, ваше высокобродь! выше всех! — сказал голос.

— Значит, самый глупый, что ли? — спросил Лунин, улыбаясь и продолжая писать.

Гусары посмеялись, но сдержанно — уже как милостивой шутке начальника.

— А ну, и измерьте меня, поручик, пока не забыли, — сказал Лунин.

Тот привстал, протянул руку, приложил палец к голове Лунина (тот уж снял кивер) и потянул аршин вниз; между тем Лунин говорил с оттенком снисходительности и как бы спокойной безнадежности, чуть помахивая головой и шеей:

— Во-о-от как надо стоять, болваны. А то...

Он слегка махнул рукой.

Они смеялись, он был серьезен.

— Однако поздравляю вас, подполковник. Вы действительно выше, — сказал, вставая от его ног, поручик.

Солдаты засмеялись в доброжелательном злорадстве.

— Так ведь еще не все.

— Но, вспомните, мы начали с правого фланга.

— Вы правы...

— Но...

— Пан подполковник? — вдруг возникая, спросил слуга в желтом галицийском долмане (не как у русских гусаров, а вроде епанчи, с прорезями в рукавах), с удивлением глядя на выстроенных в пешем строю голубых гусаров, на их позы и шумное поведение.

— Что такое? — нахмуясь, отвечал Лунин; он не любил, когда чужие люди заставляли его в непринужденные минуты с его эскадроном. Будто на поздний чай являлся незваный гость.

— От пани Потоцкой, — мгновенно поважнел «хлоп», видя его неприветливость. Тоже поляк...

— А... спасибо, братец, — немного смутился Лунин. — Он развернул записку: «Мой дорогой, — писала по-французски графиня, — Вы избегаете нас, между тем... имеет быть скромный... в честь... прошу...»

— Спасибо, — повторил Лунин. — Передай, что я благодарен и буду. До видзения, — улыбнулся он.

— До видзения, пан, — важно сказал этот малый.

Лунин на миг задумался; интендант терпеливо ждал его, присев у ног очередного гусара.

Солдаты «понимающе» переглядывались, улыбались; он не любил этого.

«Не слишком ли часто, не слишком ли много смеемся», — ворчливо подумал он снова.

«Увижу... увижу», — меж тем алмазно, сине и солнечно шло в душе.

* *

*

— Вы совсем забыли нас, — вещала графиня. — Что с вами? Я вам надоела своими умными беседами? прожектами своих мемуаров?

— Вы великолепны, — дождавшись паузы, возразил Луний.

— Я понимаю, вы любуетесь на мою дочь, — с картинно-искренним вздохом говорила старшая Потоцкая, которая, впрочем, была именно не старой, а старшей. А принимая во внимание румяна и подставные локоны, умение держаться и молодые стан и глаза, она была совершенно во всеоружии. — До старухи вам нет дела... Однако смотрите, повеса... я полагаюсь на вас, не обманите моих ожиданий, — смеясь, с проглянувшей настороженностью проговорила она, искоса окинув Лунина умным, кокетливым оком.

— О чем вы? — улыбаясь, спокойно спросил Луний, хотя взор его едва заметно сузился.

— Я о Натали; вы понимаете, — сказала графиня. — Ах, Луний, ухаживайте лучше за мной; вы, я слышала, так чудно умеете это.

— Разве я... дал повод...

— Нет, нет-нет, — быстро сказала графиня. — Вы видите, я прекрасно к вам отношусь; я сама позвала вас.

— Может быть, вы и позвали... зовете меня затем, чтобы показать, что... вам нечего бояться, что вы выше... — начал Луний, досадуя на себя за эти откровения.

Графиня взглянула, со своей стороны недовольная, что в формальном, легком, искусно обточенном разговоре, где истинный смысл мог быть преподнесен только с прозрачным газовым бантом и в упаковке, по вине Лунина явилась тяжесть — эта вульгарная искренность, тень, «разбор».

— Вы преувеличиваете, но-о... — сказала она — и в этом «о» было: «Неужели ты заставишь меня закончить фразу? а я думала, ты верно светский человек».

«Но раз так, ты и вовсе не пара моей дочери», — мысленно еще продолжил Лунин ее мысль.

Он молчал, спокойно и зло подождав, пока ее это «но» повиснет в воздухе, и лишь затем ответил:

— Я буду любить *вас*, только вас, графиня.

— Обманете, ветреник! — тотчас же, смеясь, подхватила Потоцкая его тон — и в ее тоне было: «Наконец-то! Я рада, что мы опять на канате. Да и приятно это — танцевать с тобой в радуге». Она царственно не обратила внимания на то, что *его* тон был все же довольно кисл.

Лунин шел рядом, несколько сзади; графиня, как многие варшавские дамы, была чрезвычайно стройна, скрыто нежна, гибка. На миг она неуловимо напоявила дочь — и тут же Лунин увидел Наталью.

Она прошла в отдалении, за пятью-шестью людьми, бывшими в пространстве между ними и ею; сверкали люстры, сиял рекою темный паркет, шли желтые лакеи с эмазово-серебряными подносами, говорили красные, голубые, зеленые, золотые мундиры, черные фраки, розовые и голубые платья, белые плечи; склонялись головы в коках и буклях, шаркали ноги в блестящих ботинках и светлых с кантом «панталонах» по новой моде — узких, но навыпуск; изредка стучали старозаветные, в блеске сапоги, сновали карлицы в кружевах-пуфах, прошла старуха, опершись на локоть милого мальчика, светили свечи, вновь блестели капли люстр, стояло розовое и темное и пустое и желтое — и прошла она.

Она, свет. Она, голубая.

Взглянула тихо — и удалилась во тьму.

— Вы ищете Натали? она, верно, в ломберном зале; она любит смотреть... ее забавляет...

— Я не ищу ее, — улыбнулся Лунин.

Они шли навстречу друг другу — и волнение, звон в душе нарастали; они шли — и были еще далеко друг от друга — и они все уж знали, все уж сказали друг другу.

Это была большая галерея с мраморным, зеркальным, дымчатым полом; слева были белые, круговые каменные колонны, за ними сад, стекла; справа — стена, а напротив — белая и широкая, и высокая лестница; он сам шел с другой стороны по такой же лестнице — ступени были устроены друг напротив друга, — как бы для того, чтобы они сейчас шли, ступали, сходили друг к другу; Лунин слышал всем существом, как глухо и свежо стучит его сердце, он смотрел вперед — на нее; она, в черном платье и голубой шали, высокая, необыкновенно стройная, белая, шла по лестнице, поправляя яркие бело-золотые в солнце волосы, — и смотрела.

Смотрела, шла.

Они сошли с лестниц; его шпоры точено, звонко звенели по дымному, лучезарному зеркалу, она же шла ясно и лишь смотрела.

Они остановились — он руку на шнур, она чуть сжав руки перед грудью.

Однако же надо было говорить; он сказал:

— Я здесь.

«Я пришел проститься», — хотел он добавить и не добавил.

— Да. Здравствуйте, — отвечала она и гордо, и милостливо: как тогда.

— Вы...

Он умолк.

Она повернулась, они пошли рядом вдоль колоннады; сиял, сиял мрамор, отражая их согласные силуэты; мелодичный, серебряный, как бы задумчивый звон его шпор нарушал молчание пустой галереи.

— Вы не приходите, оттого что маменька запретила?

Он медлил, а затем ответил буднично:

— Частью так, Натали.

Она молчала — как бы спокойно ждала продолжения.

Он молчал.

— Матушка любит вас, но она, как вы знаете, будет против вас. Да что же я, боже мой?! — вдруг спохватилась она — и даже отвернулась и прикрыла лицо руками. — Ведь я не знаю, не знаю...

— Вы знаете, — улыбнулся он; постепенно он чувствовал некую мужескую власть над ней.

Был и возраст...

— Однако же вы должны сказать. Скажите, — объявила она, глядя в сторону.

Он улыбнулся и шел, глядя перед собой.

— Вы улыбаетесь? — в недоумении, посягающем на холод, спросила она, посмотрев на него.

— Я вас люблю, Натали, и всю свою жизнь буду любить только вас... это ясно, — сказал он, остановившись и глядя на нее.

Она смотрела на него и молчала.

— Я не знаю... может быть, вам... пасть в ноги к маменьке... она, быть может, поймет... ох, что я говорю, — сказала она, когда они вышли на террасу и встали у колонны.

Погода была осенняя, солнца уж не было — оно тогда для них показалось — и скрылось; стояли темно-зеленые и бурые вязы, липы, дубы, внизу забыто блестела Висла.

— Может быть... вам броситься в ноги к маменьке,— снова прошептала она в смущении и неловкости — припадая плечом и щекой к каменной колонне.

В ней, при гордой осанке, было это странное, особое ее добродушие-грусть, грусть-тоска-добродушие; она сжимала кулачками платок у шеи, смотрела на реку.

— Мне? в ноги к маменьке? — улыбнулся Луний.

Она быстро взглянула.

— Да вы просто не любите меня! — вдруг сказала она — и трогательно было видеть в ее простодушном лице гнев и вызов.

Он, улыбаясь в усы, в умилении смотрел на нее.

— Простите... прости,— прибавила она робко.

Он взял ее руку, слегка обнял Натали; вся она была гибка и при этом нежна.

Она не сопротивлялась, а он не настаивал в ласке; так они стояли, глядя на Вислу.

— Вы не можете покинуть меня,— сказала она, задевая белыми, золотыми прядями капризное серебряное шитье его ментика и долмана.

Он, едва касаясь, провел ладонью вдоль белого золота.

— *Как* мне... — невесело сказала она. — Ты тот, кого я ждала.

— *Я* ждал тебя,— с улыбкой сказал он, медленно целуя ее пальцы со стороны ладони.

— Вы придите к моей...

— Я приду... может быть.

* *

*

Шли недели; между тем слухи один другого смутнее поступали из дальней столицы.

Все были поражены внезапной смертью императора; в самом этом, казалось бы, однолинейном факте уж было, однако, много двусмысленного. Болтали о Таганроге, о

схеме, о старце, о завещаниях, новых завещаниях, об от-
речениях, манифестах; Константин, женатый на своей
пресловутой Грудзинской, как обнаружилось, нечто скры-
вал от присных; ныне он ходил озабоченный, и смешно
было смотреть на его простую физиономию, впервые как
следует задетую думой. Было видно, что он, пока ничего
не было, ничего и не принимал всерьез; теперь же... Тем
более что все было неожиданно и он — вообще тугодум —
не успел приготовиться.

Константин или Николай? — всплыло наконец.

Как оказалось, в Синоде, в Сенате и в Государствен-
ном Совете лежали бумаги и письма, по которым было оче-
видно, что Александр, дорожа чистотой царского рода (чи-
стота захудалых Романовых, сто лет женатых на немках,
когда кругом князя — Рюриковичи! — зубоскалили пока-
мест в гостиных), не только в семейной переписке, но и
вполне официально завещал российский престол брату Ни-
колаю, и брат Константин знал об этом; между тем, пока
суд да дело, войска присягали Константину, живые братья
писали письма, взмыленные фельдъегери летали в Варша-
ву и в Петербург навстречу друг другу, высшая знать и
Европа уж ухмылялась, готовая произнести о русских им-
ператорах страшное *ridicule* *; прочие бросились выяснять,
кто же такой «этот Николай» — чего же можно ждать от
неведомого «кумира».

Постепенно из кружков гвардейских офицеров, осо-
бенно павловцев, и инженеров, которые больше других
имели дело со «вторым» великим князем, из дотошных га-
зет, из прихожих, наконец, из недр самой царской фамилии
вставал образ, который внушал некие смутные и как бы
серые, что ли, чувства.

Николай, если освободить все эти сведения от вздор-
ного и выделить совпадения, был человек жестокий, неглу-

* — смешной, нелепый (фр.).

пый, упрямый; впрочем, это в общем знали за ним и прежде. Он был воспитан педантом Ламсдорфом, и в большой строгости; он любил шагистику и «все это», но это любили все «орлы» гнезда Павлова; он был женат на немке Александре Феодоровне, которая, кажется, была умнее и тоньше мужа, но менее настойчива; он был сравнительно молод для императора — под тридцать, но давно уже умел «держаться достойно»; он имел неприятный взгляд — прямой, остановленный, — тот, прямота, долготрап которого происходят не от явной силы обладателя, а от бедности в нем отвлеченно-духовного начала и от естественного знания о своем физическом превосходстве и о преимуществах своего положения; он помнил о действии этого светлого — глаза навывкате — взора и любил играть на этом; он был немец по закваске и темпераменту, был высок ростом, вечно думал о своей воинской выправке, не терпел штатской свободной осанки и самого платья — где мог, одевал людей в какие-нибудь мундиры, — любил поговорить о России и о народе, любил стариков, не любил молодых, всем подчиненным, как и Константин, спокойно говорил «ты», временами был импульсивен и раздражителен, презирал умников, хотя не всегда выказывал это и мог вести роль человека, многое понимающего, но вынужденного считаться с государственным интересом, на царадах (как, впрочем, и в кабинете) выпячивал грудь, но в «действительных сражениях» был на втором плане. Все это, впрочем, еще ни о чем особенном не говорило; в сведениях о Николае продолжала оставаться недосказанность, чем-то беспокоившая «толпу».

Кроме того, недосказанность была в самом положении государства; казалось бы, даль прояснилась, сам Константин дал отречение, Николай должен был «приступить»; но как бы мглистое нечто еще носилось в воздухе. Непрерывно возникали некие пропуски, умолчания, стыки, зазоры в церемониях, мнениях; в Брюловском дворце Кон-

стантина шептались сановники — и, умолкая, расходились, строгим и подозрительным оком окинув случайного флигель-адъютанта или очередного вспотевшего фельдъегеря, мелькнувшего мимо по лестнице; народ толпился у Святого Яна, вокруг Стара Мяста, выходил к Праге, выводившей на петербургский «шлях», — толпился, неопределенно, угрюмо ожидая чего-то; светская и мыслящая Варшава действовала, жила вяло и будто бы на почтовой станции — подадут, не подадут? совсем не едем? едем сию минуту?

Настроение, не любимое публикой и опасное...

В один из этих дней Лунин в рассеянности вошел внутрь собора Святого Яна; Наталья Потоцкая, стоя на коленях у барьера на алой подушечке, молилась грустно и еле шепча; он подошел с другой стороны, стал смотреть на плавно изогнутый, нежный профиль; она чуть-чуть повернулась к нему, улыбнулась — и он вдруг оглядел все это просторное, сильное, сумрачно-сияющее помещение, «обиталище духа».

Храм могучего, тысячелетнего католицизма; горнее, гордое.

Силы знания, веры и красоты соединились тут в четком величии; фигуры святых пророков, титанов, светло и смутно встающих в готических нишах, таинственные, глухие двери, ворота в кельи, ходы, подвалы, где пламенные монахи, борцы и поклонники бога и дьявола, искали высоких истин, земного огненного металла в ретортах, тиглях и дымных колбах четырнадцатого и прочих сине-серых и красных столетий, загадочные *in folio* * — свод прозрений и предрассудков за много лет, прекрасные статуэтки, величественный орган, только что ударивший в темные, белые своды своим грозным гулом, весь страстный, божий, суетный, изумрудный, рубиновый, черный, весь золотой и белый иконостас, торжественные, тихие лица молящихся и престор.

* — том форматом в полный печатный лист (лат.).

Простор.

И она — божественная и милая в полумраке, в сиянии храма.

Она вновь взглянула с растроганной, тихой улыбкой; он поклонился тихо — и вышел.

Смута и солнце, и серое, грустное небо Варшавы, и светлые шумы дня вновь медленно охватили его.



Наконец стало слышно о возмущении в Петербурге; дошло до города «Северная пчела» с официальной версией, с манифестом; передавались толки и анекдоты.

Много необъяснимого оставалось в этой истории, как и во всем, что происходило за эти дни, начиная с самой смерти императора Александра; говорили, что роты Московского полка и Гвардейского экипажа вышли на площадь Сената в восемь или в девять утра, то есть по декабрьскому Петербургу еще далеко затемно, но что государь, как-то предупрежденный в ночь или вечером, успел принять присягу Сената в семь (в шесть?); что, еще накануне возмущения, на юге был арестован полковник Пестель — душа мятежа; что восставшие в неисповедимом оцепенении стояли до четвертого часу дня — до того, как уж стало смеркаться в этом пасмурном декабре Петербурга; что посланные высшие священники не имели успеха; что выстрелом из пистолета был убит граф Милорадович — лихой герой войны с Бонапартом, спаситель гибнущих в роковое наводнение 1824 года, предшествовавшее бурям 1825-го: он был отправлен императором для переговоров с бунтовщиками; что сам император, бывший великий князь Николай, кутаясь в шинель, стоял у подъезда Зимнего дворца, когда мимо шли роты лейб-гренадерского полка; что младший офицер, подойдя, спросил, как ставить людей, и вко-

нец растерянный новый, никому из *этих* в лицо не знакомый царь отвечал виноватым голосом:

— Ежели вы со мной, так сюда, а ежели с ними, так вам туда, — и махнул в направлении медного Петра; и наглый прапорщик, поняв дело и в молчании усмехнувшись, скомандовал своим молодцам «туда» — далее, на Сенатскую площадь; что офицер, в ночь карауливший Николая и видевший его расстроенное лицо, когда солдат случайно брякнул прикладом (царь тут же выглянул), и — дело чести — докарауливший до конца, наутро все-таки оказался среди мятежа: предчувствие не обмануло смутного Николая; что известный Александр Бестужев, издатель, журнальный забияка, лихой военный, действовал в Московском полку, яростно поощряя колеблющихся и вдвойне воспламеняя фанатиков; что блестящие Щепин-Ростовский, Оболенский, Александр Одоевский и другие — среди первых людей мятежа; что некий Рылеев, поэт, правитель дел Российско-Американской компании, автор сатиры на Аракчеева, «статский», весьма энергический, был явным ваправилой на площади; все они уже схвачены. А литератор Бестужев и сам явился с повинной...

Поведение бунтовщиков не изменилось, когда их атаковали кавалергарды и конногвардейцы; они молча сомкнули каре, выставили штыки, прозвучали — правда, одинокие — выстрелы; кавалергарды отступили довольно резво, тем более что в рядах бунтующих были их друзья, да и в собственных их рядах раздавался ропот сочувствия «братьям»; стоящие не шевельнулись даже тогда, когда из-за строящегося Монферранова Исаакя, из-за дворцов, очерчивающих площадь Сената, показались орудия, направленные жерлом на их густой строй.

Говорят, прислуга, заряжавшая и наводившая, в последний момент отказывалась подносить фитиль:

— Свой. Свой, братцы. Свой на площади.

Офицеры были в растерянности, но царь Николай, уже

оправившийся от уныния и лично командовавший этим односторонним боем, решительно дал приказание открыть огонь...

Являлись очевидцы, которые излагали довольно подробно...

Пушки грянули, картечные пули, пробивая редкий снег, с визгом защелкали по парадной брусчатке площади, по решеткам, домам, тротуарам; с деревьев, с крыш с криками упали несколько человек из народа, угрюмо наблюдавшего странное зрелище; на самой площади сразу же раздались вопли многих раненых, в шеренгах образовались зияния, сами ряды расстраивались; не давая передышки, ударил второй залп, стоны и беспорядок усилились, грязный снег оттепели, освобождаясь от людей, быстро окрашивался в красное, по всей окрестности понесло гарью и свежим, пугающим запахом крови; на местах, освобожденных живыми, оставались уродливые темные пятна — лежащие человеческие фигуры в неловких позах, с откинутыми и запутанными полами шинелей; паника возрастала, люди бросились к реке, лезли через парапет; немногие офицеры, размахивая тускло светящимися в сером и уже синем свете саблями, тесаками, пытались остановить бегство, но были увлечены бегущими; канониры, начав дело, уже не смотрели, не сомневались, а лишь торопливо и слаженно давали залп за залпом; пушки вслед за бегущими выкатывались на площадь; храпели, видя и чуя кровь, артиллерийские лошади — глухо лопались, взвивались построжки у разворачиваемых единорогов; впрочем, стреляющие-то пушки шли прямо «на руках» — за колеса, за дула, лафеты: близко; пригнувшись, наступающие солдаты, под прикрытием все той же, теперь уж более уверенной, кавалерии, тащили зарядные ящики, другие палили свободным ружейным огнем по теснящимся у ограды, вопящим и жалким людям в шинелях; с правильными, краткими промежутками гремели резко отражавшиеся эхом от

городских стен залпы орудий — пока одни заряжали, другие несли фитиль, фальцетом звучали команды «товъсь», «пли» в разреженном зимнем воздухе, смутно желтели пушки на красном и светлом снегу; тех, кто спасался по Английской набережной, ловила полиция и драгуны; вскоре картечь настигла и тех, которые бежали по белой Неве на тот берег, на Васильевский остров; затем в огне возникла краткая пауза — на лед спустилась кавалерия и по всем правилам, как на маневрах, с двух сторон атаковала никак не обороняющихся, не сопротивляющихся людей, побросавших ружья и закрывающих руками головы от тяжелых кирасирских палашей и драгунских пашек, беспомощно увертывающихся от казачьих, уланских пик, дротиков; кавалерия ускакала, оставив на льду новые неподвижные тела, вновь ударили пушки — уже прямо стоящие у самой решетки; опять слышались стоны. На том берегу добежавших встречали полиция и суровые, насмешливые всадники.

К темноте все было кончено; конные ловили по переулкам обезумевших «нижних чинов», иногда и офицеров, полиция рубила проруби и спускала под лед не только трупы, но и раненых, на квартирах главных бунтовщиков шли поиски, в течение нескольких дней вылавливали бежавших; так, в мужицком тулупе, с измененной бородой был опознан верными людьми из народа моряк Николай Бестужев — из главных; Ланской, муж родной сестры матери Александра Одоевского, самолично привез на расправу любезного племянника, прибежавшего к нему в дом с просьбой укрыть от преследователей; князь Трубецкой, накануне назначенный диктатором в мятежном правительстве — во «Временном правлении», наблюдал все «восстание» из-за угла близлежащего дома, а на площадь так и не вышел, а после ходил по темнеющим улицам, подавляя мучительную тошноту и гоня из головы милые образы жены и детей, — ходил, пока не был арестован; Ры-



леев успел послать Оржицкого на юг — известить о разгроме; Щепин-Ростовский попался первым, Каховский, отставной поручик, в «статском» платье пришедший на площадь и убивший графа и полковника Стюрлера, сумел уйти, но вскоре был легко схвачен; и далее, далее в этом роде.

Лунин был задумчив, узнавая подробности; «но что же Юг?» — был вопрос.

О Пестеле было известно; оставалось иное.

Лунин знал, что в обоих тайных обществах сильны настроения гибели, искупления, — Сергей Муравьев был тогда не так одинок, как могло казаться; многие хотят пострадать, живут мыслью, верно выраженной Рылеевым в известных стихах:

Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,—

и проч. «Ах, как славно *мы умрем*» — эти слова Одоевского принадлежали не только ему; такое настроение возвышенно, но оно — признак, что ожидаемая «гибель» не заставит себя ждать долго; идя на дело, надо думать — «Будет победа», а не — «Я умру», каждому военному это ведомо. Далее, Рылеев, чье имя в Острогжском уезде Воронежской губернии, то есть недалеко от Тамбова, а в Петербурге общие друзья, был, однако же, мало известен Лунину, о чем он, Лунин, теперь жалел; несмотря на жертвенность и иное, Рылеев за глаза рекомендован как человек решительный, умный и стойкий; как-то он поведет себя ныне?.. Лунин грустно задумался. Но всему, ничего обнадеживающего нет; ясно, что выступление, кроме всех трудностей, колебаний, наивности, которые неизбежны и без того, просто не подготовлено, что кто-то — вер-

нее всего, тот же Рылеев — лишь решил использовать благоприятный *случай*, роковым образом представившийся в междущарствие ноября — декабря; и удивительно было бы, если б не состоялось подобной очевидной попытки... А раз так, то пафос обреченности, втайне и прежде влиятельный (что и высказалось в стихах и прочем, в чем тайное становится явным), должен усилиться; арест Пестеля и неизвестность о его поведении, поверхностный азарт и колебания товарищей, странное, если не сказать более, поведение Трубецкого и все остальное должны тому способствовать.

А раз таково положение наиболее непреклонного Рылеева — что можно думать о прочих?

Нет, пройдя умом, чувством все дело, зная его историю и людей, Луний не видел причин к недоумению, что в Петербурге все вышло, как оно вышло; но Юг?

Юг, Юг?

Да, — снова, снова — нет Пестеля; да, весть из столицы охладит многих; да, он не видит и там, на Юге, людей достаточно... государственных; но он знает, что обе армии настроены враждебно к правительству, что военные поселения окончательно надорвали солдат; что армия — это не нарядная и блестящая, и немногочисленная, и легкомысленная гвардия, а настоящая сила — числом и натиском; что в Тульчине, в Василькове и в Киеве, а главное — в молодом Обществе соединенных славян, лишь недавно на правах некой автономии влившемся в Южное общество, остались решительные, умные молодые люди, готовые не только к смерти, но и к победам; что вдалеке от угрюмой столицы характеры вольнее и резче, что поляки могут помочь, что богатые украинские земли, страдающие от поборов чиновников и военно-«дорожных» обязанностей, далекие от Константина и Николая, от Александра и Михай-

ла, императриц и двора, не испытывают никаких — ни личных, ни отвлеченных — привязанностей к Романовым и всем, кто вокруг трона, — и не будут препятствовать возмущению, если не помогут ему.

Главное — время.

Теперь важен каждый час; понимают ли это на Юге?

Помнят ли, что они военные?

Что они «карбонарии»?

Что они замыслили нечто, в чем ныне нет хода назад — лишь вперед?

Слов нет, положение трудно; им говорили обо всем... в свое время; не внемлют... люди по-прежнему не внемлют доводам разума; они понимают лишь гром, огонь над их головой; но, раз гром не миновал, будьте умны, бдите; будьте... воинами, раз нет, нет иного выхода; так где вы?

Что вы?

Лунин поймал себя на том, что он — человек, по сути давно уж «отставший», — с волнением думает о судьбе товарищей; он оглядывается на проигранный бой, он думает: далее!

Отчего?

Он усмехнулся себе.

Он, конечно, надеялся, он мысленно ждал, звал, вел, понукал.

Но он — он и знал.

Знал, почему — вопреки очевидности — желает победы тем, и знал, почему «отстал».

Вести не замедлили.

Не успела Варшава усвоить то, что дал Петербург, как поплыли новости с Юга. Впрочем, они попадали в Варшаву, не минуя того же «туманного Петербурга».

После ставших назойливыми слов «Сенатская площадь», «Московский полк», «манифест», «14 декабря», «отречение» и других пришло — «Черниговский полк»; раздавались имена Сергей Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Щепилло, слышалось «смерть Ипполита», «деревня Трилеса»; «Ахтырский гусарский полк».

Дело печально и строго напоминало все то, что было на Севере.

Услышав о «возмущении» и разгроме 14 декабря, лишившись Пестеля, Сергей Муравьев-Апостол решил действовать на свой страх и риск; собственно, как понимал и он сам, и Лунин, ничего другого ему не оставалось. Можно было идти только вперед.

Но и по старым, и по этой новой причине в его действиях было не столько дерзости и того спокойствия, которое холодным стальным лучом передается окружающим, сколько уныния. Хуже того: временами он становился ясен и резок, и младшие офицеры, солдаты, фейерверкеры празднично шли за ним, слушали его пылкие, деловые речи; но тут же впадал в апатию, говорил о гибели, о грехе и о жертве, о долге пред государем, о чести дворян, о равнодушии «пушкарей» и народа, о сне и тоске. Лишь ценой огромных усилий тем молодым офицерам из прежних Славян, которые собрались вокруг него, удавалось толкнуть его на дальнейшие действия. Такое расположение духа подполковника было еще хуже, чем пусть унылое, но постоянное. Притом ни один из прочих не мог взять на себя командование, ибо для авторитета, для военной дисциплины нужны «махровые эполеты», то есть власть старшего офицера; из присутствующих это было только у Муравьева.

Для нижних чинов были не секрет настроения офицерства, мало того, младшие командиры тайком от того же Муравьева и других, считавших, что «нижний», солдатский бунт принесет непоправимые несчастья России, кото-

рые она будет распутывать много лет, вели дерзкую и действительную пропаганду среди солдат и фейерверкеров, приготавливая их к выступлению в пользу отмены крепостного права, сокращения сроков службы, изменения порядка рекрутчины, устранения шпицрутенов, кнута, плети, розог и прочего, отмены военных поселений, установления юридических, естественных, политических прав солдат, освобождения армии от засилия немцев и других иностранцев, укрощения свирепых и неумелых командиров институтами закона и совести. Многие солдаты и унтер-офицеры, здоровые крестьянские дети, измученные бессмысленными издевательствами и глупостями всей армейской службы и тех или иных отдельных начальников, доводимые до отчаяния мыслью о двадцатипятилетней кабале, почти невыносимой для живого человека, хотя и измороженного помещиком, но привыкшего к вольным полям и лесам без казарм, испытывавшие уже не тоску, а глухую ярость при упоминании о военных поселениях, этом выморочном изобретении выморочного Аракчеева (солдаты несут ту же службу, но при этом еще и сами же выполняют все сельские работы), были сознательно готовы к бунту. Ибо *есть* предел человеческого терпения, и при всяком непрерывном, бессовестном утеснении наступает момент, когда даже и последний трус становится героем. Момент, о котором всегда забывают обнаглевшие утеснители; момент, когда человеку нечего терять, когда сопротивление есть единственный возможный исход из его положения! Страшен человек, когда у него нет выбора: страшен робкий, ставший героем! да, об этом забывают, забывают те, кто не знает *предела* в подлости... Среди нижних чинов были люди со здравым смыслом, с храбростью в сердце, с определенным развитием, над которым трудились те же офицеры; они знали, на что шли, и были готовы лучше умереть, чем жить, как живут. Но главное, что копилось, — это месть и ненависть и сознание — теперь, благодаря мо-

лодым советчикам, ясное и настойчивое, — что погодите, придет день, когда...

Этот день пришел, когда жандармский наряд прибыл за подполковником Сергеем Муравьевым-Апостолом.

Тяжкая злоба, копившаяся много зим и лет, излилась на Гебеля, сладострастно мучившего до крайней степени не только солдат и унтеров, но и младших офицеров; как только договорились о бунте — а это произошло и скоро и лихорадочно, несмотря на то, что, как и на Севере, ничего еще не было подготовлено; до этого спорили годами, а тут сговорились за несколько часов... но есть, есть исходный надрыв, безнадежность в *таких* сговорах, — как только договорились, бросились к Гебелю, ходившему вместе с жандармскими офицерами и вскорости все-таки успевшему захватить Муравьева с помощью третьего жандарма Ланга (тоже потом бежавшего); так велика была прорвавшаяся, долго и яростно сдавливаемая ярость, что несколько молодых людей, боевых офицеров, среди них Сухинов, никак не могли убить пожилого, мучительно, молча сопротивлявшегося и боровшегося за жизнь одутловатого Гебеля; его били прикладом по голове, кололи, топтали, наконец, и стреляли, хотя настроение было таково, что каждому хотелось собственноручно, без помощи пуль прикончить «ненавистную гадину»; Гебель неизменно вставал, хватался руками за лезвие сабель, штыков, снова падал и снова вставал; наконец, решив, что он мертв, его бросили за ворота его дома, но он был, как оказалось, жив, и, истекшая кровью, ворочался на дороге, пока его не подобрал сердобольный крестьянин и не отвез в дом местного управителя. Там Гебель тайно переждал весь бунт и так и остался жив, когда его противники пали под градом картечи в рядах Черниговского полка, застрелились или были схвачены. Как оказалось впоследствии, он получил тринадцать ранений, каждое из которых должно было быть смертельным.

Пока слепая ярость изливалась на ненавистного, подлого, молчащего Гебеля, не менее подлый майор Трухин, холуй Гебеля, отнюдь не сочувствовавший «анархическим настроениям», успел спокойно бежать с гауптвахты и явиться в Киев к высшему командованию, которое, тотчас же по-военному поняв, что промедление смерти подобно, стало принимать меры...

Вскоре солдаты ворвались к недобитому Гебелю, возвращенному домой, и хотели прикончить его, жену и малолетних детей; свирепый Сухинов, бывший в авангарде и голыми руками взявший в плен до зубов вооруженного Трухина, на сей раз бросился с саблей на собственных «воинов» и, нанося визжащие удары по выставляемым для отвода штыкам, прикладам, заставил людей отступить и не дал произвести бесчинства — начать разложение полка.

Об этом Сухинове в Варшаве ходили смутные легенды; Луний отчего-то особенно внимательно прислушивался к ним...

Между тем освобожденный Муравьев-Апостол, узнав обо всем, вел себя с тем же беспокойным непостоянством...

Был еще Артамон Муравьев — командир Ахтырского гусарского полка.

В случае выступления ахтырцев положение правительственной партии было бы очень сложным, ибо все ее коммуникации оказались бы перерезанными, а настроение в обеих армиях было не таково, чтобы даже и на войска, формально выступающие против мятежников, можно было положиться. Любая сильная искра могла зажечь *всех*, а не только роты, батальоны, эскадроны, полки, руководимые самими членами общества и подготовленные к действиям против правительства; да, положение было странно, восстание было не обдуманно, но много было за то, что и при этом исход его мог быть быстр и благоприятен...

Артамон Муравьев в последний момент отказался под-

нять свой полк; он говорил о родне, о безнадежности, об огромной России, которой нет дела до их свободолюбивых забот, о долге, присяге, о крови братьев — о чем угодно, только не о том, о чем положено говорить командиру мощного кавалерийского отряда накануне действия, от которого зависела судьба всего предприятия; уговаривать было бесполезно — он тоже был надломлен.

* *

*

Чего можно было ждать?

Полк выступил из Василькова позже, чем мог бы, а в том положении всякий час был важен; но командир думал, держась за голову, и никто не в состоянии был справиться с ним; в девять утра, как было приказано, полк стоял на площади в полном снаряжении, местное население с плачем благословляло людей, добровольно и бодро идущих на смерть; но полк стоял, а командир не появлялся, — он, как говорили, «в слезах» писал письма; солдаты, офицеры терпели; наконец Муравьев-Апостол вышел на крыльцо, окинул взором бурно приветствовавших его солдат в рядах — и лицо его прояснилось; он любил своих «детушек», и они любили его; они верили и ждали действия.

Все знали, как в решительные минуты умеет преобразиться добрый Сергей Иванович, и давно желали этих минут; они наступили.

Муравьев произнес короткую речь, неважную по своим словам, но важную по тому спокойствию и холодному, властному любви-пламени, которым она дышала; его вновь приветствовали с невиданным, неожиданным для него восторгом; было молебствие, полк, в умилении и торжестве подвига, двинулся; куда? — едва ли кто знал.

Лишь бы идти.

Идти!

Прошли Мотовиловку, пошли далее.

У Пологов в рядах были слухи, что вблизи давно рекогносцируют конные — кажется, те самые ахтырские гусары, но уже без Артамона Муравьева; ночью подъезжали к караулам и дружелюбно заговаривали, намекая, что отнюдь не осуждают повстанцев. (Позднее гусары Гейсмара признавались, что, если бы черниговцы, во время конной атаки на них, дали хотя один залп, они, гусары, немедленно сдались бы им.)

Полк вышел за *околицу*, как называли в этой части Малороссии край селения; ближние к Муравьеву видели, что он, после коротких «минут», опять впал в думу; Новый год властвовал над туманной землей, небо было серо, земля — бела, лес чернел в отдалении, и над всем висело то грустное, что всегда висит в глубине России и Украины в пору глухой зимы; недавняя оттепель и новый морозец добавили мглы; темнела дорога, и было пустынно в холмистом просторе; но близкая, прямая угроза отвлекала взоры от равнины и смуты: непрерывно маячили в отдалении конные — гарцевали туда-сюда, смотрели, переминались.

Те построились для атаки — утихли перед броском; полк остановился, обнеся себя частоколом штыков; слышались резкие команды молодых ротных командиров... Муравьева не было видно...

Конница с вялым, рассеянным в зимнем воздухе криком налетела, «потанцевала» перед оцетиненными, молчаливыми каре, поскакала назад; но тут же из-за лесочков с той и с другой стороны показались орудия.

Пока их выкатывали, пока давали «предупредительные» залпы, полк в оцепенении стоял среди снежного поля — голая и простая мишень для всякого расторопного и даже нерасторопного канонира...

О чем говорили?

Может быть, вспоминали штаб-ротмистра Оржицкого — «своего» гусара-ахтырца?..

— Почему нет общей команды? Нас положат, как скот на бойне.

— Они не станут стрелять по своим; пугают, и все. Там много наших; не дадут. Да и солдаты не выстрелят в братьев.

— Выстрелят!

— В Петербурге...— явственно шло по рядам солдат и среди торопливо сходявшихся и расходившихся офицеров; все были в сомнамбулическом состоянии; к непривычности чисто военной обстановки, действовавшей на людей неуютно и сковывающе (отсутствие собственной кавалерии, артиллерии, способных защитить пехоту от пушек), добавлялось некое чувство, как бы сгущавшееся в воздухе.

Это не было прямое чувство гибели, обреченности; это было... как назвать?

То ли грусть, надрыв Муравьева вдруг наконец в виду пушек передались солдатам, так долго восстанавливавшим дух своего командира? То ли зимняя смута, тишь, это глухое незаметно влияли на пафос бунта, уничтожали порыв, необходимый для такого действия? То ли тревога, молчание командиров, не видящих Муравьева и знающих, что такое картечь без прикрытия и посреди поля, и невольно вспоминающих, как ночью, опасаясь случайностей, убеждали они Сергея Ивановича идти другим путем — более спрятанным в лесах и, таким образом, менее доступным для вражеской конницы, артиллерии? («Все равно... так лучше не мудрить. И что вы так взволнованы, господа? они не успеют с артиллерией, вот увидите. Знаю наши порядки». Он не подумал, что порядки меняются, когда доходит до жизни и смерти.) Или сами не ожидали они такой быстроты от начальства — в душе не предвидели этих пушек, хотя и высказывали опасения? Или жертвенность Муравьева, ночью и тайно, передалась и этим, и молодым — настроенным на дело, а не на гибель?

Кто знает?

Так они стояли некоторое время — русские пушки и конница в отдалении, русский пехотный, солдатский, молчащий полк посредине белого поля; затем полыхнуло пламя: те «пустые» выстрелы; затем картечь ударила, раздирающие стоны наполнили глухой зимний воздух в этом просторе и сне, с первых же залпов были удачно для стреляющих выведены из строя почти все офицеры — ранен Сергей Муравьев, убит на месте свирепый поручик Щепило, за ним другие; солдаты сначала теснились к фейерверкерам, к оставшимся офицерам, друг к другу; но била, свистела, скрипела картечь, падали люди, визжали обозные кони; краснел, краснел снег; сиротливо торчали штыки, кое-где бессмысленно выставленные в сторону далеких, чуть видных в зимней мгле пушек, равнодушно раз за разом извергавших пламя и смерть; кое-кто догадался броситься на снег, но большинство людей наконец бросились в разные стороны, увязая в снегу и настигаемые картечными пулями и затем саблями (гусары, видя такое, потом опять пошли в атаку на рассеянный по полю полк, по своему усмотрению рубя или беря в плен, на круп лошади, жалких людей); а по взрытой дороге шел назад, к обозам, человек с красивым большим лицом; голова его была небрежно обвязана, из-под тряпки на грязный снег капала темная кровь, его покачивало, но он был не так сильно ранен, сколько смущен и контужен; то был Сергей Иванович Муравьев-Апостол, до этого скрытый где-то между рядами и так и не подавший команды.

Вскоре гусары захватили его; он как бы очнулся от рассеянности, кивнул довольно почтительно обратившимся к нему гусарам и пошел между двух лошадей.

Невдалеке арестовали Соловьева; гусарский вахмистр, коренастый и рыжеусый дядька с прищуренным взором, начал толкать пленного конем, бранить и паясничать на свой манер.

— Прикажете этому глупцу молчать, — угрюмо сказал

Соловьев подъехавшему поручику — и тот молчаливой пощечинной унял своего верного унтера.

Ипполит Муравьев, видя конец дела, застрелился на поле, а раненый Кузьмин, взятый в плен и спрятавший пистолет в рукаве шинели, застрелился в избе, куда его поместили.

* *
*

С тихим взором сидел Лунин, подперев щеку и глядя в угол, в пекую точку; на доклады важного поляка-слуги о приездах, на просьбы он молчал — и лишь слегка поводил лицом и бровями, гоня слугу.

Между тем не миновать было участвовать в действительном быте; он понимал, что «байронические» думы ныне бесполезны.

Он посмотрел в сторону окна.

Варшава жила своей жизнью; прокатили дрожки — виден султан, цилиндр, наклоняющиеся, отклоняющиеся друг от друга — приятели беседуют; прошли двое его гусаров, оживленно жестикулируя и смеясь; шагом проехала кибитка с дамским салоном в глубине — друзья сделали ручкой, покрутили усы, послали воздушные поцелуи; стояли, запорошенные свежим снегом, прекрасные старые клены, в вершинах шумели вороны, грачи — отчего-то не улетели в эту зиму; вокруг же стояли столики, полки с книгами, статуэтки и канделябры, в углу покоились чубуки, по стенам краснели, желтели и голубели ковры с пистолетами, саблями — убранство его приличного, brave, скромно-роскошного, умно-гусарского кабинета; на большом столе валялись небрежные перья, как бы недвижно летели, перекрестились листы бумаги.

О, Натали.

О, снега.



Без доклада вошел ротмистр его полка и заговорил с порога:

— Тут, нынче, в Варшаве, у самого Стара Мяста, захвачен один из тех — из *декабря*; странная, длинная фамилия — немец, что ли. Он бежал, ушел от всех, добрался до Варшавы и —пил кофий, чудака. Ему бы на перекладные — пошел! — и к немцам, к немцам; а он! видите ли, кофию — спокойно, у всех на виду! Ну!

— Кто же таков? видно, что лихой малый, что от всех ушел, — сказал Лунин, отворячиваясь к окну.

— То-то оно, что нет! говорят, длинный, чудака, вроде блаженного; а дошел! каких людей поймали, а он доехал, дошел! — говорил офицер — из молодых, светских. — Подумать! По всей вероятности, оттого и добрался: вот так сидел везде, никому и в голову... Наши тоже сначала оцепнели: как? он ли? возможно ли? но потом взяли.

— Уж этим кончится, — улыбнулся Лунин. — Да кто же? мне интересно.

— Кугель... кю... ки...

— А, Кюхельбекер, Вильгельм или Михаил? впрочем, конечно, Вильгельм.

— Да! не знаю, Вильгельм ли, но фамилия — эта самая.

— Что ж он в Варшаве...

— Он шел к кому-то из офицеров; как говорят, не сказал, к кому, но, судя по всему, к Семену Семеновичу Есакову.

— По чему же судя? — скупо улыбался Лунин.

— Ну, не знаю; по всей видимости, все-таки как-либо проболтался. Он, как говорят, очень неумел. Но каков!

— К Есакову так к Есакову, — в рассеянности сказал Лунин.



Он ехал в оперу; на душе, впервые за долгое время, было свежо, даже весело; кучер гнал хорошо, полозья шипели по мокроватому снегу; люди по сторонам шли оживлены и приятны — в воздухе были первые наития, влияния весны; ничего еще не было въяве — и все уже было, виделось, ощущалось. Но не только близость весны рождала то важное, бодрое и морозное чувство; он сам не знал, в чем дело; впрочем... он знал: то был холод, хмель, запах опасности, столь привычный, любезный его душе.

И то было...

То было чувство, что он увидит любимую; не часто он позволял это; и вот — он едет, и он увидит; и все это вместе — любовь, приближение к Натали, свежий ветер опасности, снег, езда и невидимая, но живая, живая весна, — все это создавало в душе то особое, синее чувство.

Скрип прекратился — он тихо и резко откинул полог; у театра гомонили люди; сиял подъезд; казалось, вокруг нет вечера — так раздались от тайного света дни; он вышел, с удовольствием вдыхая в легкие снежный воздух — под пологом было немного затхло, — взбежал на ступени, вошел и сбросил мех; он явился в пустом пунцовом фойе — конечно, уж началось; вошел в одну из лож — и, остановившись за спинами каких-то светлых дам и черных («статских»!) мужчин, вдруг замер.

Он сразу увидел Наталью Потоцкую — она сидела у самого барьера в ложе наискось; она смотрела на белую, яркую сцену — оттуда как раз слышалась прекрасная партия тенора, этот влюбленный и праздничный Альмавива Россини, ныне царящий на всех пышных подмостках ликующей, тихой Европы, — и в задумчивом зоре ее была такая глубокая, несомненная грусть — грусть, обращенная лишь к себе и к чужому свету, идущему вширь, со сцены, грусть, не имеющая отношения ни к чему происходя-

щему, ни к чему земному и точному, — что он, не готовый, упал сердцем.

Она уж ощущала его присутствие — в ней явилась тревога; она шевельнулась, взглянула направо, налево — не увидела, не узнала его — вновь обратилась к сцене; но в глазах ее, снова подхваченных светом оттуда, было уж некое напряжение и забота как бы; сейчас, сейчас она вновь оглянется; вот увидит...

Он, спокойный и статный, сам себе улыбнулся печально, помедлил еще мгновение — и торопливо вышел из чужой ложи.

* * *

*

Дома Луний был снова тяжел и мрачен; он разбирал бумаги, глядел в камин — в огонь, медленно ходил по комнате; рвал те, иные листы, курил кальян.

Вот попались письма «полковницы Глазенап», как называли ее друзья; уланские годы... смех, удаль.

Луний уселся в кресло и на минуту задумался о своем отношении к женщинам.

В нем было много цинизма, но того, который обыкновенно нравится самим дамам; он редко «волочился» в том прямом смысле, который предполагает сначала «ловеласские» клятвы и унижения, а после презрение к «предмету», — он скорее позволял самим дамам искать себя, но зато был беспощаден при сценах и расставаниях.

Найдя своего избранника, женщина, и особенно умная, тонкая, светская, невольно исходит не из характера самого мужчины, а из своего чувства к нему и из того образа этого мужчины, который сложился в ее душе. Тут начинается деспотизм, тем более жестокий, что женщина не знает сомнения и свое чувство принимает за самое истину. Причем энергия ее постоянна и изматывает; Луний полагал, что появление детей отчасти меняет дело, женщина переносит центр своей жизни в иную сферу, и все-таки он в

глубине души не любил этого женского свойства, даже и при этом условии. Он в этом не доверял даже таким, как Александрин Муравьева; он, знаток светских женщин, был прекрасно осведомлен, что любая из них, лишь протяни палец, вскоре потребует руку, протяни руку, потребует сердце, отдай сердце, потребует голову и не успокоится до тех пор, пока не «съест» целиком, да еще тебе же выразит презрение. Не съест же только в одном случае — если грубо помешать ей. Тут она будет делать сцены, унижаться, грозить, пускать в ход все без изъяна средства, которые есть под рукой, даже не задумываясь о моральном качестве этих средств — о морали, столь важной для нее в иных положениях и столь требуемой ею от самого возлюбленного и прочих; и, словом, сделает все, что возможно, но если не добьется своего, то к неожиданности начнет любить и уважать тебя с новой силой. Второе — «уважать» — не очень волновало Лунина в этом случае; но его неизменно смущало «любить» — он всегда испытывал тайные неловкость, жалость по поводу «тонких» страданий, испытываемых кем бы то ни было из-за него; и от этого, а также вследствие исконных свойств своей решительной и «суровой» природы он предпочитал расставания и простые и жесткие.

Лунин был страстен, умел быть нежным и терпеливым, умел любить, ценить тонкую или страстную женскую прелесть; но в его любви женщине всегда не хватало того начала несомненной теплоты, того покорства и полного растворения, которое так чтят в мужчине многие светские красавицы. Его упрекали, презирали, ему говорили те острые, чуткие колкости, на которые так способна втайне униженная или оскорбленная, самолюбивая или просто взбешенная женщина; но это не могло поколебать его снисходительного добродушия. Посыгательства дам на то, чтоб сломить и поработить, скрыто раздражали его, но и это лишь скупой проявлялось вовне. Женщина же способна простить

пощечину или, с другой стороны, ползание на коленях, но редко прощает добродушие и улыбку, для нее извечно пограничные с «равнодушием». Особенно же их отталкивало вот что. Он, при должном настроении, был искусным любовником, эдаким эллином, жрецом плоти, достигшим прекрасной Елены, Леды, Хлои; казалось, вся душа его разливалась в любви, и женщина, изнемогая, была сама покорена, торжествовала блаженную покорность-победу, победу-покорность; но проходил порыв — и она с досадой видела, что «гибель в упоении» — это она, а он, только что бывший в «гибели», уж «холоден» и улыбается.

Женщина, с ее чувством-инстинктом, так, вероятно, до конца и не поймет некоего законченно-мужского, крайне мужского типа человеческой, физической организации; она извечно будет невольно ждать, требовать большей женственности, большей мягкости от самого мужчины; мир не создан для полного торжества мужского начала, и женщина — заботясь о жизни и о тепле — будет вечно напоминать об этом...

Не оттого ли его «католический идеал» дамы сердца?

Не оттого ли, будучи мужчиной прежде всего, он непобедимо стремится к высокоженственному в его резких, в предельных его чертах?..

Даже «полковница Глазенап», эта бесстыдная вакханка, эта циническая обманщица своего мужа — престарелого уланского полковника (ох, эти уланы!), начальника Лунина, с которым тот не ладил, но которому всегда уступал, чувствуя смущение перед ним, — хотя, казалось бы, вел себя по всем принятым законам «гусарства», — даже эта бешеная валькирия, одна из немногих, кто оказался достойной парой на «темперамент» и «куртуазный пыл» Лунина, — даже она время от времени делала ему истерики на такой предмет, что он не понимает ее души, не дарит ей ранних цветов и подобное.

— Да у тебя прекрасная душа, — улыбаясь, говорил

Лунин; ему не хотелось ссор, он любил и весьма уважал таких, как она, рабынь страсти, апологетов чувства, не преодолевающих, но просто не принимающих во внимание никаких условностей — необходимых приличий, священного девиза «что он обо мне подумает», нежелания «быть навязчивой»: предельно искренних и упрямых; они со своей, с женской стороны в чем-то потакали натуре самого Лунина, хотя на долгую его привязанность, как правило, не могли рассчитывать.

И теперь, горько глядя перед собой, он думал...

Он поймал себя на мысли о том, что все в прошлом и что он не жалеет об этом.

Простите, дамы.

* * *

*

Вступив в военную службу, как то рекомендовали руководители тайных обществ, Лунин отдалился от центров обществ и тем самым невольно выразил мысль о несогласии в методах и о недоверии к ближайшим результатам.

Но он был снова близок солдатам, он не мог не думать об их судьбе и мыслях и думал об этом; он полагал, что впоследствии сможет изложить свои соображения в письменной форме и это будет полезно не только ему.

Он наблюдал деятельность польских революционеров, незаметно помогал их сближению с русскими друзьями, тесно общался с ними — и ясно видел их ошибки, в тех или иных чертах параллельные ошибкам старых товарищей; но советовать тут было еще труднее, ибо сам он был не поляк.

Лунин ждал, ждал дела, тайно искал его; но настоящего применения его силам не было.

И вот, не совершив самого дела, следует принять кару.

Вошел прежде невозмутимый лакей и довольно взволнованно доложил:

— К вам графиня Потоцкая!

Гостья была необыкновенная; у Лунина, однако, хватило ума спросить:

— Владелица Вилланова?

— Да.

Стало быть, старшая.

Однако, что бы это значило; надобно быть ко всему готовым.

В сущности, визит графини мог быть истолкован как простое неофициальное изъявление дружеских чувств — пусть не совсем принятое, но... мало ли что бывает между друзьями; Лунин сам сейчас жил в пределах Вилланова, его особняк был в сфере видимости графини, и это еще более облегчало этикетную сторону: «по-соседски»; мало того, не она, а он в нынешнем положении выглядел неучтиво, ибо ее визит тотчас же напоминал о том, что он, живя рядом, «совершенно забыл своих хороших друзей».

Как он и полагал, именно эти преимущества она использовала для первого приступа; неловкость ее прихода была искуплена «непринужденными» фразами:

— Однако же, дорогой Лунин, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе; имея основания считать, что вы за что-то сердиты на нас, слыша постоянные вопросы о вашем здоровье и причинах вашего отсутствия, я решилась наконец объяснить с вами, узнать.

Все это она говорила быстро, входя, снимая перчатки, не глядя на Лунина — чуть принужденная в самой своей веселой непринужденности; во всем ее облике была тайная забота, ощущение трудности имеющего быть разговора.

— Садитесь, — с улыбкой и своим спокойствием стараясь облегчить, смягчить первые минуты, говорил Лунин; он едва успел сменить халат на более или менее пристойную венгерскую куртку, другого ничего под руками не оказалось.

— Но он великолепен; «садитесь»! как вам нравится! после всего — «садитесь»!

Ее слегка морщинистое (для дневного и близкого взгляда) лицо выражало искусное оживление; она по-прежнему смотрела чуть вкось, в лоб, на волосы Лунина.

— Я боюсь, графиня, попасть в ваши мемуары,— смеясь, говорил Лунин.— Когда столь тонкая ценительница пускается в воспоминания...

— Будьте уверены, нынешний разговор не пойдет туда,— вдруг прищуренно взглянула графиня — и Лунин спокойно замолчал, ожидая продолжения.

— Вы, конечно, знаете, что я не совсем равнодушна к вам,— отрывисто сказала Потоцкая, глядя на Лунина.

Он доброжелательно кивнул, не глядя на нее.

— Я это говорю для того, чтобы сразу раскрыть все карты и устранить неясность. Речь пойдет не обо мне, а о моей дочери.

Лунин взглянул — и снова отвел глаза, трогая усы.

— Натали горда, она полячка; она ничего не говорит мне, но все ясно, не так ли?

— Вероятно.

— Отчего вы не бываете у нас, скажите прямо?

Избранная ею манера мгновенного перехода от приятной игры к прямой сути была верна, но тяготила его; он с досадой входил в этот тон откровенности, властно навязываемый теперь уж самой Потоцкой. Уж этот женский натиск.

— Вам известно, графиня, что я не пара Натали; я в конечном итоге пусть хорошего рода, но простой русский дворянин, мое состояние хотя и не плохо и я даже последнее время привел его в порядок, но...

— Оставьте. Вы не уважаете женщину; я полагала, вы в высшей степени порядочный человек, и только поэтому я здесь. Разве я могла бы быть столь откровенна, если бы не рассчитывала на ответ? говорите искренне; прошу вас. Наталья сильно больна... поэтому я здесь. Участь дочери выше моего самолюбия. Я...— У нее вдруг дернулся

угол рта, она смотрела вкось; но вот уж справилась с собой. — Впрочем, коли вы ничему не верите...

— Но не вы ли...

— Оставим тот разговор; сейчас не до этого; вы понимаете.

Лунин думал, слегка развальясь в кресле и глядя чуть в сторону; впрочем, во всей его вольной позе был тот неповторимый оттенок почтительности при не совсем молодой даме, который мог устроить королеву.

Однако сама по себе длительность молчания была бы уже неприличием в этом положении.

— Дорогая графиня, — проговорил наконец Лунин, — вы не знаете, как мне трудно. Прикажете, я немедленно отдам жизнь за вас и за вашу дочь.

— Слова.

— Нет, не слова, — немного нахмурился Лунин. — Вы забываете, с кем имеете дело. Вон висит пистолет, он заряжен; достаточно вашего намека.

— Ну, ну, Лунин, верю; вы и верно способны на любое безумство, нет надобности беспрестанно подтверждать это.

— Но я это говорю не просто так; может быть, вы считаете, что я совершил какое-либо сомнительное действие относительно вас, вашего семейства, вашего друга и родственника Сангушки; если так, я готов поправить это своей смертью или любым другим способом, который вы сочтете возможным.

— Кроме?... — усмехнулась Потоцкая.

Она не произнесла неприличного слова «женитьба», но оба они мысленно поставили его в ее паузу; оба они были светские люди и слегка покраснели от этой чрезмерной откровенности.

Однако графиня решительно продолжала:

— Лунин, мне нечего терять; вы сами видите, каков разговор, он непоправим. Разумеется, вы сейчас можете

вновь сказать, что вы боитесь отказа, что вы недостойны и прочее; однако же почему вы не *пытаетесь*? не пытаетесь даже узнать косвенно? есть тысяча способов выведать желания родителей девушки, даже еще и не делая прямого предложения — то есть не рискуя уязвить свою гордость, получить отказ, если вы так боитесь его (при вашей-то смелости); но вы не делаете этих попыток; отчего? *вот* что хотела бы я знать.

«Слишком много ты хочешь знать», — подумал Лунин, не опуская глаз.

Он молчал лишь мгновение, но этого было достаточно, чтобы она успела снова заговорить:

— Разумеется, я не буду вас долее мучить; могу ли я считать, что ваше молчание означает *полный отказ* от таких попыток? разлюбили вы Натали или никогда не любили ее — это ваше дело; надеюсь, вы не считаете, что в том ложном положении, в которое я сегодня поставила себя перед вами (я, правда, надеялась на ответную искренность, но раз ее нет, то вся эта сцена должна казаться более чем странной), — что в этом положении я еще стану допытываться о ваших истинных чувствах; но дочь любит вас, она страдает... она теперь очень больна — и я прошу вас понять меня. Меня волнуют не ваши чувства и намерения, а судьба моей дочери; только с этим я пришла сюда. Моя жизнь уж пошла на закат; я хотела бы, чтобы Наташа была счастлива. Я знаю, что такое для женщины жизнь без любви в браке — тем более для такой хорошо воспитанной, доброй и благородной девушки, как Наталья; жизнь с нелюбимым мужем, тайная любовь вне брака — это не для нее. Она умрет от этого — и это не преувеличение, я знаю, *что* я говорю. Вы, я полагаю, не сомневаетесь, что Наташа, при желании, может иметь на выбор прекрасные партии, да и нынешний — *пока* нынешний! — необъявленный жених ее, князь Сангушко, ничем не плох. Но я хочу знать.

— Графиня, поверьте, — глядя в сторону, сказал Луний, — я бы *все* сделал для Натали.

— Как это понимать? что вы *ничего* не можете?

— Да, — после некоторого молчания сказал Луний.

Пальцы его, перебиравшие по ручке кресла, остановились.

Графиня помолчала.

— Надо бы и уходить, но что-то я ничего не понимаю, — просто сказала она. — Мишель, разрешите задать вам еще вопрос.

— Задавайте, графиня.

— Вы любите Натали?

— Да, я люблю Натали.

Она помолчала, соображая.

— Вы *так* дорожите своей свободой?

— Пожалуй.

— Но ведь не это главная причина?

— Да, пожалуй, — уже откровенно неохотно отвечал Луний.

— Я принуждена задать вопрос, совершенно выходящий за рамки всего принятого. Этот разговор наш — последний, и я должна.

— Да.

Кроме всего, она была и просто заинтригована как женщина: тут было и любопытство. Но преобладал страх за дочь.

— Вы, быть может, причастны к тем... к тем событиям в Петербурге? это тотчас бы разъяснило дело; я успокоилась бы, я вновь поняла бы, что вы благородный человек. Я не понимаю тех людей, которые, будучи причастны ко всему этому, устроили себе семьи, родили детей. Эти Волконские, Муравьевы... Вы из-за этого?

Луний помедлил, обдумывая свои слова.

— Графиня, наконец я имею способ ответить вам с той же степенью откровенности, с которой и вы пришли

ко мне, и доказать вам свою привязанность и доверие. Да, я... *был* причастен. Уже несколько лет, как я отошел от тайных обществ, видя заранее их гибель и бесполезность для нынешнего положения России; однако же несомненно, что имя мое явится на следствии с неизвестным исходом.

— Но *кто* же еще состоял с вами, кроме двоюродного брата, Волконского и всех, что уже известны? уж не здешние, не поляки ли? — с невольным страхом спросила Потокая.

— *Этого* я вам сказать не могу, — нахмурился Луни. — Я вам сказал о себе; что ж. Общество раскрыто, жизнь не дорога мне. Но далее — не моя тайна. Не думайте, что я выражаю к вам недоверие; но есть правила.

— Однако вы не слишком любезны, хотя тут и правила, — не удержалась та. — Вы преподносите легкомысленной женщине, так сказать, наименее вам дорогое — себя; об остальном молчите. *Так-то* вы доверяете мне.

— Дело серьезно, графиня. Вы неопытны в этих вещах; случайный разговор, оброненная фраза... мгновенное тщеславие *знания*, о чем вы сами тут же пожалеете, но будет поздно. А главное, я полагаю, что ничего такого не будет, и *полностью* доверяю вам, верьте мне; неужто вам мало моего доказательства? Но слово есть слово, — терпеливо говорил Луни.

— Вы несносны в своем мужском самомнении, — задумчиво сказала графиня. — Однако же суть теперь не в этом. На что мне ваши тайны?

— Вы правы.

— Теперь я вас понимаю, но от этого не легче.

— Я счастлив, графиня, что ваше мнение обо мне снова поправилось.

Графиня взглянула на него с той ошеломляющей, оголтелой «интуицией», которая иногда дается женщинам на кратчайшие и смутные, удалые мгновения.

— Вы не всё открыли мне, — сказала она с той ут-

вердительностью в голосе, которая не предполагает даже возможности, даже тени вопроса, *так* все тут ясно при полном отсутствии самого «факта».

Только любовь к мужчине и детищу, только мгновенный наплыв, острота и опасность жизни, только нелепый, неслыханный блеск прозрения позволяют...

— Скажите мне, *кто* вы, Луний?

Он пожал плечами.

— Если бы я знал достойный ответ, графиня.

Она помолчала.

— Да... вы правы. Нельзя говорить об этих предметах, — просто сказала она.

С ее уходом он вновь в рассеянности подошел к окну; на той стороне, разумеется, слонялся под деревьями некто в черном.

«Дама неосторожна; сегодня же в их проклятом Брюловском будут толковать о ее посещении», — машинально подумал Луний.

Он знал, что все это время за ним следят, и ему доставляло некоторое удовольствие не подавать виду, что заметил, и дурачить шпионов. Правда, были неловкости; конечно, графине Потоцкой по этой части ничего не грозит — разве пройдет глухая сплетня, но это уж... по *другой* части; а вот Антон Яблоновский полюбил Лунина, то и дело зовет в гости и не понимает, почему тот отказывается. Приходится порой все-таки являться, чтобы не возбуждать подозрений в обратную сторону — не давать им увидеть, что он заметил слежку. Яблоновский все равно им известен.

Еще одна трудность — долги.

Раньше Луний довольно легко брал в долг, когда предлагали (сам он не любил просить): ему давали с удовольствием, усвоив, что отдает аккуратно.

Теперь Луний стал отказываться брать деньги; и даже

в вист, в фараон, проиграв, отдавал тут же, что было уж вовсе не принято.

Все посмеивались над его новым чудачеством, иногда старались идти наперекор ему; но он был упрям...

Он отошел от окна.

«Кто вы, Луний?»

Он усмехнулся грустно.

* *
*

Как-то он шел по улице, думая о своем; попался знакомый из виленских.

Луний остановился, по обыкновению улыбаясь; но только он хотел спросить о здоровье, о погоде «на Немане» и о прочем, как вдруг заметил на лице у приятеля отчуждение.

— Знаешь, мне теперь некогда, — довольно развязно сказал этот полковник — и Луний был неприятно удивлен: помня его характер, с ним никогда не решались брать этот тон. — После переговоров, — улыбнулся полковник и, даже не взглянув более, пошел далее.

Луний остался в положении человека, который обратился к кому-то, а тот прошел мимо, — и первый растерянно смотрит вслед.

Начальным движением было — догнать и «влепить» затрепину; но затем он понял, ухмыльнулся и двинулся своей дорогой.

Вероятно, тот полагает, что ныне пощечина от Лунина будет лишь способствовать продвижению в генералы; для чего помогать ему, пусть сам потрудится.

Но они, смеясь за его спиной и думая, что он еще пыжится, не ведая о грозе, а она — вот она, и они заранее представляют его падение, — они не знают, что он даже хочет этой «грозы», что он мирно готов к ней.

— Должен признаться, я долго отбивал тебя, — сонно улыбаясь красным лицом, говорил Константин, заложив руки за фалды и вразвалку ходя по кабинету. — Почти в каждом письме что-нибудь есть про тебя; смотри, Луний, неохота мне отдавать тебя ему в руки, а как бы не пришлось. Он там всех пересажал в казематы, заковал, напугал — давно такого не было; не ожидал от него этой прыти. Отца убили табакеркой, и ничего — лишь двух-трех разослали в поместья; а тут... жив и лютует, — вспомнил он расхожий пример. — Уж это... отречение... кто знал, что брат Александр в своих завещаниях столь возьмет всерьез мою женитьбу; а то быть бы мне царем, а тебе — из первых людей. Люблю таких, как ты, — «простодушно» говорил Константин. — А теперь — каземат! Требуешь! Шутись ли — император! — прорвалось у великого князя. — Правда, что не очень мне нужна русская императорская корона; командовать медведями... тонуть в этой грязи, бедности, в этом снегу, — задумчиво продолжал Константин. — Предпочел бы быть польским монархом, но и этому не бывать, так что уж надобно смириться, — говорил он с полуоткровенностью досады и добродушия и со спокойным сознанием, что ни один из присутствующих — ни Луний, ни генерал-майор Кривцов — не смогут повредить ему. — Что теперь делать? каземат! — как-то добродушно-наставительно повторил он, повернувшись на каблуках и с неким ласковым любопытством заглянув в лицо Лунина.

Луний покосился на тучного, белесого, моложавого Кривцова; у того в лице было нескрываемое прохладное, отчужденное любопытство, как у наблюдателя при виде запертого в угол, еще здорового и красивого зверя, которому сейчас нанесут смертельный удар, но на миг остановились, чтобы еще «полюбоваться» на него — живого и безобидного.

Луний не без напряжения презрительно усмехнулся и вновь стал смотреть на бывшего цесаревича.

— Что же будем делать? а? — слегка «базаря», слегка «подлаживаясь» под Лунина, как под расторопного и ловкого, но провинившегося слугу, спрашивал Константин.

Луний сейчас с неудовольствием отметил в его поведении по отношению к нему некий тот же «штрих», что был у самого Лунина в отношении подчиненных.

«Кончатся эти... иерархии», — подумал Луний.

Кривцов вышел, Константин все-таки использовал это:

— Не хочется, прямо скажу, не хочется тебя отдавать ему. И при себе хотел бы видеть; и, гляди, сболтнешь лишнее — как мы о том о сем говорили у генерала Альбрехта, мечтали о королевстве... о высшей власти?.. а? — «пытливо» посмотрел он на Лунина, весь как бы растворенный в этом своем «простонародном» стиле.

— Я не болтлив, ваше высочество, — как раз при возвращении Кривцова сказал Луний — и тут же заметил, как мгновенно успокоился великий князь.

«Теперь отправит», — подумал Луний.

Кривцов, конечно, понял, о чем шла речь, и откровенно покачал головой, не одобряя бравады Лунина: если бы Константин еще опасался его «искренности» перед Николаем о польских разговорах, то он, по всей вероятности, еще продолжал бы «драться» за Лунина; теперь же все ясно. Константин всегда верил слову Лунина, и в нынешнем положении это резко оборачивалось против последнего. Молчал бы, дурак, а теперь пропал, — прочел он в лице презрительно-отчужденно, даже с тенью брезгливости усмехнувшегося Кривцова.

Луний взял в толк его гримасы и жесты, а после вновь обратился на Константина.

Тот, было видно, формально еще ничего не решил; он по-прежнему благоволил к Лунину.

— Я должен тебе сказать, хотя ты и успокоил меня,

что я все-таки хотел бы тебя спасти,— сказал Константин.— Но не вижу возможности... Ты прочел вопросные пункты?

— Прочел.

— Как, ответишь?

— Разумеется, отвечу; не знаю, удовлетворю ли.

— Знаю я тебя; никого не назовешь.

Лунин пожал плечами, поглаживая усы.

— Такие ответы ему не нужны; придется арестовать тебя и отправить с фельдъегерем, с казаками, а это знаешь что такое значит? уж он умеет изымать ответы... Откуда такая прыть? — повторил он.

Они постояли.

— Вот что; пока пиши ответы, да, пока нет фельдъегеря, не хочешь ли чего? ну, на охоту пойти не хочешь?

Кривцов весь пошевелился, не без невольной зависти глядя на Лунина — бывает же всю жизнь отчаянное везение людям, недостойным удачи; Константин добавил:

— Только шалишь, брат. Молча не уедешь. *Я беру с тебя честное слово, что ты вернешься.*

Мгновение Константин и Лунин глядели один на другого — тот «хитро» и торжествующе, Лунин — в смуте; «глуп, глуп, а свое знает», — подумал он.

Убеги Лунин, Константин, может, перекрестится в облегчении и соблюдет свою великокняжескую, сюзеренную милость, расположение к этому гусару, да и насолит Николаю, а тот... не потребует же тот брата к ответу перед своим пресловутым «следственным комитетом»; но Лунин и бегство? Лунин и нарушение слова?

«То-то, брат, — говорил взор Константина. — Слова словами, дуэли дуэлями, гусарство гусарством, а увидим, как-то ты завертишься, спасая себя от более серьезного, чем пуля «дуэлиста». Довольно играть игры, иди спасайся. А нет, пеняй на себя», — говорил взор.

— Без честного слова не отпущу, — снова сказал Кон-

стантин.— Я не стал бы ночевать с тобой в одной комнате — зарежешь; но честному слову твоему верю: вопи и генерал будет свидетель, — смеясь, добавил великий князь.

Кривцов угрюмо пожал плечами; он, как дежурный генерал, к тому же замещающий отбывшего на неделю Куруту, который *спросит*, предпочитал бы немедленно запереть Лунина на гауптвахту. Именно, слова словами, игра игрой, а для верности.

Константин снова усмехнулся, заметив лицо Кривцова; но стоял на своем:

— Даешь слово?

— Разумеется, даю и, разумеется, вернусь, — с досадой отвечал Лунин.

— Вот и славно, — возразил Константин уже без прежней ухмылки и с закипающим некоторым тайным раздражением. — Только *усвой*, братец... пощады не жди. Я сделал все, что мог, даже более.

— Вы правы, ваше высочество.

Константин смотрел на него.

— Ка-а-аков! — услышал Лунин вслед спокойно-презрительное.

* *

*

Дремля в кибитке рядом с усталым фельдъегерем, слушая трудные всхлипы копыт двух казачьих лошадей за спиной, Лунин с особым пристальным безразличием в сердце вспоминал последнюю охоту, расставание с лесами, горами, с медведем, который не подпустил близко — ушел в свою чащу; вспоминал не самое раннее, но отроческое детство — аббата Вовилье, то в глубине тамбовских степей, то в сумрачном петербургском доме толкующего об иезуитах, об их стремлении спасти небесный мир любыми земными средствами; по связи с ним думал о Жозефе де Местре, о русских католиках — юном князе Гагарине, Чадаеве и иных; о красоте мадонны, о силе знания, обра-

щенного к стопам веры. Вспоминал детские тамбовские игры — лесочки, ивы («ветлы»), бедную реку, цепких раков под берегом, церковку, белоголовых смуглых детей, сторонящихся барича, желтое поле, волнами идущее к смутному горизонту, согбленных крестьян, чуждых мудрых правил католицизма, живущих в ином измерении, чем отец Вовилье; вспоминал матушку — ее страх перед чем-то; Петербург, Вильно, Тульчин, Одессу, Киев, молодого, светлого Муравьева, забавы юности, бородинский бой; впрочем, о боях он если думал, то сухо: гораздо более «в настраение» были те зеленые, золотые, алые, голубые, туманные отроческие годы, их глубина; между прочих воспоминаний они все входили, входили в душу, как лейтмотив у «Беетговена».

И она; о, она.

Ее образ и в эти немногие дни, часы приобрел уже некую тихую идеальность — отрешенность от бурь, от всего «земного»; она была, она сияла в душе — и он знал: это навеки и навсегда.

Они ехали; Петербург — на четвертые, пятые, а то на шестые сутки: распутица.

Еще три дня; много.

Он ехал; близ Ревеля сделали отдых: мрачный возница чинил хомут.

Лунин вышел — и вдруг (хотя в его расположении духа следовало ожидать этого) был поражен всегдашней мощью весны, сиянием важной, чужой природы.

Дорога шла вдоль высокого берега, и время от времени открывалось беспокойное, но при этом как бы задумчивое желто-серое Балтийское море с пеной на гребнях. Оттуда веяло отчужденной свежестью; теперь, когда Лунин подошел к обрыву, он вдруг увидел всю дальнюю даль черно-желтого, серо-желтого, желто-зеленого от прорывов солнца меж белыми облаками и серыми тучами ровно и мощно шумящего моря. Под обрывом не сразу вода, а — яр,

заросший молодыми деревьями; был апрель, и природа вся как бы нарочно омертвела перед бурным зеленым кипением; снега уж не было, но на всем еще ощущалось то теплое, сухое оцепенение, которое предшествует новой зеленой жизни. Море продолжало свободно меняться в отсветах, деревья стояли с уже легкой, корявой и словно пыльной — а не набухшей и влажной сверху — корой, прошлогодние листья под ними тоже были как бы пыльны и сухи; уже суетились в ветвях глянцевиные, черные с синим, черные с зеленым отливом скворцы (недалеко человеческое жилье), орали грачи и серо-белые чайки, трещала какая-то мелкая птица; небо было неровно облачное, но во всем чувствовался северно-весенний избыток, разлив, прилив, напор, плотность света. Листья шуршали, скрипели под прямым, густым желто-белым солнцем, светлые стволы и более темные ветви, еще все голые, безмолвно и таинственно простирали себя к небу; в глубине яра, там, между бледным балтийским песком и самым обрывом, еще темно и глухо; кажется, виднелся еще и снег.

Под самыми ногами затаилась буро-желтая прошлогодняя трава; она тоже суха и готова к «чему-то»; почва же под нею влажна и тяжела.

— Э, ваше высбродь, — вдруг сказал над ухом казак.

Лунин оглянулся; бородатое лицо было зло, расстегнутая длинная шинель была заляпана мокрым песком, синие широкие шаровары — тоже; короткие сапоги совсем съехали гармошкой, в руке — треххвостая плетъ, другая ладонь на эфесе — придерживает, чтоб ножны не волочились по сырой земле, и весь вид — совершенно несоизмеримый с тайно живущей природой.

— Чего тебе? — нахмурился Лунин на его грубость.

— Чего; мне ничего, — отвечал немолодой казак. — Знаю вас. А ну изволь вернуться, слишком далеко зашел... Не уйдешь теперя. К стенке он норовит, гляди. Яры-перяры. Иди назад. Неча теперя, надо раньше было.



Лунин выслушал, молча глядя; надобно было привыкать.

Однако же он сказал негромко, но с возможной внушительностью:

— Чего орешь, дурак. Я еще не осужден, скотина.

Казак ждал и обрадовался:

— А ты не тычь! Ишь высокобродь! Я таких бродей знаешь... — Он был нарочито заборист. — Вот теперь доложу: оскорбление при исполнении. Понял или как? Тебе еще налепят. Оскорбление, и все. *Ну пошли!*

Он вдруг намеренно цепко схватил Лунина за рукав — тот столь же резко «отхватил» руку и, краснея, устоял на бородастую «рожу».

— А ты не дергай! — тут же повысил тот ломаный, злобно-куражливый голос. — Ишь дергает! а если пашкой?

Он на треть вынул блеснувшую пашку и, подержав мгновение, опустил назад; затем повел плетью, болтавшейся на ремешке на кисти:

— Видел?

Он прихватил, приподнял плеть.

Лунин хмуро посмотрел и пошел к кибитке; весь разговор с казаком как бы перевел его в совершенно иной пласт жизни сравнительно с тем, в котором он находился минутой ранее.

Полусонный фельдъегерь, поручик штаб-интендантского ведомства, накинув шинель, прохаживался туда-сюда рядом с лошадьми; казак, молча шедший за Луниным, подошел и таким тоном, будто разговор и не кончался, заговорил:

— Ваше благородие! Прошу записать. При исполнении служебного долга! Сопротивление и оскорбление! Прошу покорно, ваше благородие!

— Что это значит, сударь? — отчужденно обратился не юный уже поручик к Лунину; кутас на кивере был потрепан и скошен. Лунин подумал, что, будь в его эскадроне,

он сделал бы замечание; для военного лучше более существенное, но менее заметное, чем неисправность кивера. Первый приезд командира полка или дежурного генерала — и гауптвахта или унижительный выговор. «За *этими*, видно, не больно смотрят», — усмехнулся про себя Лунин, думая о том, что теперь ему следует помнить, что ему не до кивера.

К *скольким* еще таким *мелочам* придется «привыкать»; это худшее. Он уже *знал* такое о жизни... Гордо звучит — был ранен на поле боя, пострадал за свободу, был в тюрьме за сопротивление правительству; и всякий, при ком говорится об этом, невольно представляет сверкающего эполетами бойца, падающего под пулей, с андреевским знаменем в руках, узника, который глядит вдаль, ухватившись за прутья решетки.

Но Лунин-то уже знал, что реальная рана — это лазарет, дурной запах, кровь, стон, что тюрьма — это, по всей вероятности, куда хуже, чем гауптвахта, а даже и на гауптвахте героические и самолюбивые чувства испытываешь один, два, три... ну, четыре дня («я был прав и горд, я не уронил чести, и я страдаю»), а потом начинаются будни, душевный спад, теснота, смрад и скука — великий убийца всего гордого и крутого — всего, что выдержало любой внешний натиск, боль, напряжение.

Лунин знал, насколько сидеть в осаде страшнее, чем быть в атаке, насколько вздор жизни, грязь, неустроенность, повседневность страшнее для духа, чем живой «искус», насколько разнится сам воздух, атмосфера около человека павшего, «не успевшего», от воздуха, атмосферы около человека успевшего, насколько унижения от раба, от холуя того холуя, который холуй того холуя, который победил тебя, — насколько они страшнее прямой и твердой угрозы и даже быстрой казни (да, быстрой, а — тоже — не той, которой люди ждут каждую ночь, каждый рассвет месяцами, и то ли она будет, то ли не будет); да, знал.

На что же он надеялся?..

Он хмуро смотрел то в лицо, то на кивер поручика; тот в раздражении повторил:

— Что это значит, сударь? извольте объясниться, мы не на сеансе гипноза. В вашем положении...

— Ничего это пока не значит, сударь мой, — отвечал Лунин. — Извольте сказать уряднику, чтоб он впредь был вежливее. Я знаю ваше предписание, не будем затевать ссоры.

Предписания он не знал, но знал, что такие слова на конвой, фельдъегерей и иных егерей действуют именно как гипноз.

В свою очередь поручик вспоминал соответственное место из предписания, не мог вспомнить и подумал, что, черт его разберет, или он что-нибудь забыл, или есть еще другое, тайное предписание, которого он не видел. Никогда нельзя поручиться, не посланы ли рядом с открытыми письмом и инструкцией особой почтой еще какие-либо инструкции и не посланы ли к этим тайным какие-либо еще более тайные, совершенно отрицающие, или открытые — первые или, наоборот, тайные — вторые, — или совпадающие с теми или другими. Кроме того, разным начальникам разными начальниками могут быть посланы разные предписания. И особенно трудно с такими вот арестантами — людьми со связями при дворе, в высших сферах администрации, с родством, восходящим ко всяким статс-фрейлинам, а то и к царствующей фамилии.

Лунин с усмешкой читал эти мысли на недовольном и все еще полусонном лице поручика; окружающая весна, еле видимый пар от земли, дальняя чухонская деревня в мареве, облака, солнце, гул моря, весь этот желтый и тихий, и новый, и смутный свет мира как бы действовали на него, на поручика, убаюкиваяюще и глухо; в его лице была та особая весенняя бестолковость, которая является у людей, вынужденных проводить это время в физической пра-

здности; а тут еще этот раздражающий, ненужный ему разговор.

— И чего ты, Маслаков, право,— как бы устало сказал офицер, сквозь кислую полудрему обращаясь к лакейски вытянувшемуся перед ним — всего лишь поручиком — уряднику.

«Какова жизнь! *Как* бы он тянулся передо мною, подполковником,— и ведь я еще в форме! — еще только сутки (двое?) назад! Однако не время для философии», — подумал Лунин.

— Чего пристаешь? оставь, пожалуйста. Если хочешь, пиши рапорт, а не жалуйся устно без надобности.

— Виноват, ваше благородие,— деревянно сказал Маслаков, мгновенно оценив обстановку.

— Нет, ты прав, что оказываешь служебное рвение. Я доложу по начальству. Но, если хочешь, пиши рапорт письменно, а не жалуйся эдак. Грамотен?

— Не много, ваше благородие!

— Что ж ты, уж чин, а грамоте не умеешь? — продолжал недовольно-сопные переговоры фельдъегерь.

— Мало, ваше...

— Ну полно, завел: «ваше, ваше». Ступай.

Маслаков отошел к своей лошади, наготове стоявшей у ближнего дерева.

Второй казак, молодой и безразличный ко всему разговору, будто его, этого разговора, и не было, сидел на «ступеньке» фельдъегерской побитой кибитки, подперев щеку ладонью, и смотрел вдаль — на море.

Мрачный возница почти справился с хомутом.

Лунин вошел, уселся в угол — и тотчас услышал снаружи, со «ступеньки» — тихое и простое:

По Дону гуляет...
По Дону гуляет...
По До-о-о-ну гуляет
Казак молодой...

Он усмехнулся и прикрыл глаза.

Фельдъегерь усаживался с другого боку, отчужденно бросив на Лунина сонно-скользящий взор.

* *

*

Александр Чернышев сидел за столом и не без любопытства и некоторого смущения смотрел на дверь.

Он думал о простом.

Он думал о том, как они вместе с Мишелем Луниным, Васенькой Левашовым и другими водили медведя вдоль Черной речки, затевали драки, исполняли пари, ездили к сильфидам и нимфам, давали концерты под окнами вдовушек, задевали офицеров из гренадерских полков, говорили о вольности и о конституции, осуждали Венский конгресс и рукоплескали новейшим «либеральным» идеям, смеялись над стариками; как бочками пили шампанское и клико, как были молоды, веселы. Славное было время.

Он вспоминал, как затем упрекал Лунина:

— Знаешь, Мишель, не моя забота, но я люблю тебя. Ты видишь, я не сочувствую царю, ретроградам; да кто же им ныне сочувствует? но жизнь есть жизнь, Россия есть Россия, молодость наша прошла; давай сделаем для себя, для своих семей, если хочешь, и для отечества все, что ныне можно сделать при нашей жизни и обстоятельствах. Надобно лепить фортуна, друг мой. Ты энергичен, умен, много можешь; давай будем и далее дружить, заключим союз. Содействовать, говорить «ау». Глядишь, и нам — и таким, как нам, — польза, и отечеству не во вред. Что, лучше, что ли, если у власти так и будут полоумные старики? да они погубят Россию. А тут мы... Я знаю, ты все мечтаешь о журавле в небе; но никому, как тебе, знакомому с историей всех обществ новейшего и древних времен, искушенному в сердце и правах человеческих, бывшему, как и я, на войне, видевшему плоды революций и

реставраций, — никому, как тебе, не должно быть ясно, что честолюбие, желания наши безмерны, что, даже сразу достигнув многого, ты будешь вечно хотеть больше, — поймав журавля, захочешь всю стаю, переловив стаю, захочешь жар-птицу; да тебе ли я изъясняю это? тебе ли, с твоим и честолюбием, и умом? Ты сам, наверно, знаешь. Синица в руки — лучше, друг мой. Попомни мое слово. Истинный путь к журавлю — через синицу, особенно при нашей российской жизни. Ты разве не веришь мне? — откинулся он от красного стакана бордо, несколько подозрительно следя взглядом за чуть ухмылявшимся Луниным с его трубкой.

— Ты, конечно, прав, Alexandre, — помедлив, дружески-любно сказал Лунин. — Прав со своей колокольни: так говорят мои мужики.

— Со своей колокольни?

— Ну да; то есть ты довольно откровенно выразил то, что твое понятие — не понятие, а ощущение, чувство жизни.

— Ну, а ты? — с некоторой гримасой спросил Чернышев.

— У меня другое чувство, — улыбнулся Лунин.

— Ну да: дуэли, медведи, выходки? Бравые ответы начальству? но пойми, что это игра. Мы не дети.

— Ты прав.

— Ты любишь опасность, но, кроме того, требуется жить дальше. Раз живы, будем жить.

Лунин улыбался, «попыхивая».

— Может быть, ты мечтаешь об оппозиции? бунте? о высших ролях в какой-нибудь революционной партии? это похоже на тебя; но пойми, что в России это бестолково. Мне ли тебя учить? Наш мужик убог и забит, страна бедна, армия и полиция верны порядку. (За этим, если хочешь, сотни лет защиты от врагов внешних, народ привык повиноваться власти — какой угодно, даже Грозному и Петру, но лишь бы *крепкой власти*, чтобы она защитила

его от татар, печенегов, варягов, немцев, французоз, ту-рок, поляков, шведов. Карамзин того же мнения.) Про-странства громадны, воды, степь, леса, поля, горы сверх-изобильны; от мысли до мысли, как сказал один умный литератор,— пять тысяч верст. Поди, устраивай тут бунты. Даже Пугачев не прошел дальше Казани, Симбирска, а уж на что был ловок, и чернь была за него. Да что я тебе говорю, боже мой.

— Да, да.

— Вон Европа: не нам чета — и просвещение, и богат-ство, и тесные плацдармы, столь удобные для всяческих свар и бунтов; ну, а что вышло? Бонапарт? Чем же он луч-ше... ну, не Александра — на Александра мы все теперь сердиты,— а Екатерины? Петра? и эти-то, наши,— без вся-ких революций, без этой крови.

— Разве что иногда рубили стрельцов и душили в кре-пости собственного мужа, того же Петра, но Третьего; да не беда,— усмехнулся Лунин.

— Ну, воля твоя; но, если угодно, задушить своего мужа...

— Или убить отца табакеркой...

— Или убить отца табакеркой,— холодно кивнул Чер-нышев,— простительней, чем подвергнуть опасности це-лую нацию. Тем более ты не знаешь русских; французы пошумели и успокоились, а русские тяжелы на подъем, но уж ежели...

— Да знаю я русских,— задумчиво прервал Лунин.

— Теперь об Александре; я не говорю, что люблю его,— я только что сам сказал,— но ты не знаешь России.

— Уж все-то я не знаю,— опять усмехнулся Лунин.

— Ты со своим католицизмом...

— Да оставь мой католицизм; он такой же, как *твое* православие.

— Нет, ты, я вижу, увлечен западным направлением; но я тебе скажу, что Россия...

— Да не увлечен я западным направлением; с чего ты взял? Я просто не люблю татаро-монгольского направления.

— Вот видишь — ты оппозиционер, радикал!

— Как же легко прослыть радикалом, — все улыбался Лунин.

— Ну, оставим; так я... о чем я?

— Об Александре.

— Да, да; он не так плох, в России может быть и хуже, и никто слова не скажет — вот что главное. Ты подумал об этом?

— Это так. Тут ты прав.

— И даже если и хуже, наш долг — быть вместе со своим отечеством и с его правительством, какое бы оно ни было. Иного выхода нет; это так, и только так. Ты не согласен? Иного выхода просто нет; остальное — игры, гибель себе, семейству и самой родине.

— Ты неглуп, Alexandre; ты сделаешь свое.

— Ты снова язвешь меня. Я жалею, что употребил те слова; я думал, ты ответишь иначе. Каждый хочет сделать карьеру, даже последний узник, последний ссыльный на весь жизненный срок; у одного цель — получить лишний ломоть хлеба и миску щей, у другого — стать генералом и обеспечить свое семейство, раз жизнь дает на это права, основания; один хочет стать первым императором, другой — первым революционным диктатором, свергнувшим императора; один стремится приобрести имение соседа, другой — получить Владимира, минуя очередь, третий — сидеть в тюрьме пусть всю жизнь, но хотя бы не в оковах; все чего-то желают, к чему-то стремятся. Так вот, я предпочитаю стремиться стать генералом, чем претендовать на сомнительную славу русского бунтовщика и на то, чтобы получать две миски похлебки вместо одной. И на то, чтобы ловить журавля в небе, которое пусто.

— Ты говоришь так, будто тебя обвиняют, или так,

будто... совершенно уверен, что я есть или буду бунтовщиком,— улыбаясь, проговорил Лунин.

— Дело твое, Мишель; я, как видишь, хотел добра. Далее я умываю руки; встретимся лет через десять... пятнадцать.

— Может быть,— в рассеянности ответил Лунин.

И вот теперь генерал-адъютант Чернышев сидел, ожидая арестованного подполковника Лунина; он, Чернышев, оказался прав. Но кроме любопытства и тайного довольства собою был и неизбежный оттенок смущения, для него неприятный. Он даже еще не выработал, как держаться с Луниным; впрочем, преимущество власти распоряжаться жизнью и смертью подскажет нужный тон, а зависимый человек сам поможет в этом. Чернышев это знал и раньше, а особенно — в ходе этого долгого следствия.

* *
*

Вошел Лунин, за ним у двери, как и следует, остановился конвой с саблей наголо; Лунин медленно приблизился и, высокий и статный, все еще в зелено-голубом лейб-гусарском долмане, хотя и без ментика, остановился перед Чернышевым, глядя на него с еле заметной улыбкой в усы и без вызова, но и без видимого беспокойства; Чернышеву не понравилась эта манера.

Он сидел, обратясь к Лунину своим довольно красивым, большим лицом.

— Садитесь! — сказал Чернышев — и в легком пожатии плеч, и в тоне легкого повышения голоса на «и», и во всей чуть отчужденной манере было: о чем теперь разговаривать... я — вот он, ты — вот он, но — форма.

— На вас имеются показания некоторых видных участников заговора,— вяло сказал Чернышев.— Цесаревич долго отстаивал вас, и государь император тоже хотел до

конца удостовериться: не наша цель наказывать невинных, мы берем любой повод, чтобы доказать невиновность, и ищем лишь истинно виновных,— формальным голосом говорил Чернышев, явно повторяя уже много раз сказанное и оттенком скептицизма в голосе давая понять, что он тут говорит не от себя, а от ритуала, и поскольку имеет перед собою умного человека, то надеется, что его поймут.— Рады были бы, ежели б вы остались в стороне; но дело серьезно, и надобно разбираться. Должен предупредить, что государь не дал указаний к послаблению на ваш счет, и вы вынуждены будете столкнуться с обстоятельствами строгого заключения в крепости.

Говоря это, Чернышев сверху смотрел в бумаги — с таким видом, что, мол, могу посмотреть и на тебя, но ради твоего же удобства лучше не смотреть друг на друга.

Лунин смотрел то на него, то перед собой; на приглашение сесть он ответил без поспешности, но и не остался стоять из самолюбия. Теперь он сидел на стуле боком к столу, явно не нарочито, а лишь по рассеянности положив локоть на край этого стола. (Чернышев время от времени бросал на этот локоть косвенный взгляд, как карточный боец, который видит нарушение правил и надеется, что сосед сам поймет, что замечен, и все устроится без ссор.) Сидел, поглядывая то на голую стену унылого кабинета, то на говорящего Чернышева.

Чернышев терпеть не мог той манеры, когда зависящий от тебя человек разговаривает, будто ты в чем-то виноват; причем не говорит это прямо, а как бы подразумевает во всяческих паузах, в поведении.

А тут уж... в *таком* положении...

Из своего сравнительно уже долгого опыта Чернышев понял, что лучшее в таких случаях с его стороны — тон вежливости.

— Имеете ли вы сделать какие-либо объявления при отправлении в крепость?

— Но разве не получены мои разъяснения на ваши вопросные пункты?

— Ваши разъяснения неудовлетворительны, вы знаете,— устало сказал Чернышев.

Он знал, что эта манера — все известно, все расписано, все повторяется в тысячный раз, а они все хитрят, финтят, ломаются, кривляются, упорствуют, выгадывают,— что эта манера особенно убеждает.

Лунин понял эту мысль, Чернышев увидел, что он понял, но не подал вида, а стал еще более прям и официален.

— Вам придется писать заново. Сначала вы можете писать, как вам самому угодно, но предупреждаю, что в случае, ежели ответы ваши будут таковы, как в первый раз, мы тотчас же пришлем вам более подробные вопросы, из коих вы убедитесь, что Следственному Комитету известно более, чем вы можете себе представить. Будьте уверены, ваши товарищи отнюдь не молчали все время. Говорю это вам наедине, не вижу причин скрывать. А там ваше право.

— Но зачем же ждать следующей бумаги? давайте сразу ваши подробные вопросы,— внешне серьезно, но как бы со скрытой улыбкой сказал Лунин. Как бы: я понимаю, улыбаться теперь неприлично, и вот я серьезен. Он укусил губу под усами, и это выглядело ужимкой. Чернышева все более раздражал его тон.

— Нет, государь и Комитет предоставляют вам возможность искреннего раскаяния,— поведя глаза на бумаги, сказал Чернышев.— Коли вы тотчас же напишете правдиво, чистосердечно, это будет взято к сведению во всем дальнейшем ходе. Коли же будете записаться, это весьма отразится на окончательном приговоре. Ежели позволительно дать совет,— твердым голосом продолжал Чернышев,— то он таков. Слушайте, Лунин. Дело серьезное, пощады не будет. Нынешний бунт — не то, что прежде, и нынешний государь — не то, что те. Коли угодно, более

всего он ценит... искренность раскаяния. Порой его менее занимает подлинная вина, чем нынешнее поведение человека. Произнесите... нужные слова, имена — они все равно известны — и будете поощрены. Вы, такой человек, — что вам обряд? ритуал? заклинание? произнесите. Я, как честный человек, не скажу, что вас совсем простят: дело серьезно, и настроение не то. Но участь ваша будет *значительно* легче. Вы не знаете, *какие* готовятся меры; я знаю это. Поверьте мне, ваша честь после утверждения приговора — коли вы не раскаетесь — подвергнется неизмеримо большим унижениям и испытаниям, чем в первом случае. Вы еще будете вспоминать со стоном, будете вспоминать как благо, как райское послание ту возможность, которая предоставлена вам сегодня. Вы, конечно, полагаете, что я запугиваю; но поверьте, вы вспомните мои слова. Время табакерок и ссылок в поместья прошло. Оно так далеко позади, что вы и вообразить себе не можете.

— Да что, собственно, случилось? Все живы, государь жив, — внешне серьезно сказал Лунин.

— Не все живы, — отвечал Чернышев, по-прежнему презрительно не поднимая от бумаги скошенных глаз.

— Да, Милорадович.

— Не в том дело; ежели вы желаете уязвить *меня*, то это ваше дело, но я вам советую... дело, — сказал Чернышев и рассердился на себя, что сорвался. И это неуместное обилие «дел»; он привык, что его речь в последнее время гладка. — Как, как мне объяснить вам, насколько серьезно... дело; вы все не понимаете, что кончилась александровская эпоха, кончились гусарство, кавалергардство. Видели бы вы своих товарищей... их слезы и откровенность... впрочем, вы увидите. У вас нет семьи; ваше счастье.

— Сестра; братья двоюродные.

— Это не то. Видели бы душераздирающие сцены у ворот крепости. Жены с младенцами на руках; матери...

Лунин, не играйте с огнем. Ваше дело по сути своей пустяковое, вы давно отстали от общества — вы видите, нам все известно; то, что вы там когда-то кому-то, под пьяную руку, болтали о разнообразных там *garde perdue* или *cohorte perdue* * или о партиях в масках, так кто же этого не болтал в свое время; великие князья и те говорили о недостатках правления. «Раскайтесь», — он голосом шутил это слово (принесите дань условности), — назовите кого следует, и все сделано. Они-то вас давно уж называли. Даже ваши... но не буду вставлять имена, это покамест запрещено.

— Так отпустите меня на все четыре стороны. Вы же говорите, что ищете истинно виноватых. А раз вам известно...

— Позвольте вопрос.

— Пожалуйста.

— Приготовьтесь, вопрос этот серьезен. *Пока* в не совсем официальном порядке.

— Да.

— Будь вы в Петербурге, где бы вы были четырнадцатого декабря?

— Я не знаю, где бы я был четырнадцатого, но, хотя, как вы заметили, я давно отстал от общества, я готов отвечать за его действия, — сухо сказал Лунин.

— Это вы и напишете в новом объяснении? — насмешливо спросил Чернышев.

— Конечно. Отчего бы нет? — отвечал Лунин, холодно и без вызова глядя на него.

— Последний раз говорю, вы этим очень повредите себе. Первые же вопросы, письменные и на следствии, опрокинут карточные дома вашего самолюбия; первые же очные ставки... Впрочем, довольно. Совесть моя чиста.

Чернышев подождал, не скажет ли Лунин что-нибудь

* — обреченный отряд (*фр.*).

наподобие: «Да когда же она, генерал, не была у вас чистой», но поскольку тот молчал, то Чернышев лишь добавил:

— Быть может, вы надеетесь на свои связи; это не поможет в данном обстоятельстве. Ваша сестра — весьма действенная дама, но государь непреклонен; просьбы только раздражают его.

Лунин нарочито-устало молчал, оперев голову на руку, локоть которой все еще неприличным образом лежал на столе допрашивающего; однако же Чернышев по странному чувству некоей недоговоренности и особой мягкости, которая тайно гнездилась в нем перед Луниным, продолжал еще:

— Мы здесь с вами потому говорим так долго, что был план запереть вас на гауптвахте, но государь приказал немедленно в крепость, а там не готово... Иначе бы я не стал говорить так долго, — снова сорвался он перед Луниным. Как бы: я говорю не потому, что хочу, а потому, что положение таково. И тем выдал, что именно хочет. — Не желаете называть имена, — понимаю, честь, братья, друзья, это все если не говорят, то держат про себя в первых разговорах, — так расскажите, расскажите, Лунин. Мой совет. Государь слишком запомнил, как он один, и униженный, стоял у дворца, а мимо с хохотом шли мятежные роты; он хочет даже и не имен, а раскаяния. Тем более он помнит ваши дерзости прежних лет. Имена тоже пужны, но лишь как доказательство раскаяния. Что вас держит, Лунин? Упрямство? Тщеславие? Русский человек, даже самый важный и гордый, по природе незлобив и склонен к смирению; и мне странно, что вы...

— Русский, а не холоп, — смеясь, подсказал Лунин.

— Называйте как хотите.

— Отправляйте меня. Чего там. Я полагаю, Потапов и Сукин уже договорились. Однако фамилии... просто Корнель, Херасков и Шаховской. Это классицизм.

— Я же со своей стороны полагаю, что крепость отрезвит вас, но будет поздно.

— Не думаю. То есть не думаю, что отрезвит; стало, и поздно не будет.

Лунин был сух и «беспечен», Чернышев презрителен. Солдат отступил на шаг и пропустил арестанта.

— Из-за двух-трех незначащих слов губите свою жизнь. Возврата не будет,— сказал Чернышев вслед.

Тот оглянулся и молвил «спасибо» с пустой улыбкой.

«И черт с тобой. Так и надо. Даже лучше, что не раскается. Не будем-ка долго мудрить, дело ясное: этого не прошибешь. Получит, чего сам хотел»,— думал Чернышев, смотря на затворившуюся дверь.

* *

*

Закрытый экипаж подкатил к Марсову полю и равнодушно-античному Суворову на его коне, свернул налево на «плавающий» Троицкий мост над взбаламученной си-не-желтой Невой, пересек площадь, деревянно прогремел по мостику рва (эти фонари и черные стрелы — желтые наконечники друг ко другу) и приблизился к Петровским воротам.

Не без жестокого любопытства Лунин прислушивался к себе; увидя стены твердыни, он в серой смуте начал разглядывать красный и дымный, затхлый кирпич, ржавые планки, запоры, ящики со щебнем у приемных ворот с полосатой будкой охранения.

То ли с легким сердцем проходить мимо «цитадели» — душа поблекнет на миг, чтобы затем воспрянуть лишь в новой яркости — «не я, не я; мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий»; но — сидеть в арестантской кибитке и ждать, когда голый зев захлопнет тебя — навеки?! — за своими зубами-решетками, за вековым железом и пыльным камнем!

Лунин дал сам себе слово во все время приемки и прохождения до «самого места» наблюдать себя как бы со стороны; он знал, как давящи будут первые минуты. Можно пикироваться по поводу тюрьмы с приятелем молодости «Сашенькой Чернышевым», но *реально, всамделишно* увидеть этот кирпич, эти желтые, грязно-оранжевые и серые голые стены и будки, эти бурые дома «на территории» с их тоскливо-мелкими окнами, этот оголтелый, линейный двор с этими столбами и круглыми насыпями, с этим отвратительным запахом пыли, железа, сырого кирпича (в недавнее наводнение все было затоплено) и щебня и простых нечистот, с этими унылыми солдатами около «куртин», с этим геометрическим комендантским помещением, на котором не на чем зацепиться взору: уж *себе* бы украсили... нет, нельзя; «классические стрельчатые» окна — не в счет, тут та же подлая *линия*; с этими таинственными молчащими в железных окнах казематами, устроенными в толстых низких стенах; с этим насмешливо-гнувшим сердце собором Трезини, начинающим «малиновый» пасхальный перезвон (o! o!); с сиротливым средь камня площади, ажурным «домиком ботика», мелькнувшим за ним.

Эта невозможная зависимость от солдат — конвоя; ты — предмет, и выражение твоего лица — бодрое или усталое, умное или глупое, отчаянное или невозмутимое, страдающее или презрительное — одинаково принимается как само собою разумеющееся; тебя передают от кирпича к кирпичу, от поручня к поручню, и на тебя в лучшем варианте лишь не глядят.

За воротами его высадили и провели направо, к нелепому «Кавалеру» (как бы загону в стене); тюремщики в приемной и кордегардии смотрели утомленными; брали мерки, водили в пыльные помещения, писали бумаги, велели снять и снова надеть долман, снять и надеть сапоги — заглянули, полезли пальцами, отдали; видно было, у

них нечто не улажено с «обмундированием» арестантов на это время: для кого было, для кого нет, и они выясняли, на миг забыв о нем; он повиновался сдержанно, но видел, что этого никто не замечает; если бы он кричал и бился, было бы то же самое, только двое-трое, по всей вероятности, так же утомленно держали бы его за руки. Опять он шел куда-то меж двух солдат с саблями наголо, опять писали и вымеряли и задавали обыденными голосами вопросы, на которые он таким же голосом отвечал, но *какие* вопросы — убей бог вспомнить через минуту: совершенно таинственные в их бессмысленности; он понимал, что так и надо, и старался именно смотреть со стороны, но все-таки — «весело не было».

Наконец он попал в свой, как говорили писаря, «покой в Кронверкской куртине»; это была — разумеется, тесная и темная — клетка, с двух сторон деревянная — видимо, недавно отгороженная, — с двух сторон сырокирпичная, пол был земляной; стояли низкая кровать с деревянным настилом и тряпьем, покамест сваленным на ней в кучу, голый стол с чернильницей, пером, бумагой стопочкой; было сводчатое окно с решеткой, которое чуть суживалось наружу и при подходе к нему давало понять о внушительной толщине стены; в углу стояла накрытая пресловутая посуда, которая заранее особенно раздражала рассудок; над ней виднелся помятый жестяной умывальник. Тяжелый стул. Черт знает что...

Дверь захлопнулась, картинно и угрожающе прогремели засовы; Лунин остановился среди камеры.

Первое, о чем он подумал, — что он не запомнил ни одного из лиц военных и полувоенных людей, сопровождавших его до тюрьмы и по всей этой грубомощенной территории крепости.

Затем он подумал, что быть внутри этой затхлой камеры все же лучше для души — окончательно, тише, — чем идти по двору, проходить через все «лица», руки; он не-

даром резко готовил себя именно к тем первым, «входным» мгновениям.

Сев на кровать и вновь оглядевшись, он быстро решил, что это его последнее впечатление обманчиво, что оно продиктовано просто чувством завершенности и какой-никакой, а ясности, прочности; а что прожить в этой камере сутки-другие можно без особых усилий, но потом дух новизны и этой самой «прочности» притупится, а «реакция» усталости, тоски и *буден*, которой доступны даже самые опытные и крутые сердца, — эта «реакция», а также голод, холод, сырость, неизвестность о своей судьбе — о замыслах тюремщиков, нравственные и умственные мучения начнут делать свое дело.

Лунин подумал, посидел на кровати, потом вяло стянул сапоги, расправил жалкое тряпье; опрокинулся на спину и стал глядеть в нависший потолок в подтеках.

«Неплохо б выспаться, не часто за последние дни бывает возможность, а в будущем будет ли», — подумал он с внутренней тихой бравадой... повернулся к стене, опять на спину...

И через десять минут он спал, красиво и горестно улыбаясь во сне в крутые усы.

* *
*

«Однако же надо сочинять объяснение, — подумал он, когда проснулся часов через пять и увидел на столе как бы неизвестно откуда взявшуюся зажженную свечу. — Интересно все-таки, так ли много знают, как говорят».

Вскоре он сидел на тяжелом стуле и, время от времени глядя на колеблемое его дыханием пламя, писал своим медленным, тугим почерком.

Потом, откинувшись и подумав, порвал написанное и сжег.

— Подождем, пока сами, — пробормотал он.

Зазвенел засов — и вошел странный для такой обстановки человек с неподвижным и рыхлым, но приветливым лицом — живой человек; сам весь рыхлый и коренастый.

— Я Боровков, Правитель дел Следственного Комитета, — сказал вошедший на вопросительный взгляд оглянувшегося Лунина. — Вы меня не знаете; но я вас... давно знаю.

— Вскоре вас поведут к Чернышеву на официальный допрос, ваш разговор не кончен, — сказал Боровков, — и я хотел бы предупредить. Не бойтесь, я не шпион; я, конечно, несколько рискую, но от *вас* я не жду никаких бесед; вообще прошу вас, Михаил Сергеевич, как можно менее мне отвечать — так будет спокойней и вам, и мне; я теперь действую из желания кое-как облегчить участь... тех или иных людей, но занятие это трудно. Вам же я говорю это, чтобы хотя как-то объясниться.

— Но откуда вы знаете меня? — с интересом спросил внимательно слушавший Лунин.

— Не знать... Лунина. Моя молодость, жизнь, мечты. Вы были... Ну, что там.

Лунин соображал.

— То есть вы хотите сказать, что я был чем-то наподобие вашего идеала, не так ли?

— Да.

— Но вы не выглядите явно моложе меня.

— Мы ровесники.

— Что ж... И теперь вы считаете...

— Я не знаю, что мне считать, — грустно-задумчиво заговорил неловкий и тяжело дышащий Боровков, с невольным как бы рассеянным восхищением глядя на собравшую, слегка настороженную на этом нелепом стуле фигуру Лунина. — Я в затруднении, недоумении; я хотел помочь вам, и в то же время, зная ваш характер, я не ви-

жу, *каким* образом вы могли бы выпутаться из этого дела. В сущности, вы давно уже не принадлежите к нему, хотя в варшавских бумагах прямо (в отличие почти от всех) сразу признали свое личное участие в обществе в прежние годы; но государь требует, главное, раскаяния... а...

Боровков ждал, что Лунин сам подскажет, и Лунин, улыбаясь, подсказал:

— А вы полагаете, что именно на это я не способен. Благодарю вас, конечно.

— Я полагаю... но *что* же с вами будет. Я хотел бы помочь вам. Я могу так изложить обстоятельства, так повернуть ваши показания... от Правителя дел зависит более, чем думают; но для этого надо...

— Все-таки раскаяние. Так?

— Да,— сказал Боровков — и в его слегка восторженных смутных глазах Лунин прочел жестокое, детское: «Я *хотел* бы помочь тебе, но еще более я хотел бы, чтобы ты не захотел ни моей, ни чьей-либо помощи. Пусть самой высокой, помощи... милости. Мы слабы, я слаб — мы люди, но ты — будь *Лунин*. Будь. Останься, Лунин; так много потеряно.

Никого нет.

Ужасная должность, ужасные откровения.

Останься, Лунин».

Лунин улыбнулся.

— Однако не пойму, *кто* из вас Понтий Пилат — Чернышев или вы; да я-то не Христос.

Он, однако, не мог скрыть самодовольства в голосе; это, в нынешнем положении, была благая, благотворная нота — и Боровков почувствовал это.

Он с нарастающим восхищением смотрел на Лунина; он заговорил опять:

— Вас будут закидывать фактами; Комитету известно слишком многое. Бессмысленно не упоминать фамилий, которые...

— Я упомяну фамилии, — улыбнулся Лунин.

— Какие же? — помолчав, спросил Боровков.

— О!

— Не бойтесь же, наш разговор *нигде* не будет записан... даже в моих воспоминаниях, коли таковые окажутся. Я-то знаю, *что* такое запись, записанное слово... Просто нынче вся сущность в том, *какие* фамилии вы назовете и в каком духе, а какие — нет.

— Именно. Вы догадливый человек, — вновь улыбнулся Лунин, начиная есть ломоть ржаного хлеба с таким видом, будто это были бисквиты от повара госпожи Потоцкой. Это придание особенной важности самому обыкновенному своему действию неизменно было комически-обаятельной чертой его манеры. — Но все-таки я поставил за правило — попусту не называть. Вы знаете: у стен уши, и прочее. Кстати, я не уверен, что из этой камеры не слышно... деревянные стены... там в коридоре некие шорохи, толки, возня. Или у меня уж «мания»? — выделил он голосом новомодное слово.

— Нет, вы правы; говорите тише. Из-за перегородок доносится... С вами близко Сергей Муравьев-Апостол, он иногда говорит вслух...

Лунин посмотрел остро — и никак не откликнулся на имя.

— Что до вашего принципа, то он мне слишком знаком. Как же. «Тайное общество, известное впоследствии под наименованием Союза Благоденствия, основано, под другим названием, которого я не помню, в Москве в 1816 году. Основателей же оно я не могу назвать, ибо это против моей совести и Правил». «Прекратив сношения мои с Тайным обществом, в начале 1822 года я потерял из вида все до оногo касающееся», — торжествующе продекламировал Боровков.

— Однако же это мои варшавские показания. Неужто наизусть? — добродушно спрашивал Лунин.

— Слово в слово.

— Мой дорогой, не делайте *ни из кого* героя,— как бы весело сказал Лунин.— Лучше думайте о том внутреннем человеке, который есть в вас самих; есть и в других,— задумчиво кончил он.

— И все-таки есть *разные* люди.

— Так.

— Тут со мною дело; взгляните, Михаил Сергеевич.

Лунин посмотрел; «...Поджио»,— мелькнуло; он быстро поднял глаза на Боровкова.

— Вы *сильно* рискуете...

— Александр Дмитриевич.

— Александр Дмитриевич.

— Не так уж сильно; при всей машине в деле много беспорядка и вольностей, как всегда в России; но, Михаил Сергеевич, мы уговорились.

— Да; и я умолкаю.

Он раскрыл — и напал: «Потому-то я запыхал, предлагал восстание, но кому, К. Волконскому!» «Кто такой К. Волконский?» — подумал Лунин. «Но сие я не столько приписываю к вине своей, сколько все мои неистовые при сем убеждения. Слова, а в особенности как то о намерений моем привести все общество к действию и о покушении на преступления, о коих говорил. После, уже и поздно, увидел, что все сии мнимые гонения были тою твердою и спасительною мерой, принятой Государем Императором нашим к спасению России и нас самих! Его Императорского Величества долготерпением приведены мы все в раскаяние, и Великодушным производством суда Нашего, приведены были ко всем чистосердечным показаниям нашим! Пояснением сего, поясняю и те чувства все, одушевляемые меня и ручаюсь [за] всех тех, кои имели злополучие впасть в наши преступные умысления!»

Лунин заметно и странно повеселел.

Он раскрыл в другом месте:

«После 26-го числа, где решено было ничего не предпринимать, а потому и я отклонился от сообщения с Муравьевым и поездки моей в Петербург. Я жил у себя в деревне, ожидая участи неминуемой — 29-го числа последовало у меня в доме арестование Лихарева. Признаться должен, что при виде исступления жены его беременной, воплей матери моей, сестры и ужаса всех одолевший («!») при будущем еще: все сие меня привело в забвение всего святого и добродетельного... Я брату сказал друг мой теперь я должен исполнить обещание роковое, спасу вас от гонений; простись со мной, я тут же мертв паду, я преступления не переживу. Тут брат меня увещевал сколько мог, говорил, на что ты покушаешься, подумай — и рыдания наши прервали горькие и ужасные для меня воспоминания. Таким образом я неоднократно говорил ему о сем, внушаемый каким-то тайным духом...» Лунин живо перевернул лист, мелькнуло «46»: «...мне все мнимые бедствия, как будто наступившее время мести самой лютой, казней самых жестоких, участи самой отчаянной для всех нас и семейств наших. Таким образом отравил я думы и чувства все свои.

Могу ли дать себе отчет в степени безрассудного моего исступления, когда все сие я говорил в то самое время, когда арестования умножились, и 1-го числа генваря я слышал все случившееся в Петербурге, тогда когда я уверен будучи быть ежеминутно арестован, предупредил мать свою и приготовился в путь совершенно...»

— Да он в полном расстройстве, — сказал Лунин в своем необъяснимом оживлении.

— Многие были еще в большем беспорядке, — отзывался Боровков.

— Что за странный общий магнетизм.

— Вы увидите...

— Я сам не силен в нынешней российской орфографии, но мысленно исправлял его ошибки: так может пи-

сать человек лишь в совершеннейшем помрачении чувств. Я уж не говорю о синтаксисе, который я исправить не в силах. «Ужаса всех одолевший при будущем еще», — перечитал он.

— Вы смеетесь над отчаянием? — нерешительно спросил Боровков.

— Позвольте, однако... согласитесь, что я имею некоторое право.

— Простите, — тотчас подхватил Боровков.

— Да я и не смеюсь. Чему же тут смеяться? очень жаль, только всего.

— Покамест вы — Лунин. Но надолго ли, — печально усмехнулся Правитель дел Следственного Комитета.

— Ну, ну, — самодовольно возразил Лунин.

— Взгляните здесь.

Боровков привычной рукой перелистал, ткнул пальцем и отстранился.

Лунин снова склонился; усы его чуть повисли.

«Мне Матвей Муравьев говорил, что Пестель имел предприятие исполнить сие злодеяние составлением из некоторых людей, наименовав сие «la garde perdue», хотел ее препоручить Лунину и с сим привести в действие цель Южного общества...»

На миг Лунин испытал как бы серый укол внутрь; пусть бы более или менее общие разговоры как о других, так и о себе; иное — *это, такое*, «показание» несчастного Поджио, «собственноручно» исполненное на этом листе бумаги, гибко подшитом в пачку.

Лунин знал, что тут шутки плохи. Речь идет о вещах, которые, при нынешнем состоянии, могут быть истолкованы *самым* плачевным для него образом.

Он в задумчивости еще перевернул лист, мелькнуло «48», «49», тут данное показание «Отставного Подполковника» Александра Поджио кончалось; он машинально еще прочел последние абзацы: «Поверьте словам чистосердеч-

ным, что одно раскаивание сильное, внушительное Милосердным мне Государем Императором, лишило той необходимой силы и тех нужных добродетелей... сознать (перед «сознать» над строкой — торопливое «чтоб») себя столь виновным пред Благотворителем моим!»

— Бессмыслица какая.

«Все, что может служить к дальнему открытию дел общества, обещаюсь содействовать самым чистосердечным признанием».

— «Отставной Подполковник *Поджо*, генерал Адъютант *Чернышев*», — вслух прочел Лунин, голосом выделяя подчеркнутые фамилии: подписи под показаниями. — Что у вас, пытаются, что ли? — спросил он в задумчивости.

— Прямых пыток нет. Разве кандалы на раны.

— Чернышев сумеет и косвенно.

— Да, арестованные говорят, что граф хуже всех, — уныло подтвердил Боровков.

— Граф?

— Простите, будущий; не сегодня-завтра.

— Молодец.

— Государь ценит генерал-адъютанта. Он и Пестеля взял.

— Понятно.

— В расстройстве *многие*, Михаил Сергеевич.

— Так что же вы от меня хотите? — спросил Лунин, улыбаясь, но напором голоса и самой грубоватой «формой» давая понять, что весь этот разговор по душам уже надоедает ему.

— Речь идет о царевубийстве... Не отвечайте, не отвечайте мне, Михаил Сергеевич. Дело давнее, но... сами видите. Взвесьте *все*.

— Не мог ли бы я как-нибудь... взглянуть на вопрос? — спросил Лунин. — Раз уж вы *так* добры.

Глаза его блестели в странном оживлении; но тон был сдержан, как и все время по прочтении места о себе.

— Это возможно,— как-то нехотя отвечал Боровков. Будто спрашивал: мало тебе? — Перед допросом многие дожидаются за ширмой и слышат ответы своих товарищей. Иногда это даже устраивается нарочно; чаще же всего — выходит само собою.

— Я желал бы.

— Хорошо, Михаил Сергеевич. А теперь вам надобно идти к генерал-адъютанту; он уже здесь, в крепости, и полагает, что, может быть, вы написали покаяние.

— Я не написал. Повторять свои ответы на варшавские вопросы почитаю излишним; пусть шлют новые — посмотрим, что за... пункты.

— За этим не станет.

— Но зачем же я ему нужен? вы передайте...

— Нет, он обязан с вас снять официальный допрос, в присутствии писаря. Вы должны повторить свои показания.

— То есть повторить писарю, а Чернышев будет сидеть и косить на бумаги.

— Что ж, почти что и так,— улыбнулся Боровков.

— А, пойдемте, Александр Дмитриевич. Все лучше, чем здесь лежать, думать неизвестно о чем.

— Смотрите, Михаил Сергеевич. Глядите, *граф*... опять и заговорит, а он умеет.

— Все равно.

Когда он подходил к месту, мимо провели желтолицего Никиту Муравьева в пыльном мундире; он смотрел вниз и даже не заметил Лунина.

«Плохо», — подумал Лунин.

Войдя, он застал Чернышева, уткнувшегося в бумаги рыжего писаря, опередившего его Боровкова и еще какого-то флигель-адъютанта; время от времени входили люди в эполетах.

Он молча сел неподалеку от писаря.



Оставшись наконец истинно один в камере, Лунин задумался.

Что ни говори, в его положении было много неожиданного. Ясно, что они знают достаточно и что исходные сведения идут из самой верхушки тайного общества — от людей, знавших больше других. Он арестован один из последних, и его встречи за десять лет ныне известны «Комитету» едва ли не лучше, чем ему самому. Однако же что это? Он ожидал чего-то подобного, но все-таки не такого. Предательство? Страх? Честолюбие наоборот? Минутная слабость? Усталость? Влияние заключения? Запоздалая мысль о детях, матерях, отцах, женах? «Обаяние» нового государя? Вера в прощение? Мысль о дворянстве, присяге? «Не все ли равно на нынешнее мгновение», — сказал он себе. Важно было, что делать далее.

Бывают положения, когда рапира попадает в солону, когда не стреляют пистолеты, когда бытие переходит в другую меру.

Честь, гордость — но тебе презрительно усмежаются в глаза и дословно передают слова, сказанные пять-шесть лет тому в кругу верных друзей и братьев. Отказ называть фамилии — но они сами называют их, приводя достоверные подробности, которые просят лишь подтвердить. Переиначивание событий в пользу друзей — но тебе напоминают, что ложь недостойна дворянина, а присяга обязывает к верности. Полное молчание — но тебе говорят, что это лишь усугубляет вину твою собственную и вину людей, тебе небезразличных, ибо заставляет принять о них худшее мнение. (Ибо если бы лучшее, так отчего же не сказать?)

На мгновение возникла острая, хмурая, тяжкая злоба на тех руководителей общества, которые не сумели быть мужественными; он шевельнулся на стуле, как бы соби-

раясь встать. (Он огляделся; камера... затхлая свеча, в углах тени. Сырой кирпич, доски.) Но злоба прошла, успокоенная рассудком. Ведь он знал о той тоске и неуверенности, которые были в обществе в последние годы; не сам ли он *de facto* вышел из общества, видя безнадежность дела? он мог представить настроение Рылеева, Пестеля, Муравьевых и иных в эти годы. Помнил он и жестокое предостережение Пестеля, что в случае предательства он, Пестель, никого не пожалеет — *всех* назовет; а ведь Пестеля взяли еще до четырнадцатого и, по всей вероятности, именно вследствие предательства. Кроме того, судя по всему, царь сумел создать положение, при котором многие взятые думают, что к их голосам прислушиваются, что многочисленность, связи и сила общества заставят правительство задуматься о реформах и быть снисходительнее к самим арестованным. Какое заблуждение! Лунин знал вообще людей и знал двор; доверчивые скоро раскаются... Только не таким образом, как они каются ныне.

Но, во всяком случае, теперь не время гаданий.

А что же он-то?

Как далее?

Что он снова скажет на вопрос, готов ли он отвечать за общество, хотя и «отстал» от него?

На вопрос, *как* он вел бы себя, будь не в Варшаве, а в Петербурге?

Он усмехнулся грустно.

Знакомое чувство опасности, мужественного первенства снова входило в него; но, кроме всего, был и необычный оттенок в его размышлениях, чувствах.

Он как бы должен был проявить особенное товарищество — не выделяться слишком сильно в нынешнем плачевном положении; он обмакнул перо, усмехнулся и начал: «В высочайше утвержденной Комитет.

От подполковника Лунина.

На вопросные пункты, Высочайше утвержденного Комитета, сообщенные мне в Варшаве касательно основателей Тайного Общества, и лиц к оному принадлежащих, я не мог по совести отвечать удовлетворительно; ибо называя их поименно я изменил бы родству и дружбе. — Но при первом моем здесь допросе, 16-го числа сего месяца, я узнал удостоверительно и несомненно что как все лица принадлежащая к Обществу, так и действия их, уже совершенно известны Высочайше утвержденному Комитету...»

Далее он назвал все фамилии, которые прошли на его допросе при таких подробностях, что было ясно, что само по себе название этих фамилий ничего не может дать «Комитету»; далее он снова отказывался называть какие-либо иные фамилии.

Поступая так, он делал несколько дел: во-первых, отчасти уступал напору «Комитета» — напору, который быстро становился нестерпимым, мощно подкрепленный с тылу горами фактов и показаний на него, Лунина, братьев, друзей и знакомых — Пестеля, Трубецкого, Поджио, Вадковского, Никиты Муравьева и иных; отказываясь называть фамилии, он тем самым ставил бы под сомнение давние показания разных людей, на которые, как на фундамент, в несколько этажей выросли уже более свежие; «отпираясь» в этом, бессмысленно вредил бы себе и всем им — слабым или обманутым. Далее, он как бы «брал вид», что, при желании Комитета, готов оправдаться — ведь это так легко; но — не ценой унижения: тон его оставался таким, что, мол, совершенно ясно, что я невинен, но если надобно оправдываться в ясном деле, то извольте, но только до известного предела. «Вот члены, с коими я находился в непосредственных сношениях и из коих многие исполняли, поочередно, обязанности блюстителей, Председателя, и Начальников Управ. Сверх того, в Тайном Обществе находилось множество членов, кои мне мало

(он быстро перевернул лист) или совсем не были знакомы»... Далее, он все-таки сохранял достоинство человека, не желающего участвовать в общем безумии — обоюдно палачей и жертв; он давал понять, что, хотя поток стремится увлечь его, он неизменно будет пытаться если не плыть против течения, то *не участвовать* в потоке, хотя бы и был в самой буре волн; он не хотел погибнуть просто по глупой игре и упрямству — лучше затеять некий *бой*; в итоге всего он не совершал по отношению к товарищам некоей тонкой неучтивости, которая состояла бы в том, что он, одинокий и сильный, подчеркивает свое превосходство пред падшими и слабыми и добивает их своим «злом» и высокомерием.

Оживленный всей этой странной и во многом филигранной работой, Лунин дописал свое краткое послание, перечитал его и, довольный тоном (безразличие и сжатая сухость) и невольно несколько поморщившись при виде знакомых, родных фамилий, писанных его собственной рукой, отложил листок, потушил свечу и не спеша стал раздеваться.

«Стучать? Нет, *сами* придут».

* * *

*

Странный голос привлек внимание; эти деревянные перегородки...

То был голос последнего одиночества, обращенного только к себе и в то же время тайно полного сожаления об ушедшем, где солнце, листва и небо; где могут быть высь и дух, а не только печаль, овладевшая сердцем:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, незнаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Узнает мир, кого лишился он.

— Кто сочинил эти стихи? — спросил издали другой голос.

— Сергей Муравьев-Апостол, — ответили не сразу — и трудно было понять, ответил ли сам читавший или некто третий — так разнились тон самих стихов и этого короткого, загадочного разговора во тьме.

«По-моему, он сочинил еще в *той месте*, притом по-французски, — подумал Лунин. — Но неужто он помнит *ту* встречу? Помнит — конечно; но неужто — мучает сердце, думает о ней?

Нельзя».

И тут же он как бы тоскливо стал размышлять о том, что «прием», ныне примененный им в послании к «Комитету», по всей вероятности, пригодится и в будущем; надобно помнить.

Однако невольно — он чувствовал — ныло и его, его сердце; подсолнухи, небо... одинокий, скорбящий голос.

До завтра, друзья мои; уныние...

Гибель...

Вскоре он спал, натянув до усов пестрядинное одеяло; лицо было тихо.

* * *

*

Так он провел двенадцать дней; его не звали.

По всей видимости, Чернышев понял весь «тайный яд» послания; поскольку по внешности трудно было придраться — старику Татищеву, bravому генералу Дибичу, капризному и рассеянному великому князю Михаилу да веселому, все время смотрящему «в лес» от заседаний Васеньке Левашову (ныне тоже генералу) было всегда не до тонкостей, а теперь особенно — эпопея шла к концу, надое-ло, — то Чернышев применил верное средство — заставил преступника потосковать в тюрьме, в одиночестве, в холоде, каплях со сводов, тесноте, вовсе не привычных для гусарской воли; ты так — мы так, молчим; жди. Сиди ду-

май — то ли готовят пулю, то ли отпустят, то ли пошлют в каторгу. Убедить прочий «Комитет» в такой мере было, конечно, нетрудно: при первом взгляде на письмо было ясно, что «искреннего раскаяния» нет, а это были именно те заветные слова, тот фокус, который бывает во всяком предприятии. Достаточно видеть, как обстоит с *этим*, — в подробности, к которым «нельзя придраться», можно не входить.

Лунин понимал стратегию и тактику приятеля, хмыкал и ждал.

Понимал он и то, отчего Николай, любящий пугать арестантов личным разговором, неожиданными вызовами, явлениями (распахиваются двери — и вот) в «Следственный Комитет» то со слезами, то с угрозой, то с бранью, то с добрым словом на устах (об этом не раз переговаривались окрестные узники), — отчего Николай «забыл» Лунина — человека, несомненно весьма интересного для него (Коренная Дума, самые первые союзы, родственник и приятель всех главарей; Константин, Польша и Польское общество, «прежние дерзости»); ясно было, что Чернышев доложил как следует, а государь согласен — держит тактику.

В тюрьме Лунин уже успел косвенно и некосвенно убедиться, насколько практически неглуп, хитер и мстителен Николай; все было устроено так, что могли позавидовать Видоки, Фуше, Меттернихи, и, кстати, это еще раз доказывало, что не приходится ждать ничего хорошего. Только надежда, слабость и ослепление могли питать нынешние общие «обращения к государю»; Лунин знал это и ждал развязки.

Каким-то особенным образом ощущал он и то, что Николай, вероятно, вообще так и не захочет *его* видеть; для нынешнего полного торжества Николая, для его упрямой и слабой натуры Лунин (да еще Пущин, да младший из братьев Крюковых, как слышно) был лишний, он одним

своим словом, внешностью мог испортить все чувства; истинно твердый человек не боится лица противника — как не боялся в Польше сам Лунин, например, умного Новосильцева, проповедовавшего подобное тому, что некогда и Чернышев; но человеку, испытавшему унижительное детство (Ламсдорф бил его!) и срам с утра четырнадцатого декабря — с утра своего императорства, — любое письмо вроде письма Лунина, любое появление человека с ухмылкой на устах будет тайным ударом, «порчей чувств». Недаром, как говорят, он заранее старается пугать и своим видом — и оттаивает лишь тогда, когда видит явное смирение или пусть даже «грубоватое», «народное», но искреннее уважение к себе. Да, вряд ли он пойдет на прямую встречу. По всем «показаниям» Лунина уж заметно, что за птица; у таких, каков Николай и каков Чернышев, сверхъестественный нюх на все, чего можно ожидать от таких, каков Лунин, — даже если этого «всего» вовсе нет в *самих* строках, писанных Луниным. Он часто думал о том, каким образом некоторые люди, при явной ограниченности высшего ума, обладают огромным и как бы подспудным умом на все, что им может быть опасно в их дневной жизни.

Он лежал, листал Евангелие, ходил на прогулки в тот серый, желтый и голый двор, ходил по камере, слушал речи за стенками, думал о прошлом; одного он не давал — потачки душе в мыслях о наказании, будущем, о судьбе сестры и ином подобном; он знал: только открой плотину — и стихия затопит лес, поле.

Впрочем, бодрая душа его, закаленная битвой, гусарством, — душа его, умница и валькирия, сама не позволяла себя застать спящей; она была в латах, с кинжалом, она блистала взором на всякие гром и вызов; она не нуждалась в опеке — была сама по себе.

Между тем в некие сроки, часы он нарочно давал волю «слабости», бреду, воображению; в «репетиционном» ма-

невре разливалось широкое море бегства, страха, больных, душераздирающих, размягчающих картин, образов, чувств, предметов и поражений; невероятно капризно было сознание, сердце — оно подсовывало какой-нибудь детский лепет, незначащую деталь из ранних общений с матушкой, из грустного, сладкого полусна; оно вызывало перед глазами трогательную ленту на белом чепце любимой, взгляд дорогого убитого коня, крыльцо отчего дома, лица веселых и пьяных и добродушных товарищей — мало ли, мало ли; и он давал, давал волю — давал освободиться, устать и перебеситься сердцу, душе; и вот она, нашумевшись и нарыдавшись, освоив всласть свое половодье, — она, поиграв, вновь, в своей суровости, — никем не замеченная, он предусматривал это, — шла в берега... и вновь обращалась в стальную деву в ножах и в латах.

Наконец его повели на допрос.

* *
*

Допрашивали сначала ночью, водили с завязанными глазами; но постепенно все смешалось, ритуалы соблюдались лишь в особо нужных случаях.

Боровков, как и обещал, привел его раньше и усадил в комнате рядом, загородив ширмой. Двери были открыты, меж полотном и рамками были широкие щели; было видно и слышно. Лунин уселся поудобней, кинув ногу на ногу, — и начал смотреть и слушать.

Провели молодого человека в шютруке; он непрерывно озирался; беспокойное, умное, смуглое лицо с волнистым лбом, чуть выпирающими скулами; небольшие углесто-черные его глаза так и блестели по комнате, как бы первически выхватывая, вбирая в себя предметы, — и, не освоив их, вновь погружались внутрь своей лихорадочной жизни; солдаты по сторонам шли безучастно.

За столом в открытую дверь были заметны Чернышев и веселый, ровный, весь в бахrome и шнуровке Васенька Левашов — тоже бывший приятель Лунина; тоже, как и Чернышев, весь исполненный этого тайного непобедимого чувства: вот, я генерал и хорош, и дома ждут хрусталь, лакеи, бархат и чистые бонны; а *эти* рыдают и смотрят на меня — на бога, от которого зависят жизнь, смерть.

— Сядьте, Дмитрий Иринархович, — весело-иронически сказал Чернышев, бывший там, разумеется, за главного. (Старик Татищев, формально ведущий следствие, сейчас был вовсе вне поля взгляда.) Он, кудрявый, умноухарски-красивый и большелицый, свободно-расслабленно «навис» над столом, сцепив руки у самого края. — Сейчас придут ваши приятели. Поскучайте с нами. Да сядьте, сядьте.

— Я стоя, — нервно сказал арестованный; он сейчас был спиной к Лунину.

— Сядьте, — лишь немного повысил голос Чернышев — тот тотчас сел; Лунин понял, что это был Дмитрий Завалишин; они были едва знакомы.

Сев, тот немедленно начал перебирать руками по карманам, класть локти на стол, снимать, закидывать ногу на ногу.

Тем временем провели столь же или более молодого человека в темном мундире флотского офицера; Завалишин нервно оглянулся и быстро отвел взгляд.

— Так-с, господин Арбузов, — нарочито «глумясь», говорил Чернышев. — Извольте сесть. Извольте, извольте сесть. Мы не на плац-параде. Парад будет, но после.

Левашов засмеялся, довольный собой, настроением Чернышева и взором Арбузова.

— Так, стало быть, начнем сначала, милые господа, — сказал Чернышев, и в этом «милые господа» было, конечно, более оскорбления, чем в «негодях, мерзавцах», которыми, говорят, не брезговал сам государь император. — Напоми-

наю, Дмитрий Иринархович, что вы уверяете, что придумали свой всемирный Орден Восстановления с тем, чтобы затем вовлечь в него офицеров, близких тайному обществу, через их посредство войти в самое общество и выдать его правительству; вы якобы писали о том покойному императору Александру Павловичу. (Что, впрочем, не подтверждается из найденного письма.) Вы говорите, что флотские офицеры Арбузов (сидящий пред вами), братья Беляевы были и в первое время знакомства с вами самого отъявленного и антиправительственного образа мыслей и что вовсе не вы приобщили их к этим мыслям. Напротив, со своей стороны эти офицеры, и например сидящий перед вами Арбузов (Арбузов и Завалишин, один тихий, другой беспокойный, не глядели друг на друга, а оба глядели на Чернышева), утверждают, что во всем виноваты вы, что вы вовлекли их молодость и неопытность сначала в свой мистический и подозрительный Орден Восстановления, а затем и в самое преступное тайное общество во главе с Рылеевым. Ваша служба у Рылеева и дружба с ним, ваши путешествия по делам флота и Русско-Американской компании в страны Нового Света, в Мексику и в Гаити, ваша дружба с Бойе, ваша страстность и психическая заразительность, по их мнению, много тому способствовали. Я это все повторяю к тому, дорогой Дмитрий Иринархович, чтобы вы сами более не повторялись; а то чтение ваших многоречивых и взволнованных показаний, и объяснений, и доказательств о том, что вы не враг императору, а, напротив, верный слуга его, — чтение и разбирание всего этого (почерк у вас нехорош, да и пишете вы все начерно, не уважаете ваших читателей) отнимает у Следственного Комитета почти все его время, а у нас ведь иные дела есть.

Левашов улыбнулся и переглянулся с кем-то, кто сидел слева.

— Итак, господин Арбузов, извольте повторить при ДмитриИ Иринарховиче то, что вы сказали нам давеча:

господин Завалишин имеет подтвердить или опровергнуть это.

— Я говорил, — волнуясь, заговорил тихий, серьезный Арбузов, — я говорил, что никогда не вошел бы в тайное общество, не будь Завалишина; все те слова, которые я в горячности... я в горячности говорил ему, не имели для меня существенного значения; милостивый государь, поверьте, это был только жар молодости, желание исправить некоторые... некоторые слабости управления, что послужило бы благу отечества и государя; да и... да и это скорее был пыл души, чем готовность действовать каким бы то ни было образом; это все *он*... его дьявольские речи, клянусь вам, — продолжал Арбузов, постепенно горячась, розовея. — Он решился погубить нас, а сам остаться цел; я хочу, чтобы вы знали правду... Мы погибли, но и он не уйдет... пусть милосердие... милосердие всем... но *прав* не будет... не уйдет... Он и Рылеев...

— Милостивый государь, — прервал довольный Чернышев, — все это мы слышали, и неоднократно. Это записано и усвоено. Нам известно, что вы отнюдь не из главных членов преступного общества и были вовлечены сравнительно случайно; тем более это обязывает вас говорить полную правду. И не кажется ли вам, что вы своею слабостию роняете честь дворянина? Ваше раскаяние, случайность вашего преступления уже приняты во внимание. Вы не из тех закоснелых негодяев, кои упорствуют. Теперь же речь идет о другом; речь идет о вашем показании на прошлом допросе. Вы показали, — говорил он, заглядывая в бумагу, — что тот разговор, который был у вас на квартире старшего Беляева, коснулся до учреждения в России некоторых институтов...

— Да, да, я подтверждаю... я подтверждаю, — поспешно сказал Арбузов. — Господа... я надеюсь... милосердие государя... большая... матушка...

— Господин Арбузов, соберитесь с духом и отвечайте

внятно: в том разговоре, который был на квартире Беляева числа... Э...

— Да, да,— молвил Арбузов, сидя с опущенной головой, вяло положив руку на колено.

— Что «да»? вы еще не знаете, о чем имеете быть спрошенным, а уж «да»,— сказал справа старческий голос.— Наша цель — установить истину, а не слушать ваши глупые «да». Отвечайте с толком и строго.

— Слезливый какой. Девушка. *Прежде* следовало слезы лить, теперь ни к чему,— сказали слева от Левашова; Чернышев покосился с некоторым невольным пиететом, из чего Лунин заключил, что там великий князь Михаил, хотя о нем было известно, что теперь «почти что не бывает в заседаниях».

— Господа... ваше высочество,— говорил Арбузов, как бы клонясь, засыпая на стуле.— Кабы не мать...

— Оставьте ее в покое,— сказал Чернышев.— Итак, в том разговоре, который...

— Но это же ложь! ложь! — вдруг резко вскрикнул Завалишин.— Господа, справедливо сказано, что Комитет должен установить истину; итак, я утверждаю в присутствии всех почтенных...

— Милостивый государь, опять вы берете свой тон,— спокойно прервал Чернышев.— Комитет сам решит, что он должен, чего не должен; ваше же дело — покамест сидеть и слушать, а после подтвердить или опровергнуть показания господина Арбузова.

— Но ваше превосходительство...— нервно заговорил Завалишин.

— Молчите пока,— невозмутимо-грубо остановил генерал-адъютант.— Вы под следствием, вы мужчина и русский офицер, речь идет о вашей совести, вашей верности долгу, вашей судьбе и нравственности; извольте держаться как подобает.

— Я стремлюсь,— вдруг потух Завалишин.— Но труд-

но терпеть, когда клевета из уст слабого, ничтожного человека...

— Это *вы* ничтожны,— тихо сказал Арбузов, все клонясь, «засыпая» на своем стуле.

— Нет.

— Вы... вы.

Лунин невольно отвернулся задумчиво.

В то же время в душе его росло то снежно-бодрое оживление, которое он испытывал и при чтении Поджюио.

* *
*

— Итак, в этом разговоре, который происходил на...

Из-за портьеры прямо позади Чернышева вошел Николай; Лунин тотчас узнал его, хотя видел нечасто.

Это был рослый, красивый молодой мужчина с неестественно напыженной грудью и выпуклыми серо-белыми глазами; эти известные черты его были настолько заметны, что годились для карикатур. Чуть закрученные усы придавали ему и властное, и как бы тайно-мягкое выражение. Он был тоньше лицом и фигурой, чем Константин, и не имел в чертах той расплывчатости и слабого жирка, что Александр; в общем и целом лицо было меньше, как-то плотнее, чем у других братьев, и от этого высокий рост, пресловутая бравая грудь и эти глаза были еще заметней.

Он шел, заложив одну руку за фалду зеленого измайловского мундира; Чернышев тотчас же почувствовал спичной приближение высшего начальства, оглянулся и поднялся не поспешно, но с грациозной, вальяжной, свободной почтительностью.

— Ну, ну,— добродушно-отрывисто сказал Николай, ударив его ладонью в плечо. Тот, не успев встать, сел.— Опять эти?

Завалишин и Арбузов сначала сидели в замешательстве; затем неловко поднялись.

Николай смерил их медленным взором и не сказал ни «сядьте», ни что-либо иное.

— Очная ставка Дмитрия Иринархова сына Завалишина и... — будничным голосом стал докладывать Чернышев, оставаясь сидеть.

— Не надоели они вам? — спокойно прервал Николай. — Все еще обливают грязью друг друга? не стыдно вам? — спросил он, взглянув по очереди на Завалишина и Арбузова своим медленным, нестыдящимся взглядом.

— Ваше... ваше, — заговорили те, краснея и глядя в землю.

— Кто за ними? — отвернулся от них Николай.

— Тизенгаузен.

— Ну, давайте его. От этих проку не будет.

— Тизенгаузена! — быстро закричал к двери Чернышев; и по серьезности и резкости его тона конвой и писаря, видимо, поняли, что тут не до лени; тотчас же в поле зрения показался взволнованный каштаново-рыжий секретарь немец Адлерберг, из двери, как ошпаренные, выскочили два солдата и бросились мимо ширмы и Лунина в глубь помещения.

Другие провели Завалишина и Арбузова; те шли рядом, оба глядя под ноги.

Повели спешащего полковника Тизенгаузена; немолодой человек, он задыхался и заранее взглядывал в дверь.

Он вошел; тем временем Чернышев напряженно сидел в своем кресле, ежеминутно зная затылком присутствие своего хмуро стоящего господина; поодаль, за Николаем, стоял незаметно вставший почти сразу по входе царя, громоздкий и «разбитной», но присмиривший и как-то сразу устранившийся Васенька Левашов.

Тизенгаузен остановился перед столом в своем уже неаккуратном мундире, взяв руки по швам и весь устремившись в землю.

— Не ожидал от тебя, старого служаки, — заученно

покровительственно сказал Николай. Полковник ничего не ответил и только еще сильнее ушел в землю; лица его Лу-нин не мог наблюдать. Николай продолжал:— Давно ты здесь, а я все не видел тебя. И как это ты связался с мальчишками? негодяями? победитель финнов, турок? герой Гамбурга?

— Простите,— заговорил пожилой полковник перед молодым, молодцеватым царем.— Не суда прошу, но милости; детушки... малые дети, дочушка... болезненная жена; ради них, только ради них. С голоду умрут, ваше величество; я беден, доходов никаких, одно мое жалование.

— Что это вдруг у вас, моих полковников, оказались болезненные жены, сестры. Ты, Враницкий. Повало-Швейковский, сдается мне, одинок, холост?.. О чем же вы прежде думали? вы думали, справедливость и нравственность не восторжествуют?

— Не справедливости прошу; милости,— говорил полковник, не выдерживая глаз императора.

— То-то, милости,— возразил Николай.— Ты, как и некоторые иные, случайный человек среди злодеев; но главы ваши, но многие другие отъявлены. А ты им способствовал. Разумеется, твое полное раскаяние будет принято во внимание, Тизенгаузен; но помни.

— Благодарю... вечно буду... бога молить...

— Полно,— сказал Николай.— Меня трогает твоя искренность. В состоянии ли ты давать показания?

— Стараюсь... ваше...

— Ну-ну.

— Это все он, этот дьявол...

— Кто же?

— Это Бестужев-Рюмин; он...

— Но как же, он мальчишка, а ты старый боевой служака; как же ты дал себя провести?

— Видит бог! Видит бог,— начал Тизенгаузен.— Ни сном ни духом не участвовал я в его преступных замыслах;

я слуга отечества, я честный офицер, командир... был командир примерного Полтавского полка; дворянин и отец семейства. Но... речи дьявола трогали мое сердце; видя... некоторые неустройства в армии, в жизни отечества, я...

— Но зачем же ты не доложил по команде? зачем же связался с мальчишками, с негодяями?

Полковник умолк.

— Виноват,— сказал он наконец.

— То-то, виноват.

— Я не хотел беспорядков, ваше величество; мне говорили, что общество не имеет цели ниспровержения правительства, но, напротив, создано, чтобы способствовать... Тогда много было обществ, и государь не запрещал...

— Как же не запрещал? Разве ты не знал, что с двадцать второго года все ваши общества были запрещены? даже масоны?

— Знал,— снова поник Тизенгаузен.

— Ну то-то же.

— Я виноват, ваше императорское величество... но виноват не в том, в чем меня обвиняют; я виноват только, что допускал в своем присутствии речи, сборища, противные замыслам правительства... виноват, что позволял Бестужеву-Рюмину говорить свои несчастные речи и разъезжать...

— Да, да; зачем же ты позволял ему разъезжать по вверенным тебе ротам? зачем позволял отлучаться, когда он хочет, в Тульчин, в Васильков, в Киев? В Петербург, в армии? видишь, мне все известно.

— Но я не имел намерения...

— Довольно, Тизенгаузен; довольно оправданий. Мы все знаем. Я бы на твоём месте подумал о душе и о том, что...

— Виноват... виноват...

— Ну, ну, ступай. Ты не в состоянии отвечать.

Полковник повернулся; лицо его на глазах — пока он поворачивался — сделалось пустым и усталым.

На нем отражалась вечная забота немолодого, служащего человека о ком-то, кого он помнит, и любит, и охраняет; сейчас у него было такое выражение, будто он продел большую работу, но дело, слава богу, кажется, сделано... а там бог не выдаст...

Он прошел мимо Лунина — и, тяжело переступив порог, исчез в темноте.

— Кто же дальше? — сказал Николай, садясь на место Левашова и привычным, неожиданно капризным движением отшвыривая какой-то листок, лежавший перед Левашовым; в мгновенной брезгливой гримаске его прошло: «Устал я... не до листков, не до подробностей ваших». Чернышев через один незанятый стул наклонился и, слегка привстав, поднял листок и положил рядом с собой. Потом склонился над папкой.

— Лунин, — сказал старческий голос.

Николай сделал ту же гримасу.

— Завтра... или когда, — сказал он. — А сейчас приведите мне... впрочем, не пора ли вам кончить на нынешний день?

— Можно и кончить, ваше величество, — почтительно-свободно сказал Чернышев.

— Впрочем, приведите Бестужева.

— Которого?

— Николая, — с рассеянным взором подумав, сказал Николай.

— А с Луниным?

— Увести назад, не ясно ли, — процедил царь, глядя перед собой и, видимо, мысленно представляя Лунина.

— Я к тому, что, быть может, с вами он будет... искренней, — свободно пояснил Чернышев.

— Тебе говорят, не нужен.

— Слушаю.

Вскоре через другую дверь вышел доселе незримый Боровков и, разводя руками, подошел к Лунину.

— Я слышал. Давайте солдат,— натянуто улыбаясь, поднялся Лунин.

— Не хочет. Дурной знак,— извиняющимся голосом сказал Боровков.

На миг Лунин испытал злобу к нему; тяжелое бремя — считаться сильным; *никто* не жалеет тебя — даже Боровков; не жалеет, не утешает, а говорит, что взбредет в голову,— ты же Лунин, ты... Лунин; но слабо, слабо же *всякое* сердце, и иногда ему нужно — пусть ложь, пусть молчание, но благие — не резкие.

— Ведите солдат,— угрюмо сказал Лунин.

* *
*

Камеры Кронверкской куртины были устроены так, что две или три кирпичные стены соседствовали с деревянными перегородками.

Через некоторое время Лунин понял, что сидит напротив Анненкова; в каких-то переговорах соседей он узнал взволнованно-нежный, исполненный экзальтации голос своего молодого товарища по кавалергардской службе.

Лунин дал знать о себе, и после умиленно-обрадованных возгласов тот, для начала, пересказал все, что знал о ходе дела. От него-то главным образом Лунин и узнавал подробности о товарищах: Анненков сидел уж долго, участвовал в очных ставках и прочем. Настроение его было напряженное — Лунин представлял его молодое лицо в *pinsepe* и русых кудрях, полное тоски,— но ясность ума оставалась, и вскоре они принялись играть в шахматы, расчертив на столах доски известкой и сделав из хлеба фигуры и сообщая ходы ироническим криком; рассуждать о родных и знакомых и вести беседы на философские темы. Переговоры, конечно, не разрешались; но ленивые сторожа, которым надоело воевать с необыкновенными заключенными,

отбиваться от их аристократических родственников, прислушиваться к их все равно неясным речам, смотрели сквозь пальцы.

Эти беседы шли как до, так и после «сентенции» — приговора: до самой разлуки.

Начиналось с чего-либо внятного и простого; например, Анненков вспоминал, как его любимая, Полина Гебль, эта дикая француженка, при разведенных мостах спустилась к воде по обледенелой набережной, держась за канат и ободрав руки; переправилась через Неву среди громоздящихся льдов в утлом ялике с пьяным мужиком на веслах; прорвалась в Петропавловскую крепость и, приведя в полное расстройство охрану, добилась немедленного свидания с возлюбленным, находящимся в отчаянии и на рубеже помешательства: он только что пытался повеситься, и она узнала об этом; Анненков рассказывал с дрожью в голосе, а Лунин растроганно улыбался в темноте, представлял милую Pauline, думал о том, как она должна была за это время вырасти, должна была стать воинственной женщиной вопреки себе прежней, смущенной и «нервической» матери незаконного ребенка, — и вворачивал, заранее улыбаясь:

— А ты говоришь — Гольбах, Ламетри.

— И что же? — опешивал Анненков, бывший, несмотря на свою экзальтацию и чувствительность, «по убеждениям» ярым материалистом à la восемнадцатый век.

— Что же? твоя Полин это сделала ради материальной выгоды?

— Но ты упрощаешь дело, Мишель, — начинал Анненков громким, но тусклым голосом. — Конечно, я не говорю, что мир нравственный, мир возвышенной любви поддается тем же простым исчислениям, что и сама механическая материя; однако же, если хочешь, — мысль его пробуждалась, и он постепенно одушевлялся, — то и высокий порыв Полин можно вывести из факторов материальных. Разберем ее поступок, если уж ты того хочешь; ну, во-первых,

ты напрасно полагаешь материю как одну только выгоду, Материя — это обширный мир форм, неисчерпаемое богатство природы и абсолютного бытия; это...

— Что-то твоя материя слишком походит на нечто иное, самое меньшее — на пантеизм.

— Нет, и все-таки материя — это не только польза! не только выгода!

— Да я и не говорил этого.

— Как же не говорил?

— Ну, пусть говорил; далее?

— Что далее?

— Ну, пусть не только выгода, да это и так ясно, ты напрасно доказываешь известное, — говорил Лунин, улыбаясь во тьму, — но как же ты все-таки выведешь свою *Rautiline* из одной лишь материи, пусть и не только выгоды?

— Ну, изволь; Полин — женщина, она меня любит; любовь женщины к мужчине есть произведение материальных, природных сил, следственно...

— А я тебе скажу, что сама любовь — суть, а проявления или, как ты говоришь, «произведения» ее различны, в том числе и любовь женщины к тебе, эгоисту, есть одно из проявлений общей любви, одна из форм ее; и как же ты мне докажешь обратное?

— Это говоришь ты — ты, человек сухой и мужественный и никогда как следует не любивший! знающий лишь абстракцию любви! или чувственных вакханок, не ведающих...

— Положим, что и так; да ты-то как согласишься свои «убеждения», — Лунин, улыбаясь, ядовито выделил это слово, — с тем, что ты говоришь сейчас против меня?

— Я? ну как; известно как; любовь возвышенная...

— Как твоя...

— Как моя, да, не смейся, любовь возвышенная и земная, небесная и простая одновременно, какова любовь моя и Полин, происходит...

— Это ты называешь — материализм...

— Да, и докажу; любовь, какова наша, происходит от взаимной симпатии, от влияния полов, от двух душ, созданных друг для друга...

— Материализм...

— Да, и не лови, не сбивай, пожалуйста; любовь непобедима и благородна; так, когда Полин знала, что я кавалергард и аристократ, и мать — первая богачка на Москву, и дом, и оранжерея, и наши сады, и выезд, и толпа девушек, согревающих собою одежды матери, — когда она знала это, она, любя меня и будучи гордой, — гордой, понимаешь?

— Сплошь материализм...

— И, будучи гордой, держалась в отдалении и не соглашалась на брак со мной, хотя я звал, но, видя меня в несчастьи, она отправилась в крепость, пришла к моей матери, она нашла царя на каких-то маневрах и бросилась ему в ноги, прося позволения соединить наши судьбы и разделить со мною наказание; и все это сложно, да, сложно, тут дух, тонкость, честь, благородство, любовь, но...

— Но?

— Но за этим стоит великая и благая материя; за этим стоит природа и...

— Да называй, пожалуй, как хочешь.

— Да отчего ты-то католик?

— Отчего? Ну, во-первых, вопрос этот странен; такие вещи — тайное дело каждого. Но, ежели угодно, кое-что скажу. Батюшка нанял аббата Вовилье, ибо это был образованный человек, а наши священники большею частью невежественны, развратны и глупы. Иезуиты — народ неприятный, да много знают... Общее недовольство состоянием нашего духовенства, его лакейством перед самодержавной властью в александровское время частично вылилось в католические увлечения. Я не миновал этого, тем более что вспомнилось и детское воспитание. Католицизм более действителен — более связан с поведением человека на земле, чем

инные системы духа; это привлекало меня особенно. Католические священники — дворяне по происхождению, и я дворянин. Будучи на Западе, имел я встречи с церковными авторитетами. Кстати, изучение опыта Франции, когда жил там, помогло мне предвидеть некоторые события в нашем деле и быть готовым к ним. Кроме же того, повторяю, в жизни религиозной есть проблемы, о которых вслух говорить неприлично. Да и не такой уж я яростный богослов, как вам представляется.

— Но откуда твоя стойкость в несчастьи?

— Ну, брат. Это-то вовсе нелегко объяснить. Но, коли хочешь, оно и тут я был готов заранее. Отец мой был крепкий человек, я унаследовал его характер. С детства привык я видеть и простые несчастья, которые неизмеримо ужасней наших: смерть ребенка от голода, наказание плетью. На кого-то это действует иначе, а мне давало бóльшую невозмутимость при беде. Может, тому способствовала и степная жизнь поместья: бывшее «дикое поле»... Военный и прочий житейский опыт также закалил меня. Я видел политический Париж, говорил с людьми, которые разбираются в социальной сфере; уловил некоторые законы социального, духовного движения в нашем веке, а такое знание неизменно помогает сохранить душевное равновесие. Я имею в виду решительные минуты общественного поведения человека. Я отошел от своих революционных друзей, несогласный с их трактовкой положения, предвидя печальный неуспех дела; но в дни поражения долг мой — быть с павшими. И это долг не только нравственный, но и практический; я не поставил крест на будущем и еще надеюсь оказать сопротивление року. Но оно возможно при условии, что я и теперь буду самим собой. Все это также придает мне силы. Я был совершенно зрел, когда вступил в тайное общество, и знал, на что иду. Был готов. Великое дело — понимание своей судьбы; тогда она не застанет тебя врасплох. Тебе еще нужны объяснения?

— Нет, но ты чего-то не договариваешь, о чем свидетельствует и твой последний вопрос.

— Что же я могу не договаривать, сам посуди? разве то, что договорить вообще невозможно, на что нет слов.

— Не знаю. Но зачем же ты пристал к тайному обществу, зачем столь явно интересуешься политикой, если ты такой идеалист, богослов?

— Да почему бы нет? вы с вашим материализмом вон в какой растерянности; а я...

— Ну, уж ты, конечно, в полном веселии.

— Нет, отчего же; я понес нравственные потери, я вынужден был хитрить — как-то защищать себя и товарищей; не облегчать же *им* задачи — падать прямо как куры во щи; но я, ценя нравственные и умственные качества, помня заветы рыцарства и...

— Вот! вот он, католицизм! рыцарство!

— Да уж лучше это, чем немецко-монгольский византизм.

— Ну! ты, пожалуйста, уважительней о России.

— Я русский, друг мой, мне нечего стесняться; вот ежели бы я был немец, как Николай...

— Тише.

— То-то... тише.

— Дидро...

— Что твой Дидро; будто бы, кроме него, людей не было.

— Отчего ты такой неприятель материализма — этого величайшего учения нового времени?

— Все слышал; но пойми ты, друг мой, что и материализм — разный.

— Я разве спорю? Кроме того, этого так сейчас не решить.

— Ясно, что не решить; но отчего не поговорить. Твой материализм, весь этот галльский механический восемнадцатый век, мне не по душе.

— Конечно, католицизм...

— Оставь католицизм, ты ничего не смыслишь в таких... материях; лучше посмотри окрест себя. Твоя милая совершает прекрасный подвиг самопожертвования во имя своей высокой любви, а ты лишь хнычешь и толкуешь о материальных факторах, от которых происходят ее поступки; вокруг тебя, стоит выйти в тюремный двор, раскинулось небо — неведомое, бездонное и в тихих серебряных облаках; и если ты скажешь, что тут все дело в том, что синий цвет действует успокоительно на твои любезные нервы и способствует секрециям желудка, то ты сам будешь знать в душе, сколь не прав ты. Ты вышел, выходишь в рощу; вокруг тебя...

— Да... роща...

— Оставь, мы теперь не об этом; ты вышел в рощу — вокруг тебя вечная, могучая и нетленная жизнь, зелень, свет, природа — вода, и небо, и твердь; и столь очевидная гармония, столь ясно светит духовным светом возвышенная и тихая, простая и бурная, солнечная и ночная природа...

— Природа!

— Природа, ты прав; великое и благое слово; она вся — наитие и кипение; она вся — величие, и тайна, и нега, и мощь, и если эти качества тебе кажутся производными лишь от вкуса и вещества, то мне жаль тебя.

— Но мы воспринимаем природу глазами, ушами — материальными органами чувств; и от этого никуда не уйти.

— Это так; но не принимаешь ли ты первоначальное и поверхностное за самую суть?

— Где она, эта суть? ее никто не видел.

— Но ведь и твоя теза так же недоказуема, как и духовная гипотеза.

— Стало быть, мы напрасно спорим.

— Но, в отличие от тебя, умные люди вроде Канта и

подобных так прямо и говорят, что чего они не знают, того не знают, и не пытаются делать вид, что знают.

— Ты всегда сочувствовал богословам и сам богослов.

— Я не богослов.

— Кто же ты?

— Сам не знаю; я только хочу поколебать твою праздничную уверенность, что ты все постиг, в своих механических идеалах. Вокруг тебя великолепный, цветущий и строгий мир; тебя любит прелестная и преданная женщина, твои товарищи бескорыстны и благородны — твой кавалергардский полк, как я полагаю, дал не менее двадцати членов нашего общества: а чего бы, кажется, надобно этим людям? что им нужно с точки зрения мира выгоды и предметов? блестящая гвардия, екатерининская традиция, личный полк государя; поместья, чины, лучшие невесты, женщины, двор, вино, забавы, здоровье и праздность, и сила, и вечная молодость, и роскошная, генеральская, и сиятельная, и камергерская, и сенатская старость — и чего же? чего им? где материя? ты неблагодарен, друг мой.

— Сейчас ты докажешь, что я самый счастливый и при этом самый эгоистический человек на свете.

— На этом свете несчастливы только глупцы и негодаи; я всегда это знал, всегда повторяю и в будущем, — самодовольно возразил Лунин.

— В широком плане ты прав, но...

— А ты живи в *широком* плане, милый Иван Александрович; веселей будет.

— Как я могу... видя, что косность и грубость торжествует.

— А ты торжествуй над нею.

— Сказать легко.

— Будто я поучаю тебя не из-за решетки, а из-за стола Чернышева.

— Ты прав; впрочем, давай попробуем спать. Завтра снова.

— И то,— согласился Лунин.— Ивашев?
— Видел мимолетно; очень угнетен.
— Он приятный малый; жаль, ежели...
— Всех жаль,— тихо сказал Анненков; Лунин еле услышал.

«Зачем я его сконфузил, приведя *себя* в пример?» — подумал он.

— И то верно,— повторил он.

— Наш же кавалергардский полк атаковал каре на Сенатской площади,— через некоторое время проговорил Анненков.

— А ты как думал.

— До завтра.

— До завтра, мой милый.

* *
*

Екатерина Сергеевна Уварова, не без помощи мужа, известного Федора Уварова, отсудив у кузена Николая Александровича имения горячо любимого брата, государственного преступника Михаила Сергеевича Лунина, и тотчас же неожиданным и таинственным образом потеряв мужа (вышел из дому — и не вернулся, и не нашли), обратила все свои помыслы на Мишеля, которого действительно горячо почитала, несмотря на всю тяжбу и на то, что главным ее мотивом в этой тяжбе был «факт», что, составляя свое завещание, Лунин *уже был* преступником.

Еще до победы она пробилась к Лунину в заточение.

Она вошла в комнату для свиданий — Лунин мгновенно пожалел о своем согласии на такую встречу; ее отчаянное родное лицо, ее черты, напоминающие о далеком детстве и матери, ее одновременные решительность и беспомощность во всей манере, во всем ее светлом взгляде и ясном, простом лице — все это было некстати и ей, и ему.

Она пришла и уйдет и будет представлять его в ны-

нешней «скорби» и унижении, а не в прежнем блеске, что для воображения неизмеримо опасней; он, со своей стороны, будет видеть это ее решительно-беспомощное лицо, и это гораздо хуже, чем лицо открыто беспомощное, ибо лишь подчеркивает скорбь и муку; и все оно не облегчит его дальнейших минут.

Однако пришла так пришла; быть может, все-таки к лучшему: он не молод, она не девочка. Быть может, в последний раз.

— Мишель, как же так, — разводила она руками. — Мишель, что делать? Я все, все, все сделаю для тебя; я пушу с молотка имения моего мужа, мои и твои собственные, только бы облегчить твою участь. Но скажи мне, что сделать; я только слабая женщина, а ты... о, ты...

— Успокойся, Катя, — сказал он по-русски, стараясь быть рассеянным и веселым, хотя сердце ныло: детство... родная кровь. — Поверь, мне решительно ничего не нужно; у меня все есть. Я не успокаиваю тебя; я действительно всем доволен.

Солдаты в белых штанах и зеленых мундирах, стоявшие у дверей голой комнаты со столом и двумя скамьями, отчасти дружелюбно смотрели на них; это собранное, чисто русское отчаяние женщины и спокойная, а не нервическая веселость внешне потрепанного и бледного Лунина «оказывали» на них хорошее впечатление. Тут было и обыкновенное — извечное российское — сочувствие несчастному. При последних словах Лунина один из солдат переступил на месте, чуть стукнул прикладом ружья, на которое опирался, кашлянул и со значительным видом посмотрел на товарища; Лунин искоса взглянул на них и улыбнулся: вы понимаете, женщина, баба; те слегка улыбнулись ему в усы (которые были уж введены в пехоте!): понимаем. На миг возник как бы заговор трех военных людей.

— Ты всем доволен, ты смеешься надо мною, Мишель, — патетически сказала сестра, не принимая его успо-

коительно-достойного тона.— Мне даже книги запретили послать тебе. Я хотела Байрона, Пушкина, Шиллера, этих французов; но пропустили одно Евангелие. Будь уверен, однако, что я не оставляю в покое ни государя, ни графа Бенкендорфа — говорят, он будет важный сановник, ни прочих. Я добьюсь, что у тебя будет все, все, все необходимое.

— Спасибо, сестра,— улыбнулся Лунин.— Я приму все, что ты вышлешь. Однако же, если и ничего не будет, я не буду в смущении.

— Как ты можешь говорить!

— Пойми, Катя, это не в обиду; я говорю просто, учтя положение твое и мое. Понимаешь ли, всякое послабление ныне будет стоить слишком дорого, тогда как значит мало. В моем положении довольствоваться «малым» гораздо удобнее, чем ждать улучшений; так спокойнее и приятней для сердца и даже для тела.

— Мишель, ты просто хочешь пострадать! Зачем, зачем тебе это? Будь добрый христианин, каким, я надеюсь, в душе ты был всегда, несмотря на свои эксцентрические выходы; но не будь фанатик. Я умру, если ты будешь страдать.

— Я не буду страдать, родная.

— Я добьюсь, я пришлю тебе все, что надо.

— Благодарю тебя.

— Но я хотела просить твоего совета; я говорю тебе не об этом. Мишель, я надеюсь упросить государя, я кинусь ему в ноги, я подыму семейные связи, а они не малы; я освобожу тебя.

— Не делай этого, милая.

— Невозможно, чтобы такой человек, как ты, был в тюрьме, в ссылке; ты талант, ты ум, ты *такой* человек; такие люди нужны государю, отечеству, нужны... всем, всем нам,— продолжала она, будто бы не услышав его возражения и, кажется, и действительно не вникнув в него.— Ска-

жи, к кому мне к первому обратиться; ты, с твоим опытом, с твоим знанием людей! а я только женщина; я жизнь готова отдать за тебя; но что мне делать? скажи; я все, все, все сделаю.

— Ничего не надо, сестра.

— Ты горд; я знаю тебя. Но Мишель, теперь не до... этого; тебе самому ничего, ничего не придется делать — просить, писать; я все сделаю сама; ты только скажи, посоветуй.

— Не делай этого, сестра, — отвечал Мишель. — Просить бесполезно; даром уронишь себя... наш род, фамилию. Да и было б полезно — не надобно; во всяком положении есть свой смысл и значение; в моем — не ждать и не беспокоиться. Небо есть и в окне, и в Сибири.

— Нет, я не послушаю тебя; я пойду, напишу.

— Я не могу запретить тебе; ты действуешь из любви, сострадания, а это важные чувства; если бы ты притворялась, я бы решительней запретил тебе; но я вижу твою любовь, готовность; я не могу препятствовать — да ты и не слушаешь.

Дежурный поручик, войдя, давно уж «покашливал» за спиной у Екатерины Сергеевны: «Сейчас!» — небрежно и резко бросила она через плечо — и воркующе продолжала:

— Мишель, я преклоняюсь перед твоим характером, твоей твердостью; но скажи мне, пожалуйста, не знаком ли ты был с человеком, ныне дружественным с графом Бенкендорфом: мне очень кажется, что знаком; его фамилия...

— Не знаком, Катя, — несколько вкрадчиво отвечал Лунин; он сидел, поставив локоть на колено и слегка подперев голову; он не утратил своей грации.

— Я вижу, Мишель, ты тверд. Что ж. Я буду действовать одна. Одна... одна, — вдруг прорвалось у нее.

— Новости в свете? в столице?

— Новости? ваш процесс; все напуганы.

- Только-то?
- Пушкин вызван в столицы.
- Он, выходит, не арестован?
- Нет.
- Многие берегли его, но и не доверяли его болтливости.
- Говорят, он гениален. Но журналы врут о падении таланта.
- Быть может, в Сибири ему было бы безопасней, чем в нынешнем Петербурге.
- Быть может. Теперь он в Москве.
- Поговорили о Польше и о крестьянах.
- Прощай, сестра; поручик недоволен, — с улыбкой сказал Лунин, глядя поверх ее головы на стоящего офицера.
- Мишель...
- Прощай, сестра; иди тотчас.
- О.., Мишель... Мишель...
- Иди, родная.

* *
*

За длинным столом вновь были не все — видно, что им обрыдли патетические будни допросов, что в самом Комитете, как это вечно бывает в России, потихоньку разладилась дисциплина; но при входе Лунина примолкли тем особенным образом, который свидетельствует о внимании.

— Что же, Лунин, — переворачивая бумаги, спокойно-иронически заговорил Чернышев, — вы видите, мы вас мало трогаем. Вы не мальчик, урезонивать вас — занятие скучное; я предупреждал вас обо всем, не так ли?

Тот кивнул.

— Вам были предоставлены иные условия сравнительно с многими из особо опасных преступников; вам не слишком докучали допросами, надеясь на ваше собственное благоразумие и возраст — ведь вам скоро сорок, а даже

главарю Пестелю еще только тридцать три; а вы сами так даже отвечаете ныне, что вам сорок три, — вероятно, по вашей всегдашней склонности к шуткам. Ну-с, что же, шутить так шутить. Комитет не имеет времени, у него много дел. Признаюсь вам, что мы не беспокоили вас не только в целях вашего удобства, но и оттого, что к моменту вашего арестования располагали совершеннейше подробными сведениями как о вас самих, так и обо всех лицах, о которых вы имели дать показания; ваши эти показания ничего не изменили бы; разве способствовали бы облегчению участи двух-трех человек, да и вашей собственной. Но вы не желали; ваше право. Зная ваше упрямство, мы не очень просили вас; в этом не было надобности.

В последней сентенции Чернышев «нажал» и тем выдал обиду; заметив это, он тотчас, по обыкновению, слегка скис и нахмурился.

Лунин до этого глядел перед собой в стену и порой — на говорящего Чернышева; теперь он оглядел собрание.

Присутствовали неизменные Чернышев, Левашов — эта рифма! — старик Татищев, сторбившийся и перебирающий пальцами по столу, белый как лунь: живая и скучная в своей наглядности аллегория дряхлости; немного в стороне сидел Бенкендорф, входил и выходил сонный тощий Дибич, сбоку возились писаря, солдаты, рыхлый, сосредоточенный Боровков; Лунин вернулся взором к столу.

Все они, в своих разных позах, сидели с небрежно-усталым видом людей, вынужденных месяц за месяцем вести одну и ту же трагикомедию; Васенька Левашов вообще, отвернувшись, кисло смотрел в окно. Лунин был им неприятен, он отчасти лишал их самодовольства, царившего многие дни; о таких, как он да еще Пущин с его «капитаном Беляевым», который не сошелся ни с одним из известных Комитету Беляевых и наконец оказался выдумкой (в коридорах мелькали разные Муравьевы, Беляевы и иные — несчастные однофамильцы преступников; Лунину даже по-

казалось, что он видел своих знакомых по польским охотам, и улан, уходя в дверь на волю, кивнул ему); как молодой армейский Крюков, как Петр Борисов, как Сергей Муравьев, как дальний смуглый, дерзкий Сухинов, ныне по *этапу*, пешком идущий с ворами и убийцами из Василькова через Москву в Нерчинск; как бывший крестьянин Выгодовский, как еще двое-трое-четверо, — обо всех них в самом Комитете, среди мелкой писарской братии и прочей сволочи говорили с особым преувеличенным чувством: «О, это негодяй. О, этот хуже всех».

Сама подобная фраза на некоем шифрованном языке была сигналом, что человек не раскаялся, не проявил искренности; да, во всяком воздухе есть свои скрытые токи, пароли, есть нечто, понятное *лишь* намеками. Разумеется, сами работники служб к тому времени, как велись допросы Лунина, не всё знали о преступниках, например о Сухинове с его могилевским приговором; но была уже темная магия, отрицательное электричество некоторых фамилий — как бы плохих по одному своему звуковому качеству. И они знали, что: «О, Сухинов — это закоснелый негодяй»; в чем именно, было неведомо, да и Сухинов еще не совершил *всех* своих действий, известных впоследствии; но есть наитие раба, позволяющее уверенно и вдруг с живым чувством среди усталости, буден говорить: «О, это...»

Оттого-то, когда вошел Лунин, они насторожились на миг: Лунин, Лунин... о, это...

Но Чернышев уверенной рукой повел свой корабль, и все опять обрели уют.

Все, кроме Татищева.

Старик вдруг воспрял духом; то ли в Луние он наконец увидел человека нужного возраста, достойного поучений, — не учить же тех плачущих мальчишек или тех, Враницкого да Тизенгаузена да Повало-Швейковского, тоже плачущих; то ли, по глупости и близорукости, не заметил того, что самолюбиво заметили все остальные, то есть что

учить Лунина бесполезно, но он вдруг вскипел, бросил ерзать пальцами по бумаге и, вцепившись в край стола, туго сторбившись, но при этом подняв буро-красное старческое лицо в белоснежных космах, заговорил после молчания, последовавшего за словами Чернышева:

— Ах, стыдно! Стыдно! отец ваш, Сергей Михайлович! дед ваш! Стыдно! Дворянин! Честь! Присяга! горе несчастных детушек и болезненной жены!

Все усмехнулись. Татищев «как попугай» повторял наиболее привычное, что слышал за месяцы за столом; среди арестованных были несемейные, но особенно душераздирающие сцены происходили при имени детей, жен, матерей, о которых напоминал Комитет или сами преступники.

Лунин откровенно ухмыльнулся в лицо Татищеву.

Комитет тотчас же перестал улыбаться: каково. Мы, он — прошло по лицам.

Старик же взмыл:

— Вот! вот! вы раскрыли себя! вы смеетесь на все священное! Ваш бесстыдный смех — ваш приговор! Можно много давать показаний, и вы много давали показаний, вы раскрыли своих гнусных приятелей — чудовище Пестеля, убийцу Каховского, своего Рылеева, своего Бестужева! Вы их раскрыли!

Бенкендорф тронул Татищева за рукав и шепнул — видимо, в том роде, что это не тот, а писаря могут записать.

Чернышев незначаче переглянулся с Боровковым, и тот кивнул; смысл был, конечно, только один: «Не пишут? — конечно, не пишут».

— А... да,— сказал Татищев, наклонившись к хмурому Бенкендорфу.

— Да,— продолжал старик, обращаясь к Лунину.— Вот! Вы раскрыли! И вы смеетесь! Ваш смех — ваш приговор, милостивый государь! Все ваши показания — ничто перед вашим бесстыдным смехом! — начал он сначала, не смотря на все предупреждения. — Вы лгали, вы лжете го-

сударю! Вы дворянин, а лжете, лжете! Где же ваш стыд? ваша честь?

Он помолчал, как бы ожидая ответа, а по сути не ожидая его: лишь распекая преступника.

Лунин с несколько напряженной улыбкой взглянул на Чернышева; тот улыбался, вполне довольный. Этот допрос был формален; знали, что сам Чернышев уж допрашивал Лунина, а раз так, то все прочее — лишнее. И Чернышев знал это. Но Лунина следовало еще раз проучить. И Татищев в глупой и старческой, но поэтому в наиболее обнаженной форме разом, в виде эссенции, выливал на Лунина все те слова, которые могли быть обидны; то, что он не разбавлял их водой грамматических конструкций и логики, было, конечно, тем более кстати. «Ты сам «спокоец», хорошо; так получай в ответ *неспокойствие* старика Татищева», — читал Лунин в лице Чернышева.

— Вам чужда честь! вы не знаете чести! где ваше рыцарство? вы лжете! вы бессовестно лжете, милостивый государь!

Лунин ждал, не остановит ли Комитет его повторений; но, так как Комитет — кто отсутствующе, кто злорадно — молчал, то Лунин сам сказал сухо:

— Милостивый государь, честь состоит в том, чтобы не предавать родных и товарищей и служить *пользе* отечества.

Молодые члены Комитета шевельнулись в презрении и раздражении; «Да, он ответит», — пробормотал кто-то; старик тотчас же закричал в азарте:

— Да-с! да-с! да-с, милостивый государь! а вы лжете и тем предаете своих детушек! своего отца!

Лунин с грубой ухмылкой пожал плечами и взглянул на Чернышева: таков допрос? так будет?

Но все-таки отвечал Татищеву:

— Милостивый государь, давая вам показания, я изменил бы родству и дружбе и...

— Я полагаю, вы можете остановиться. Все это уже написано в вашем заявлении,— где вы, кстати, все-таки называете и своих родных, и друзей,— сказал Чернышев.

«Вот он, момент, в ожидании которого всегда невольно противна любая хитрость и тактика. Он говорит — и мне нечего ответить, хотя он и лжет»,— подумал Луний.

— Разумеется,— «спокойно» подтвердил Луний.

— Вы видите, *как* вы запутались,— спокойно же отвечал Чернышев.— Та ваша записка настолько неудовлетворительна, что *мы* даже не примем ее во внимание; в то же время, когда понадобится, в ней все смогут увидеть названные вами имена любезных родных и знакомых. Полное раскаяние неизменно куда понятней для всякого сердца, чем подобные антраша.

— Отчего же тогда она неудовлетворительна? отчего же вы не примете ее во внимание? — напряженно улыбаясь и пристально глядя на Чернышева, произнес Луний.

Генерал-адъютант помолчал, глядя на него и слегка розовея,— и наконец проговорил:

— Однако приступим к официальному допросу. По поводу «партии в масках» вы...

* *

*

Сначала, как и следует, случилась неразбериха; «разряды» путались, бестолковые унтеры метались из помещения в помещение, некто искал Михаила Бестужева-Рюмина, тогда как его вовсе не должно было быть в толпе, странный писарь сурово ходил со списком «3-го разряда», и его отсылали то к Дибичу, то к тучному Голенищеву-Кутузову (о котором доселе было известно только, что он *не* родня фельдмаршалу), а те шипели и проходили мимо, а сами государственные преступники тем часом разглядывали друзей.

Они не замечали, как менялась в крепости вся их внеш-

ность, — и теперь, внезапно увидевшие друг друга, испытывали ту слегка нервическую веселость, которая нападает на толпу близких людей, долго не встречавшихся и собранных наконец перед опасностью или общим действием.

Там и сям раздавались восклицания, хохот; пока разводили «разряды» по разным помещениям, успели «перекинуться»:

— Пушин! Ха! Ты похож на Ваньку Каина! — кричал молодой, но в новых морщинах, с белым лицом Одоевский; под большими глазами была фиолетовая синева, и весь он, с его заметным «давно ли» «ангельским» лицом, с прямым «хищным» носом, в свалявшихся некогда роскошных кудрях, в развеянных полах прежде сиявшего, а теперь тусклого светлого мундира лейб-гвардии конного полка, походил на сову, вспугнутую среди дня. Лунин машинально подумал, что они оба, хотя в разное время, жили на Торговой.

Тот мир...

— Ну, ну, — издали поднимал руку и сдержанно-добродушно улыбался Пушин в измятом скюртуке.

— Оболенский! Боже мой! На кого...

— А ты-то, ты-то! Ох-ха-ха!

Голенищев-Кутузов в своих больших эполетах, Бенкендорф и штаб-офицеры хмуро наблюдали за этим во-селем; некоторые из преступников вполголоса передавали друг другу слухи о приговорах; ничего приятного не было в этих слухах, но и ничего точно не было известно, и во взглядах тайно жила извечная сестра милосердия человечества — слепая надежда; прямо никто ничего не высказывал, и когда кто-то лишь заикнулся: «Приговор — да, но милость государя», — многие тут же отвернулись смутно.

Это была надежда — и это было еще иное; в человеческом сердце, даже закоснелом, — а здесь мало было та-

ких — неистребима вера в отца, что ли, который придет, рассудит, утешит; ныне взоры невольно обратились к царю.

Все помнили его обещания, доброжелательные речи к тем, кто каялся, облегчал душу, а каялись многие; надеялись, что записки, трактаты, проекты о переустройстве России, которые были поданы на высочайшее имя из тюремных камер, будут приняты во внимание, а вина тем самым умалена или прощена; или просто думали: а вдруг? вдруг?

Они слышали, что приговоры сановников были суровы; но оставался — сам царь, император; виделось его снисходительное, «загадочно»-властное, знающее лицо, казалось — есть милость, истина, братство, тепло.

Смутная тишина установилась в голых, унылых комендантских помещениях с низкими кровлями, когда начались наконец чтения «сентенции» — приговора.

Из конца в конец двора крепости, из одного коридора в другой — от «разряда» к «разряду» отдавалось:

— Четвертование... милосердие государя... заменить повешение... Подвергнуть расстрелянию... государь изволил... Каторга навечно... Двадцать лет каторжных работ с последующим поселением в Сибири... лет каторжных работ с запрещением въезда в столицы... двадцать лет каторжных работ... двадцать лет каторжных работ... Каторга навечно... Каторжные работы навечно... с лишением прав состояния, чинов и дворянства... с лишением прав состояния... в солдаты с лишением прав состояния и выхода в офицеры... Каторжные работы навечно... Пятнадцать лет каторжных работ... Милосердие государя... соизволил... Всемиловитый государь даровал... Лишить чинов и сослать в поместие... Десять лет каторжных работ... Четвертование... повешение... сослать в дальний гарнизон без права... Солдатом в действующую армию... Десять лет каторжных работ... Каторжные работы навечно... Два года

каторжных работ с поселением в Сибири навечно... Рядовым в линейные батальоны... Рядовым в туркестанские крепости на... Двадцать лет каторжных работ... Каторга навечно... Лишить... Выслать в симбирское имение... Вечное поселение... Вечное поселение в Сибирь с запрещением въезда в европейскую Россию и посещений родственников... Поселение в Сибири с запрещением въезда в средние губернии... Каторга навечно... Повешение... Четвертование... Милосердие... Двадцать лет каторжных работ, по конфирмации пятнадцать лет каторжных работ... Поселение... Рядовым в действующие армии... Поселение... Каторга навечно... Пятнадцать лет каторжных работ...

Кончились чтения сентенции «по разрядам»; пыльные, помятые люди стояли молча, унтеры, писаря собирали бумаги; офицеры шептались, не глядя на приговоренных.

— Но что же это, мой милый... Но... государь *понял*, он обещал... он даровал... он... дал слово, — подошел к Лунину Никита в своем заштатном мундире; он подошел именно так, будто они только что расстались, хотя все это время, исключая тот эпизод в коридоре, они не встречались, а перед началом «сентенции» успели лишь кивнуть издали, хотя были соседями по «разрядам».

Теперь он, недоуменный, стоял перед Луниным.

— Мы искренне каялись, мы рассказали... Мы писали прожекты: государь сам просил об этом. Он был ласков. Двадцать лет каторги... Но Александрин? а матушка? Мишель, что это?

Лунин молча обнял Никиту.

Вскоре в группах еще не разведенных государственных преступников пошел смех, движение; шепотом и вполголоса передавались слова с добавлением жестов.

Говорили, что старый гусар Лунин во всеуслышание объявил:

— Господа, прекрасная сентенция должна быть орошена! — и тут же, при всех, исполнил сказанное.



Кто видел, кто нет, кто передавал — «оросить», кто «окропить»; Луний якобы сказал по-французски, тут же возникли варианты перевода; веселье нарастало, все смеялись или улыбались; один лишь престарелый русский немец Тизенгаузен все ходил, все ходил по голому, серому двору в стороне от всех — пять шагов вперед, пять назад, по уже установившейся привычке — и повторял одно:

— Каторга и в Сибирь вечно... Боже мой... Каторга и в Сибирь вечно... Боже мой... О, мои Михаил, Александр... дочушка...

Бенкендорф не мог скрыть своих чувств при виде «ответа»; некоторые неисправимые идеалисты, наблюдавшие его издали, якобы замечали на розовом лице следы печали по поводу строгости приговора; но бывшие близко узнавали лишь раздражение.

Конечно, в голове его уж предчувствовалось послание государя по случаю смеха приговоренных: «Презренные и вели себя как презренные...»

Голенищев-Кутузов был желчен и неловок; он знал, что ему еще предстоит провести процедуру срывания эполет, преломления шпага, сжигания мундиров, и мысленно представлял поведение людей и при этом.

Священник Петр Мысловский был невесел, павловские гренадеры — угрюмы, они поглядывали то на начальство в аксельбантах и матово сляющих в сером петербургском дне эполетах, то на живописную и помятую толпу расходящихся, разводимых осужденных; некоторые из них, не успев переговорить с давно не виденными друзьями, теперь торопливо останавливали друг друга, с особенной теплотой обменивались двумя словами, пожатием рук; лица яснили, становились сдержанно-веселыми, строгими; как по уговору, никто не напоминал об очных ставках, рыданиях и всех допросах — царская милость на глазах

сплачивала страждущих, обреченных; тут были не дети, представшие пред отцом, — тут были мужчины и граждане, готовые к крестной муке; Чернышев презрительно, но невольно слишком резко пожал плечами.

— И в Сибири есть солнце! — передавалась из уст в уста чья-то простая мудрость — кажется, Пущина или дальнего Сухинова; мимо угрюмого Бенкендорфа, сопящего Голенищева проходили с ухмылками и теми отчужденно-ироническими, спокойными взорами, которые тотчас же отделяют незримой стеной презрения и самостоятельности внутри самого несчастья и внешнего приближения; на месте рождалось простое и ясное — де ка б р и с т ы.

Лунин успел остановить Ивашева; они обнялись.

Кавалергард растроганно улыбался.

— Глядишь, встретимся, — добродушно сказал старший.

— Может, и так, Михаил Сергеевич.

— Прощай до лучших дней.

— Прощайте. Не знал, что вы здесь. Многие не знали о вас.

— Ну, ну, — сказал Лунин, пожав плечами, и, улыбаясь, так и не прибавил: «Но где же мне быть?»

* *
*

В серых тюремных тучах балтийского острова Лонггерна, Выборга и в казенных домах и тюремно-корабельных трюмах теряются следы Михаила Лунина новых лет.

Время от времени до Екатерины Сергеевны, до немногих оставшихся в Петербурге, Варшаве приятелей, впрочем, как правило, скрывавших свое знакомство с отъявленным преступником, «закоснелым негодяем» (любимое слово в следствии и в суде) Михаилом Луниным, доходили толки.

Рассказывали особым шепотом, что в Свеаборге Лунин

содержался в столь сырой камере, что с потолка не капало, а лило, да на самую кровать; что при посещении камеры ревизующим начальством Лунину, сидевшему почти «безвылазно», без свечей, на воде и хлебе, был задан вопрос — нет ли у него недостатка в чем-либо? на что он якобы отвечал, улыбаясь:

— Нет, всем доволен, а не хватает мне только зонтика.

Доходили версии, что Лунин усердно молится; что он не замечает начальства, что пытается рисовать — давняя его детская страсть наряду с композицией! — ногтем на сырой стене женский профиль; что он прилежно читает Писание, что просил французских книг из самых отъявленных материалистов, а ему не дали; что он то ли читает, то ли повторяет наизусть Жозефа де Местра, мрачных иезуитов дымной Испании пятнадцатого столетия, отцов церкви и богословов, связанных с традицией Платона, Августина, Фомы Аквината и даже ужасного Лойолы; что он усиленно интересуется эллинами и всем солнцем и блеском, какие дала высокая мировая поэзия.

Он много спит, кутаясь в тонкое бязевое одеяло; он день-ночь ходит по тесной камере — думает; слух о его бумагах, весть о его добродушии.

И не было в этих толках лишь одного, чего ждало и начальство, и друзья, родные — сестра, кузены: «ради его же блага...»

Впрочем, все эти толки витали в узком кругу и передавались именно шепотом; и все меньше было в свете людей, которым был интересен Михаил Лунин.

Жизнь идет своим чередом.

* *
*

В Чите они впервые за годы увиделись с Мари Волконской и Александрин Муравьевой.

Лунина привезли к почти, его порядочно растрясло за

последние перегоны, квартальный надзиратель Петров, памятуя историю с провинившимся Желдыбиным (историю, в которую была замешана вездесущая сестра Екатерина Сергеевна, пытавшаяся увидеть брата на этапе и направоналево подкупавшая, бранившая, умолявшая конвой, жандармов, смотрителей и всех, кто попадетсЯ), был хмур и придирчив, Лунин отвечал «спокойным» презрением, но все это утомляло; путь от Выборга до Читы долог, да еще всякие отсрочки в связи с той историей (на этапах ожидали раньше, везут позже), и вот наконец последние перегоны, кандалы тяжелеют, а дурак придирается.

Не зная, что за место, да и не интересуясь этим, Лунин бросился спать, а наутро — уж бодрый — весело встретился с друзьями, которых не видел более года; во дворе тюрьмы его приветствовали азартными криками Никита, Волконский, Ивашев, Анненков и другие, которых доставили в Читу ранее.

Лунин уж слышал в Иркутске, при томительном почти недельном ожидании «казенного транспорта», о головоломном событии — приезде жен некоторых преступников вслед за мужьями; теперь, при первой встрече в голом дворе с бревенчатым частоколом, Сергей Волконский лихорадочно рассказывал о жизни в Нерчинских рудниках, где они успели побывать, пока Лунин сидел по балтийским тюрьмам, о подвиге Мари, Александры Григорьевны, Нарышкиной и других, о работе киркой под землей, о невозможности жить и опять о жене — о том, как она жила в полуразваленной избе в диком месте, как ходила к рудникам, как — не умеющая стирать! — стирала рудниковые робы и белье на всю братию, а не только на мужа, как топила печь и на телеге ездила за дровами; в его голосе ощущалась та особая торопливость, которая придается чувством вины; вообще князь довольно сильно изменился в общей манере, в нем, с одной стороны, явилась некоторая степенность, мужиковатость, что было подчерк-

нуто и одеждой — эти шаровары, этот казакин; с другой стороны, когда он начинал говорить, в голосе вдруг порой сквизило волнение, живое чувство, — ранее он был более замкнут, угрюм; он говорил:

— Ты увидишь, Мишель. Ты увидишь ее. Ты увидишь их... А работа здешняя — тебе повезло. Тебе повезло, да тут курорт — нынешняя работа. Ты знаешь Нерчинск? У, Нерчинск! Кирка. Темно. На голову сыплется порода, сыро, офицер нагл и груб. Здешние лучше, здешние не в пример лучше, — заученно добавил он. — Там и климат суворее. Ну, а здесь — ты увидишь, увидишь.

— Конечно, увижу, Сергей, — отвечал Лунин, улыбаясь ожидавшим своей очереди внутренне скорбному, слегка заросшему, начавшему смотреть исподлобья, но радостно улыбающемуся Никите, молодому, грустному, по-прежнему стройному и красивому Ивашеву, кудрявому Анненкову в его бестолковом *pinse-nez*; все они топтались на месте, прикасались к Лунину, рассматривали его; в их взглядах он видел радость встречи, радость найти свежего человека, связанного с той жизнью... видел и нечто иное: надежду, что ли? некую странную надежду?

— Однако вы хороши, — уронил он со своей добродушной улыбкой, оглядывая друзей. — За этими хотя бы есть уход, — похлопал он по спинам растроганного Никиту, время от времени повторявшего: «Мишель... ну, Мишель», и как-то заискивающе засмеявшегося Волконского. — А вы-то?

— Что мы? — смеясь, возразил Ивашев; тут подошли еще быстрый, несколько нервный бывший измайловец Муханов, медлительный Митьков и молодой человек, которого Лунин прежде знал плохо, но который, как он заметил, сопровождал ему в Свеаборге и на этапах.

— У вас щи на ворота, господин ротмистр, кавалергард, — сказал Лунин.

Подошедшие посмеялись, глядя на смущенного Ива-

шева, грустно пытающегося рассмотреть собственный широкий ворот на серой рубахе.

— Сбегал в город к некоей хозяйшкe, забыл усы вытереть, забыл? вот по усам текло, а...— с готовностью заговорил Анненков, лишь бы говорить.

— А то ты не узнаешь эти щи,— без улыбки возразил Ивашев.

Лунин пристально посмотрел на него...

— Михаил Сергеевич, ну расскажите, *как?* Нет ли общественного мнения в нашу пользу? Что государь? Что в Иркутске — не слышно ли о перемене нашего положения? — затараторил нервный Муханов. — Нет ли при дворе либеральной партии?

— Вы спрашиваете, будто я с придворного бала,— улыбнулся Лунин.

— Но все-таки: вы *оттуда*,— сказал Муханов. — Всякий человек, пусть по дороге...

— Ты еще не знаешь этого чувства,— перебил Волконский (видимо, разговорчивость Муханова была уж известна). — Всякий, прибывший с запада, невольно принимается как оракул. Здесь как в яме. Даже коли ты *ничего* не знаешь, все равно это «ничего» — более, чем *наше* «ничего».

— Тюрьма на острове, в Свеаборге, тюрьма в Выборге, тракт, тюрьмы по пути, последняя в Иркутске — вот мои новости,— с усмешкой сказал Лунин. — А эти новости вам известны. Я думаю, вы все ж таки знаете более. По всей вероятности, Александрин, Мари и иные получают почту?

— Это так, хотя плохо приходит,— все волнуясь, сказал Никита.

— Отчего же, от беспорядка?

Вокруг помолчали, Волконский и Муравьев невольно потупились.

— Их пустили сюда, поставив условием отказ от всех

прав,— наконец просто сказал молодой человек, видя затруднение старших.

— Как? И им? Ну, ловок,— сказал Лунин. И никто не спросил, кто же ловок.

Вновь была пауза.

— Как же, однако, они получают? впрочем, моя сестра тоже обходит... законы,— нарочито запнулся он перед последним словом, давая понять, что оно неуместно, но иного нет.

— В России что-либо благое возможно только по недосмотру властей,— опять тихо сказал молодой человек; Лунин наконец как следует взглянул. Это был астенический белокурый юноша с мягким, но как бы намеренно прямым взором.

— Вы даже не знаете, какую странную мысль сказали,— смеясь, поддержал Лунин.— Будущий сатирик обязательно придет к ней...

— Господа, что же это,— послышался притворно-строгий крик офицера.— Давно пора завтракать, вы вновь оназдываете на работы.

Никто не обратил внимания; по двору стояли кучки людей, говоривших между собой и, кстати, поглядывавших на новоприбывшего Лунина. Он уже поздоровался почти со всеми, но им не терпелось поговорить.

— Иди... с завтраком,— чуть погодя, как бы не спеша обдумав, пробормотал увалень Митьков.— Сам ешь.

Посмеялись; Митьков и Муханов были взяты вместе. Вина Муханова была в том, что, когда в хмельной ватаге разговор зашел о цареубийстве, он, вечно лезущий вперед, нервный и разговорчивый, вошел в раж и пошутил: «Повесить, а к ногам — подвесить семейство, всех великих князей». Муханов пошутил и забыл... Митьков был во всем солидней; но теперь они составляли как бы естественно возникшую комическую пару по контрасту.

— Снова щи, квас! — быстро подхватил Муханов.— Те

самые, Василий Петрович! — живо обратился он к Ивашеву. — Хозяюшка-то.

— Господа, что же это?! — нехотя изумлялся офицер, которому все опостылело.

— Пойдем, — нехотя же солидно сказал Митьков. — Надорвется он.

— Вы-ы-ы... — мягко обратился Лунин к молодому человеку, чувствуя его постоянный взгляд на себе.

— Моя фамилия Громницкий.

* *
*

На работах Лунин старался быть невозмутимым, но было тяжело; сказывались долгое пребывание в тюрьмах и вынужденное физическое безделье, а кроме того, Лунин быстро понял, что общая телесная ловкость и сила и кавалерийские и все военные навыки — это не то же, что умение в работе; такое умение — вещь особая, оно состоит из тысячи мускульных оттенков, направленных к одной цели — чтобы работа шла как бы сама собою и чтобы не тратить себя там, где можно не тратить. Чтобы вообще как можно менее тратить себя. Лучший работник не тот, кто мечется и пыхтит, весь в поту, а тот, кто как бы ничего и не делает, как бы ленится, а между тем работа идет.

Все это Лунин не без потерь постигал в ходе самой работы; там все, связанное с конем, здесь тачка со щебенем и камнем, к которой не приучен ни один твой инстинкт, ни один стиб тела.

Он видел, что товарищи искоса наблюдают, стремясь не замечать его неловкости, но именно поэтому особенно заметные *для него* в своей наблюдательности; у них-то, главным образом у пришедших из Нерчинска, уж были навыки. Он же так и не подавал вида, чувствуя между тем, что его сильное, собранное тело быстро войдет, входит в нужную колею.

Работа, по всей вероятности, была совершенно бессмысленна; на окраине этой распроклятой Читы, при упоминании которой он еще три года назад в удивлении поднимал бы брови и которая теперь виделась в стороне как скопление бревенчатых и черных, как многие сибирские дома, но все-таки живых и дымящих жилищ, как некий центр воли, цивилизации, — на окраине этой Читы, в виду своего острога, они возили битый камень к некоему ровному месту, на котором имели быть воздвигнуты то ли «кошара» — овчарня, то ли новый острог, то ли пакгауз для ссыльного фуража. При этом ни овец, ни лишнего фуража вовсе не было. Кроме того, они строили-лепили и самое это сооружение.

Местность была уныла. Кругом стояли пологие холмы, не очень оживленные даже в эти июньские дни годового благовеста; они были серовато-зеленого, чуть пестрящего цвета и производили несколько давящее впечатление тем, что как-то заметно не были ни горами с их величием, ни равниной с ее истинным простором, небом и гладью; они ограничивали видимость и в то же время не давали того чувства тепла, умиления и уюта, которые дают густой лес с речкой или овраг, теснина. Правда, некоторые из них — в отдалении — были покрыты, как шерстью, жидкими рощами; но это не радовало глаз. В стороне, за дорогой, лежала эта Чита — черные (смоленные?) дома среди голого места, эти дымки — лето, но печи топят, хотя уж не рано; рядом заунывно ревели два привязанных рыжих теленка; небо было серое — июнь не баловал; дождя не было, но он, казалось, все думал — пойти? не пойти? и эта погода действовала на сердце печальнее, чем злой ливень; по сторонам дороги, ведущей к тюрьме, и по краям тропки, по коей возили тачки, росла немудрящая бледная травка и кое-где торчали оранжевые, уже подсыхающие жарки, огоньки (их звали так и так, сказали товарищи) — сибирские цветы, отсутствующие в других землях; их

яркий свет, редкий и странный, также отнюдь не оживлял места. Вообще вокруг не было той мощи, напора и изобилия дикой природы, которыми так трогают душу иные дали Сибири, виденные по пути; все было скромно. Даже тайга в отдалении была забыто-уныла. Или просто одно чувство — езда (даже и с жандармами, что, в сущности, все равно) и другое — будни?

И все-таки вещее ликование, свежесть были в душе и в теле, несмотря на всю грусть окрест и в самой душе, — свежесть, бодрость, ибо природа, свет (пусть серый), небо, ветер везде одни; и никогда так не чувствует этого сердце, как после разных тюрем.

Работа? ну что же, работа; хорошая, бодрая, хотя и пустая.

Работа для тела; Лунин с удовольствием чувствовал, как распускаются, цветут его мышцы, как соки, кровь бегут по затекшим членам, как храбр ветер, тиха неоглядная даль небес и задумчивы эти холмы; как набухает его забытое, истомленное сухью тело живой полнотой, бодрящей усталостью.

Он катал тачку; чертово это вихляющееся колесо не давало покоя.

Он подходил к засохшему мелкому дереву, у которого были свалены материалы, брал огромнейший заступ, похожий на совок, и, неумело вращая в руках, привычных к уздечке и сабле, накладывал битый камень и щебень. Лопата выворачивалась, крутилась; мешали кандалы; крупные куски не хотели ложиться в ней, скрипуче сипели по тускло сияющему железу и скатывались; он снова подсовывал лопату под эти куски: крупные были как раз нужнее; непривычное, кособоко согнутое положение поясницы при этом уже давало себя знать; но это был благой, приятный зуд, преодолеваемый телом, здоровьем; наконец тачка была готова, он бросал лопату и брался за ручки.

Трудно было везти по прямой; чертово колесо съезжало в траву. Он надеялся на свою силу и толчками, напором рвал тачку вперед или назад; проходивший солдат со штыком с невольной снисходительностью говорил:

— Да вы полегче, полегче. Везите, чтоб она сама *ка-тилась*.

— Ничего, братец, — не без досады, но и не без снисходительности со своей стороны отвечал Лунин; он вытаскивал тачку, затем старался вести ее мягко, непринужденно; но после, забывшись, опять переходил на толчки, рывки — и начиналось «сызнова».

Товарищи копались, строя: мешали в растворе щебень, разбирали камни, клали их, мазали; разогретый борьбой с тачкой, довольный, подъезжал Лунин — и говорил в невольном рабочем возбуждении:

— Навались!

— Сам разгружай, Мишель, — говорил, разгибаясь, улыбающийся Волконский. Нервность его прошла, он тоже был втянут в работу. — У нас и так есть дело.

— Однако, господа, мы что-то сегодня слишком добросовестны. Пора и честь знать.

— Это Лунин, из-за него.

— Ему бы в Нерчинск, — не забыл кто-то.

— Ничего; пусть.

— Еще ведь огороды.

— Да все равно пора кончить этот проклятый фундамент.

— Приедут дамы, все бросим.

— Да, уж раз втянулись, надобно делать.

— Я разве против?

— Так, так, Михаил Сергеевич.

Лунин сначала подгребал вниз заступом, а после просто подымал тачку за ручки — и щебень и камни с ужасным дисгармоническим звуком сыпались наземь, вздымая пыль.

— Лихо, но быстро устанете.
— И пыль.
— Ничего! — браво говорил Луний, на манер мастеровых, пародийно стряхивая ладони — друг о друга. — Что ж, поехали, вороной.
— Хорош, — улыбались ему вслед.
— Экие порты и рубаха, а все таков же — статен, развязен.
— Гусар.
— Луний! не хотите ли помазать? тачку — каждый сумеет.
— Сейчас, — кричал издали Луний, между тем снова въехавший в вязкую траву.

* *
*

Он начал мазать; в первые минуты эта работа показалась ему неприятной, и на миг глухая тоска впервые за эти дни вошла в отдохнувшее сердце. «Где я? И что? Зачем?»

И тут же эти вопросы были забыты.

Мазали и сверху местами, и в яме; Луний попал в яму.

Она была накрыта настилом, припорошенным соломой — от солнца и «от дождя» (хотя непонятно было, *как* могла помочь от дождя трухлявая солома); это тотчас же напомнило худшие дни в Свеаборге... Внизу, в жидкой глине, были свалены эти самые камни — отборные, крупные; тут же был щебень; требовалось, употребляя глиняный раствор из тут же стоявшей кадки, укладывать камень в фундамент таким образом, чтобы промежутки заполнять щебнем, а все в целом внутри и снаружи замазывать глиной; жидкую глину — просто голыми руками; в ней — мелкие камешки, щепки, даже стекло; грязь,

смад, сырость одновременно с пылью, едкий щебеночный прах.

— Мишель, не бери сразу много, это одна из тяжелых работ. Успеешь,— застенчиво сказал в полумраке Никита, стесняясь делать Лунину указания.

— Ничего,— серьезно ответил Лунин.

Они некоторое время лепили молча; Лунин, весь в глине и щебне, произнес задумчиво:

— Чернышева бы, мерзавца, сюда.

Все здесь бывшие, включая солдата, нехотя засмеялись, при этом одобрительно посмотрев на Лунина: он не ерничает, не ершится в этой работе, что стало бы признаком слабости и неискренности, а именно прост и серьезен.

Они лепили; однако же сверху послышалось:

— Едут!

— Это наши,— сказал Никита, тепло посмотрев на Лунина.— Хочешь поговорить с Александрин?

— Ну, разумеется. Надобно умыться,— ответил Лунин, долепивая к темному углу острый камень, заправляя щебенку.

— Вон ведро; я помогу тебе, милый.

Тут-то, при дороге, и увиделся Лунин с женами товарищей; первая подошла Волконская, и Лунин тотчас же невольным мужским взглядом отметил перемены во всем ее облике: ссылка шла ей впрок. Тогда, в Петербурге, она была беременна, зелена и уныла и полна неопределенных предчувствий; теперь это была расцветшая и крепкая, изящная женщина, притом ее лицо было из тех, которые страдания не портят, а, наоборот, добавляют им некой изюмины, будто жизненной силы и обаяния; смуглое, южного склада, оно было красиво решительной, прямой красотой, необычайно блестящие, то черно-алмазные, то угольные глаза смотрели резко, влажно и как бы больно,

чуть выступающие скулы только подчеркивали ее общую женственность, гладко убранные волосы создавали ощущение строгости и как бы угнетаемой страсти. Кроме того, у нее был тот тип, который выигрывает в природе, в открытом месте; в ней мало было тонкости, плавности, «затаенной» прелести, которая так хороша при свечах, в комнате, зато были эта если и не объявленная, то все-таки резкая женственность и определенность, которые так заметны в дневном белом (пусть сером!) свете.

Волконская, идя к Лунину, как всякая женщина в любом положении, не могла не заметить его особенно внимательного взора; она тотчас же еще подобралась и ожилилась на ходу — и наконец почти побежала:

— О! О, Мишель! О, Мишель!

— Мари, милая, — громко говорил Луин, целуя руку и добродушно хохоча от всей странности этого жеста в этой обстановке; звякнули его кандалы, он мельком взглянул и опустил руки, чтобы не смущать затененно приостановившуюся Волконскую. — Вот бог приводит.

— Да! Да!

— Мы, кажется... почти не были знакомы?

— О да! да!

Луин опять засмеялся — неуместности этого радостного «да! да!».

Между тем сзади спешили Александрин и чуть полная, вся в улыбке Нарышкина — и оба, Луин и Мари, ожидающе обратились к ним; дорога шла слегка на холм, и Александрин (подъехавшая позже) запыхалась и сбивалась; она заранее вдруг по-детски сморщилась, зарыдала и уж спешила к Луину не только затем, чтобы встретиться, но и затем, чтобы спрятать у него на груди свое расстроенное лицо.

— Александрин, вот мы все вместе, — говорил за плечом сам чуть не плачущий, радостно-скорбный Никита; его жена всхлипывала на груди у смущенно улыбающе-

гося, «спокойного», статного Лунина, готового тоже смахнуть слезу, а он, Никита, вышел вперед и гладил ее по голове; Волконская и Нарышкина тоже начали всхлипывать.

Вокруг стояли молчаливые, растроганные товарищи.

* *

*

Лунин и здесь внес неумовимое начало прочности (этой «надежды») и спасения как бы; как-то сразу повисло настроение — вот приехал Лунин, и станет...

Что станет?

Сама его утешающая, «спокойная», знающая манера, сами его ухмылки, его всегдашнее, привычное добродушие — после всего! — действовали умиротворяюще; его первая неловкость в работе на миг поколебала строй его самодовольства и превосходства, но, во-первых, он на глазах работал все вернее, «вкусней», во-вторых, это вообще была лишь «подробность», в-третьих... сейчас была уж не работа.

Вскоре Лунин, Волконская и Муравьева, оставив Нарышкину договариваться с мужем о неких заботах быта, стали прогуливаться невдалеке от работ, не обращая внимания на тоскливые взоры штабс-капитана охраны, иногда проходившего мимо в своем пыльном мундире и низко опущенных ботфортах не по форме.

Мари, Париж... русская Marie — княгиня; Чита.

Дамы рассказывали об ужасах Нерчинска (куда Александрин-то уж не попала), об уговорах иркутского начальства одуматься и не ехать далее, об условиях жизни в Чите, о письмах, посылках из Петербурга, поместий отцов и братьев.

Но слова, конечно, были неважны; время от времени они все трое бросали друг на друга особые теплые взгляды, смысл которых был единствен: «Живы? вот, живы».

Лунин искоса приглядывался к Александрина; она была куда неблагополучнее, чем Мари. Порой она тяжело дышала, начинавшие влажнеть серые красивые глаза то и дело застывали в одной точке, и взгляд изнутри надрывался как бы; она задумчиво смазывала с лица платком указанные им отметины глины, приставшие после прикосновения к «робе» Лунина, при этом как бы забыв о самой руке, ее сонном движении, и говорила плавно и грустно:

— Никита, он если бы был спокойнее, ему бы легче; я говорю: Никитушка, не заботься понапрасну, уж как все есть, так есть; нет.

Между тем глаза ее смотрели, смотрели куда-то.

Вдруг очевидная мысль пришла в голову Лунину; и, не успев остановиться, он спросил:

— А где же... дети?

Обе женщины разом отвернулись в разные стороны; он молчал, глядя перед собой, подавленный неуместностью своего вопроса; объясняться было уж глупо.

— Дети там, — все-таки, вздохнув, пояснила простая и ясная Александра Григорьевна. — Это было одно из условий и... одно из средств остановить нас...

Они выдержали неизбежную минуту.

— Как, однако, ваше семейство? — обратился он к Волконской. — Что Николай Николаевич, братья?

Но, видно, на том дне написано было задавать не те вопросы; Мари помедлила и ответила, отвернувшись:

— Братья почти не пишут мне; они осуждают мой поступок. Они полагают, что, кроме долга перед мужем, есть долг перед всем семейством, перед ребенком; они, разумеется, правы со своей стороны. Отец очень болен, он так любил меня.

Далее она, скрывая рвущееся чувство, сказала как бы не своими словами:

— Он «Раевский, слава наших дней». Сыновья, выводимые за руки: помните литографию... Младшая дочь, лю-

бимица, воспетая Пушкиным и иными. Столь блестящий брак, молодой генерал... князь...

И прибавила снова, более от себя, но и более жестко:

— Папá считал, что бог награждает его за терпение и верность отечеству. И вдруг — все это; и я одна виновата. Я мало имею известий от своих родных.

— Но хотя бы можно понять! — сказал Лунин, стараясь взять такую манеру, чтобы несчастье женщины было обсуждаемо не как исключительное, а как будни.

— Тут еще... ведь Сергей написал, что без меня погибнет; они не могут простить ему. Они считают, что он не должен был жениться, раз состоял в тайном обществе.

Лунин кивнул.

— Второе, что он должен был отвергнуть мой приезд. Они... не могут ему простить.

Странное дело — они сразу же, с первых слов, напали на самое больное и темное; и, казалось бы, обе женщины должны были досадовать за это на Лунина.

Между тем, видя его задумчивость, они — чувствовалось — отчасти успокаивались сами.

Но следовало вернуться к работам — нельзя было бесконечно испытывать терпение усталого штабс-капитана; Лунин, «из учтивости» стремясь не греметь кандалами, помог вынуть из повозок складные стулья, подошли Волконский, Никита, грустный Нарышкин, озабоченный Ентальцев и другие и отнесли стулья, книги, корзины с вязаньем и штопаньем дальше от дороги; Лунин вернулся в яму; некоторое время они работали молча, как бы стараясь сделать запас на будущие часы; затем Нарышкин вышел к жене, остальные тоже стали бросать свои заступы, кирки, совочки и тачки; все расположились кто на чем — на тряпье, на рогоже, на стульчиках — и развернули газеты, открыли книжки или стали просто глядеть в холмы.

— Однако жизнь ваша приятна,— сказал Лунин, вылезая из ямы.

— И в Сибири есть солнце,— улыбнулся сзади Никита.

— Солнца, право, пока не заметно.

— Выйдет.

— Так.

— Что наш командир присмирел?

— А начальство уж проехало.

— Лепарский?

— Мог и он.

— Однако скоро обед.

— Досидим, а там...

К вечеру Лунин, с непривычки уставший, рано улегся — побудку обещали затемно; как в войсках — главное вовремя встать и выйти, а все остальное образуется по ходу; он ворочался на своем ложе — новое место, необычная усталость не смаривали мгновенно, а, наоборот, не давали спать; по томительной, свежей «разбитости» тела он ощущал, что завтра будет ломить члены, ныть все; «Ничего, на *работе* тотчас же разойдется», — подумал и стал засыпать; но важный, волнующий голос, доносившийся из-за стен, не давал забыться окончательно; он знал — то пела Волконская, жена друга.

Вскоре он снова спал, и пение, сопровождаемое тонкими звуками клавесина, еще слышалось ему сквозь туман.

* * *

*

Кроме прямых каторжных вовсю шли летние огородные работы; вернувшись от тачек и остального, «государственные преступники» час-два были по камерам, затем выходили.

Ползая по грядкам между сухо-душистыми, восковыми стручками гороха, ворсистыми плодиками бобов, среди бордово-зеленой свексельной ботвы и солнечно-зеленой,

сетчатой поросли моркови, вдруг обнажавшей под собой, из взрыхленной земли, нежный и хилый желто-оранжевый хвостик (лето! лето!), обирая жуков, козявок с колких, резных листьев репы и местной редьки, поглаживая пальцами суровую травку-петрушку, Лунин растроганно отдавался душой и сердцем незначащей, тихой суеде простой природы, ощущению мягкой жизни и света; иногда он, остановившись среди грядок, дыша землей и разнообразным, но неизменно свежим запахом зелени, мог долго сидеть, ничего не делая, опустив руки в кандалах вдоль согнутых колен и в сонной улыбке глядя на куст гороха, на сморщенный, как бы по-детски, трогательно сердитый свекольный лист или на стручок фасоли; друзья, посмеиваясь, говорили:

— Мишель, ты бы на коленях. На корточках долго не высидишь, не наездишь.

Но он не «ездил» по этой земле на коленях; арестантские шаровары — не одежда гусара, но он «не изменял привычек» — инстинктивно старался хранить одежду «в чистоте и крахмале».

К осени в Чите построили новый острог, и почти всех перевели туда; но Лунин остался на территории старой тюрьмы в избушке — «доме Дьячкова», по фамилии помещанина, который выстроил; с ним поселились Ивашев, Муханов, Митьков, Громницкий.

Никита и Волконский были с женами, и это невольно разделяло их с Луниным незримой стеной; старая «тюремная местность» была не лучше, не хуже новой, тут были огороды и тишина... и Лунин не пошел за друзьями.

* * *

*

— Все Чилд-Гарольдом, Базиль,— говорил Лунин, возвращаясь с огорода и хлопая Ивашева по плечу набухшей грязной рукой.— Пошел, покопал бы; попил водички.

Ивашев поднимал на Лунина старчески-молодые глаза, благодарно и вяло кивал и оставался сидеть, глядя в одну точку и опустив голову.

— Не горюй, Василий, жизнь всюду одинакова,— продолжал Лунин, грузно и грациозно ходя по комнате, стаскивая серую верхнюю рубашу, оставаясь в тонкой и белой нижней.— Где полотенце? а, вот; я вернусь тотчас же.

Он выходил из сеней, пахнувших дерюгой, овцой и старой соломой, шагал с крыльца прямо на землю и бурно и как-то грозно фыркал над кадкой и над ведром, черпая и вновь расплескивая блестящую воду; он возвращался и говорил Ивашеву, сидящему в том же положении:

— Пойдем, Базиль, вылью на тебя воды?

— Оставь, Мишель,— отвечал Ивашев, машинально полуследя за движениями по горнице бело-розового, сопящего Лунина, растирающего подмышки, грудь, плечи.

— Как хочешь, мой друг. Ведь ты в хандре, в сплине, в меланхолии, а движения материальные помогают духу. Mens sana *, друг мой.

— Как же ты всегда был против материалистов-механиков?

— И что же?

— Мы только лишь разные люди, Мишель,— отвечал Ивашев, вновь глядя в свою точку.— То, что ты переносишь ясно и тихо, я не могу вынести. Силы мои на исходе, Мишель. Я мужчина, мне стыдно, но что скрывать от *тебя*. Я — я не могу... Я вспоминаю следствие, этот ужас, этот ежеминутный страх казни. Я не участвовал, как ты, в грандиозных сражениях века, но в малых участвовал; впрочем, я полагаю, малый, большой бой — все одно, самочувствие бойцов одинаково.

— Так.

* Начало латинской пословицы «здоровый дух в здоровом теле».

— Вот, я полагаю, что этот... ужас, о котором я вспоминаю, не сравним ни с какой атакой — с мгновенным подвигом; ты видел, как ослабели даже самые сильные.

— Это от неожиданности и отсутствия опыта практического. Атакам их учили, а тюрьмам — нет.

— Может быть. Но и тебя не учили тюрьмам. Но я не могу. Эти гнусные тюрьмы, этот Чернышев.

— Чернышев...

Лунин спокойно выругал «старого друга».

— Да. И теперь. Эта Сибирь, работа, отдаленность от всех родных. Ночью проснешься — *где я?* Как только я представляю лицо матушки...

Он глухо умолк.

Лунин сурово ходил по комнате, дотирая руки распушенным полотенцем; дощатые полы, лавка, голый грубо-деревянный стол, лампада дрожали от его слишком мощных для этого дома шагов, всех движений.

— Говорят, она рвалась ко мне. Отец тоже, но их не пустили... не пускают... Я ложусь — и вижу во тьме: матушка рвется, рвется ко мне, а дверь заперта, и я не могу открыть — я вижу ее в окно.

— Не вспоминай снов, Базиль.

— Когда день, утро, работа, люди, то ничего; а только что останешься...

— Читай «Отче наш».

— Вольно тебе шутить.

— Я, кстати, не шучу; это верно помогает.

— Отчего не пустить...

— ...он, разумеется, — снова хладнокровно выбранился Лунин.

— Мишель, нельзя таким образом говорить о верховном правителе такой страны, как Россия, какой бы ни был.

— Да какой он правитель? он...

— Нельзя. Он крут, но и мы виноваты.

— Да чем же я, например, по-твоему, перед ним виноват?

— Ты не смирился, проявил вольномыслие; а Россия сильна традицией и канонам.

— Запел. В Англии я был бы член оппозиции Лунин, а здесь — государственный преступник, «погибший» за преступления, которые мог бы совершить, и за речи, которые мог бы произнести; ну, вина.

— Мишель, ты не христианин.

— Это я, о котором только и слов, что продался иезуитам?

— Мне с тобой трудно спорить.

— Да ведь пойми, мой милый, что речь идет не о той вине, которой мы все виноваты перед богом; речь идет о вине перед человеком, который действует от имени бога, а это ложь.

— Это ты только так говоришь.

— Бог даст, и напишу,— самодовольно возражал Лунин, натягивая рубаху.

— Ох, Мишель.

— То-то.

— Мишель, смирение в сути своей не есть смирение перед кем-то; оно — само по себе. Человек слаб, что бы ни думал о себе; век его короток, физическое существование — эфемерно. Ты горд, но каждое мгновение можешь умереть или сделаться болен; где тогда будет твое самолюбие?

— Там же и будет.

— Но...

— Пока жив — жив.

Ивашев молчал; потом вспомнил:

— Как мы дрались?

— Помню.

— Где Камиль? ты знаешь, она в последние годы обещала быть прелестнейшей красавицей.

— Часом, малютка с колчаном не запас ли...

— Что ты. И что за смысл.

— Не ищи, милый, такого смысла.

— Да я понимаю; но зачем же *теперь* толковать об этом.

— Я к тому, что никогда не знаешь, *как* повернется жизнь. И все чувствуют это и все равно поддаются — рассчитывают, глядят вперед; а жизнь... о, жизнь — жизнь.

— Ты знаешь, я в первое время невольно надеялся на милость, на послабление — на то, что я проснусь, и этот сон, этот ужас пройдет — и все засмеются в облегчении. Мол, не век быть в страхе, напугали, и хватит. Но дни идут... месяцы, и я теряю надежду. Я не могу. Я молод, эти годы впереди, эта работа, тюрьма — да ты все знаешь. И за что, Мишель? скажи, какой я особенный революционер? карбонарий? и чего я хотел такого, чего не хотел бы каждый разумный, незлой человек? я даже ни разу не выстрелил за все время; я отговаривал всех от выступления.

— Сам видишь: поздно спрашивать. Надобно принимать то, что есть; наихудшее для души — это словесный оборот «что если было бы». Есть — и все. Жив — вот славно. А там посмотришь...

— Я не могу; я выбит из моей колеи, друг мой. Я удавлюсь... или...

— Не стоит этого. Это всегда успеется, а ведь оно необратимо. Жизнь же — жизнь неизменно полна всяких неожиданностей.

— Какие неожиданности в нашем положении. Разве перейти в новый острог, — неловко усмехнулся Ивашев.

— Ты не веришь и в неожиданность?

— Нет, я верю, но...

— Я сам не большой поклонник ее; но она есть — и это так, милый. С этим приходится условиться, ни на что нельзя закрывать глаза. Мог ли ты пять лет тому думать, что будешь в Сибири?

— Нет,— вновь опустил свою русую голову Ивашев.

— Вот первая неожиданность. А может быть и вторая.

Лунин уже сидел в «импровизированном» некрашеном кресле с таким видом, будто был не в «избушке Дьячкова», а в покоях Брюловского дворца; он вещал, кинув ногу на ногу и раскуривая самодельный кальян.

— Какая же?

— Хорошо. Например, околеет царь. Этого не может быть?

— Нехорошо о царе всея...— шептал Ивашев.

— Однако же может это быть?

— Он молод... и... по-христиански...

— Мало ли, что молод; а в христианстве я разбираюсь лучше твоего; я теперь говорю о самой возможности.

— *Что* говорить, — устало вздохнул Ивашев, приподнимая тяжелую голову и по-прежнему глядя в сторону.

— Или пустят к тебе отца.

— Он не пустит.

— Он не пустит, так какой-нибудь родственник, смазливая фрейлина уговорит его. У твоего отца много связей.

— Не пустит.

— Ах, боже мой, милый; ну, прибодрись же.

— Спасибо, Мишель,— с какой-то странной опаской перед Луниным, слегка как бы отстраняясь, говорил Ивашев.

— Эх, Базиль, будь же собран.

— Пойдешь слушать музыку?

— А ты-то?

— И я,— вяло кивал Ивашев.

* * *

*

Захватив вертлявого Муханова и медлительного Митькова, пикировавшихся во дворе у поленницы (дрова на зиму!), крикнув Громницкого, забредшего в сарай, они сле-

довали «в концерт» — грациозный, важный Лунин и Митьков впереди, за ними понурый Ивашев, за ними тощий Муханов и задумчивый белокурый Громницкий; за ним — солдат.

* *
*

Так шли первые годы.

Однажды, в годовщину 14 декабря, когда в тюремном «зале» по твердой традиции, так и не нарушаемой «истериками» начальства, *декабристы* собрались на товарищеский пир, произнесли первые речи, спели любимого Вебера и вновь прослушали похвальбы Розины — арию, которую почему-то чрезвычайно любил Лунин, — после того, как Мари с обыкновенными своими чувством и глубиной грудного голоса исполнила это при всех *фиоритурах* и блеске, на кои была способна, — вдруг вышел вперед Михаил Бестужев и сказал со значением в голосе:

— Господа, я написал... русскую песню...

Они затихли, хотя давно знали за обаятельным, сутулым Бестужевым, третьим по возрасту среди пятерых братьев, в один год оторванных от старухи матери и сестер, грех музыкального и стихотворного сочинительства; вообще почти все Бестужевы были, каждый в одно и то же время, живописцы, литераторы, математики, механики, а Александр — тот самый, что витийствовал среди Московского полка, — ныне, переведенный на Кавказ, стал известен известнейшим беллетристом Марлинским.

Теперь присутствующие с любопытством и настороженно ждали, что же предложит торжественному собранию младший брат создателя «Аммалат-Бека».

Вышел Тютчев, серьезный и коренастый; его прекрасный бас-баритон был известен.

Что ни ветер шумит во сыром бору,
Муравьев идет на кровавый пир,—

серьезно запел Тютчев под как бы случайный аккомпанемент Бестужева.

Они «увидели» новогоднее утро, суровых товарищей, идущих на обреченное поле... юного Ипполита, стреляющего в себя среди снега; его старшего брата, Сергея Муравьева-Апостола — да, Апостола кронверкской виселицы, того, кто «задумчив» и «одинокий» пройдет по миру, оставив загадочный след для прочих.

Песня мешала размышлять, она была на мелодию грустной «Уж как пал туман на сине море» и брала за живое:

С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать.
И не бурей пал долу крепкий дуб,
А изменник-червь подточил его.
Закатилась воля-солнышко,
Смертна ночь легла в поле бранное.
Как на поле том бранный конь стоит;
На земле пред ним витязь млад лежит.
Конь! мой конь! скачи в святой Киев-град;
Там товарищи — там мой милый брат..
Отнеси ты к ним мой последний вздох,
И скажи: цепей я снести не мог,
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности!..

Несколько человек обнялись.

* *
*

К Анненкову в Читу приехала Полин Гебль.

Муравьева и Нарышкина сидели на балкончике своего деревянного дома, когда заметили выехавшую по зимне-весенней дороге из-за поворота нездешнюю бричку и в ней — молодую даму.

Вся она, в дорожной темной одежде, походила на грациозного колонка — местную куницу, — попавшего на не-

сущуюся льдину; ловкий в листве, он странно мечется среди реки.

— Боже мой, это из наших,— тотчас всплеснула руками Александрин.

Они сбегали вниз и остановили бричку; юная дама бросилась к ним с одним первическим и напористым:

— Где он?

— Да кто же, кто? — по-русски спрашивала Муравьева на французские вопросы Полин; та не понимала — умудрилась пронести это через всю Сибирь! — и только говорила:

— Где же он?

Выходила заминка; наконец, тоже суеятаяся, Нарышкина догадалась спросить по-французски:

— Кто же?

— Государственный преступник Анпенков,— механически выпалила Полин привычную формулу, едва ли разбираясь, кто перед ней,— и обе «сибирские» дамы вновь всплеснули руками:

— О, господи.

— Мы же несколько раз *почти что* встречались в Петербурге, вы меня не помните? — сказала Александра Григорьевна, не замечая, конечно, странности своего вопроса.

— Нет, сударыня,— в рассеянности отвечала Полин, оглядываясь: не бежит ли?

Муравьева, Нарышкина, слегка уж опомнившись, многозначительно переглянулись.

Полин попала неудачно — было то время дня, когда преступники в самой тюрьме, за засовами; проникнуть свежему человеку невозможно.

Есть нарушения и нарушения; одно — «нарушать» внутри самого положения, самого «закона», иное — преступать ту букву, по которой и судят об *исполнении*, целости «государственного установления»; Александрин и

Нарышкина уже знали эти тонкости, были как раз внутри их, Полин же, несмотря на все свои натиски и прорывы, знать их не могла; а может, как раз натиски мешали ей знать: беря штурмом Неву в громоздящихся льдах, петропавловские равелины и даже царя Николая на маневрах (именно прорвавшись к нему, она получила наконец данное сквозь зубы разрешение бросить малого ребенка на попечение матери и ехать к незаконному супругу в каторгу, в Сибирь, с лишением всех прав), она не думала, что в ста шагах от любимого ей могут помешать увидеть его; это было написано на ее горевшем лице, слышалось в ее рассеянных ответах почти не видимым ею собеседницам.

Она, хотя проехала всю Сибирь, еще не знала, что малое начальство бывает еще хуже большого. Что у него свои правила.

Муравьева и Нарышкина стояли, *зная* об этом...

Все ее угрозы, просьбы, деньги ничего не дали; власть уперлась и не слушала «эту басурманку»; да, власть на что-то смотрела сквозь пальцы «в общих пределах закона», но тут требовалось официальное разрешение, а местные начальники помнили строжайшие тайные «разъяснения» — *не потакать* и в сомнительных случаях всё решать в сторону запрета; и Николай, позволяя Гебль ехать, ведал об этом.

Всю ночь читинско-петербургские дамы возились с французенкой, у которой, при этом последнем, совершенно неожиданном препятствии в месте, где она могла видеть окно любимого, началась долго подавляемая, сшибаемая мужским усилием воли нервическая реакция; она рыдала, билась о стену, поминутно требовала Анненкова и говорила, что они убили его и не хотят ей выдать его дорогое, любимое, бедное тело; что ее ребенок, наверно, умер там, в снегу, вдали от мамы, и ему холодно, холодно там в снегу, в морозной земле; что она требует, чтобы привели

ее родную татап, что она ждет, ждет Жана, но Жан не хочет видеть, он бросил, забыл ее, бедную.

Перед зарей она вышла на крыльцо; на всем лежал розово-серый весенний и зимний отсвет, землю держал мороз, дорога, по которой она приехала, застыла в глыбах льдистого снега и твердой грязи, по ней вдали темнела некая одинокая фигура в тулупе, дерево крыльца было морозно-влажно и дышало прелью и паром, от сараев и служб тянуло теплым и кислым, дома стояли, пугая, с черными блестками мелких окон на черном же, приземистые, молчащие, непривычно далекие друг от друга, отделенные крытыми черной рогожей стожками, заборами и серыми амбарами; снег по сторонам дороги и в отдалении был синий и весь в лиловых пятнах, далее шли холмы и лесок и загадочное, розово-смутное небо; где я. О, далеко; о, нет меня, нет.

Утром она открыла глаза после двухчасового бредового сна — перед ней стоял ее милый Жан, в ринсе-пез, кудрях и оковах, и улыбался восхищенно и грустно.

* *
*

Каторжная Чита венчала кавалергарда Ивана Анненкова и французскую «антибонапартистку», модистку Полин Гебль; комендант Лепарский, раз решившись «потакать» Полин, ради случая прислал свой парадный выезд, с Анненкова перед папертью сняли оковы, Полин была с виду невеста невестой, а улыбалась ясно и странно, обряд произвели по православному обычаю, Полин стали тут же хором звать Прасковьей Егоровной, новобрачных вывели в толпу лопочущих по-французски каторжников, некоторых с белыми шаферскими повязками поверх серых рубах, роб и казакинов — гремящих цепями, радостных; зрелище было «великое».

Им дали полчаса сидеть «в кругу друзей» и охранников, затем юного мужа снова одели в кандалы, и они расстались — «до завтра».

Ивашев смотрел как побитый; Лунин увел его.

Супруга увидела уходящего, оглянувшегося Лунина, узнала — и впервые за это время улыбнулась тихо и буднично.

* *
*

Степень своевластия сибирского начальства в то время была беспредельна, и человеку, живущему по левую сторону Уральских гор, было порою трудно представить, какие и потешные, и трагические сцены могли происходить в гуще тобольских, алтайских, иркутских «пустынь». Отец преступника Пестеля, Иван Борисович, в свои годы мано-вением руки мог отправить двести человек «в железо» за пять тысяч верст, а затем вернуть их с двух третей пути и одарить якутским золотом; другие упражнялись подобным же образом.

Причем особенно были в почете всякие шутки и волеизъявления, связанные именно с неслыханными сибирскими расстояниями. Считалось особой роскошью спокойным голосом послать нарочного «тут недалеко, верст за шестьсот», или сделать что-либо в этом роде.

Какому-то из читинских богов взбрело в голову вызвать на тайный допрос вновь арестованного государственного преступника Сухинова из Зерентуйского рудника; логика была неопровержима: «Отчего комендант рудников Лепарский ездит к преступникам, а преступники в Читу — нет?» — и тройка тотчас была снаряжена; однако же начальство было не первого ранга, все-таки опасалось гнева вышестоящих и провело дело крайне таинственно, даже не оставив никаких бумаг.

И к чему бумаги? Хочу, и только. Бумаги же, по самой своей сущи, могут отбить хотение.

В один из тех же дней лета 1828 года Лунин случайно видел Сухинова, перед отправкой на следствие в Большой Нерчинский завод «завезенного» в Читу за четыреста верст: благо он еще содержался в ближнем к Чите отделении Зерентуя. Начальство, видимо, надеялось, что Сухинов покается перед ним прежде, чем перед официальным следствием, и таким образом кого-то кому-то удастся опередить «в служении отечеству».

Лунин, явившись в гости к Никите и ожидая, ходил по двору перед тюрьмой, когда его негромко, но резко позвали:

— Михаил Сергеевич?

Он оглянулся; из-под навеса, из тьмы, из какой-то клетки на него смотрели два нестерпимых глаза.

Он подошел.

— Я Сухинов, я узнал вас, — сказал тонкий, «хищный» и чуть скуластый, но с вытянутым, слегка бугристым, по-мужски красивым лицом человек; глаза горели почти фосфорически, их черный блеск непрерывно вызывал мысль о помешательстве.

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю вас, да узнал; неважно.

Он стоял, чуть пригнувшись, в своей странной и мрачной клетке, держась жилистыми, смуглыми руками за слишком толстые прутья.

— Нам повезло, я вас увидел; слушайте меня, — глотнув, заговорил Сухинов.

— Не велено! с *этим* не велено! — подойдя, строго сказал конвойный.

Сухинов замолчал, в подавленной ярости глядя на солдата; злоба была так сильна, что она уже и не могла бы, если бы хотела, выразиться в словах; что-то разом кинулось к горлу, к гортани Сухинова — и застряло там, не в силах вырваться ни вперед, ни назад; весь он стал — ком извилистых, нервных, проволочных мышц, мышц.

— Не велено,— повторил солдат, сурово глядя на Лунина и не глядя на Сухинова; на миг Лунин понял его; так укротитель беспокоился бы, если бы кто-то подошел к едва запертой клетке громадного бешеного тигра.

— Сейчас, братец. Отойди, пожалуй, на минуту. Не видишь — человек в крайности? — сказал Лунин.

— Не велено,— упрямо и хмуро повторил солдат, отводя глаза; в его упорстве было что-то простое и особенное.

— Экий ты,— сказал Лунин.— Отойди, прошу; мы далее беседуем с тобой. Через минуту я сам отожду, а то тебе придется и меня уводить силою; зачем тебе хлопоты.

— А черт с ним, пусть слышит,— резко прорвался Сухинов.— Он просто дурак, он простой солдат; он не донесет.

И действительно, солдат, как бы магически усыпленный этим пронзительным, проникающим голосом, остался стоять, но больше не отгонял Лунина, а молчал, глядя в сторону, вниз; это был курносый малый лет тридцати, уса-тый и хмурый.

— Слушайте, пока не пришли остальные мерзавцы,— заговорил Сухинов.— Вы — Лунин; вы поймете. Вы меня знаете?

Лунин угрюмо кивнул, припомнив истории о Кишиневе и о реке, которую Сухинов не хотел перейти, думая о товарищах — Мозалевском и Соловьеве: не желая стать вольным, когда те будут в кандалах; о черниговских штыковых и сабельных ударах Гебелю — ударах, до того яростных, что именно поэтому не достигали цели; о шествии пешком по этапу от Василькова до Нерчинска — шествии, продолжавшемся около двух лет, о ночевках вповалку с уголовными арестантами в три штабеля друг на друге — так было тесно; о насмешках полицейского и о том, как Сухинов, в ручных и ножных кандалах, молнией кинулся,



успев схватить огромный столовый нож, со словами: «Я тебя, каналья, положу с одного удара; мне один раз отвечать; но твоя смерть послужит примером другим мошенникам, подобным тебе»; отпетый служака пал на колени и затем был тише воды; о том, как после всего, только лишь попав в Зерентуйский рудник, Сухинов мгновенно сколотил шайку отъявленных убийц, пропойц, уголовников, смертников и кого угодно; уstraшенные его энергией товарищи по Черниговскому восстанию Мозалевский, Соловьев отговаривали Сухинова, чтобы спасти его от неминуемой скорой гибели, но тот обещал им смерть в случае крайнего противодействия; как, образовав эту шайку, Сухинов стал немедленно же готовиться к побегу, к восстанию; Лунин слышал все это еще на следствии, а затем, здесь в Чите, от тех молодых членов Общества соединенных славян — Петра Борисова и его брата, от Горбачевского; даже для этих суровых и умных сорвиголов Сухинов был чем-то вроде легенды; Лунину был любопытен этот человек, но он знал, что тот вновь арестован в связи со своим безумным заговором и вновь под следствием — теперь уже вовсе адским и безнадежным.

— Вам не надо, к счастью, объяснять, что такое свобода и что такое наш царь, — говорил Сухинов. — То, что они делают с нами, — не наказание, а *месть* мерзавца и ублюдка; тут нет ни разума, ни закона. Нам надобно вновь бежать и снова поднять восстание. Я теперь под вторым следствием, меня несомненно приговорят к какой-нибудь дикой казни вроде четвертования или кнута под тыщу ударов; пускай. До этого, надеюсь, не дойдет. Если не выйдет с побегом, я отравлюсь, повешусь в камере; повеситься всегда есть на чем, за этим не станет. Эти скоты, эти... не будут иметь удовольствия казнить меня, тем более каким-нибудь унижительным способом; *это* я решил. Но до того надо пытаться бежать — бежать; надо под-

нять всех каторжников — всех варнаков, воров, убийц; пусть кровь рекой; пусть...

Он задыхался; солдат слушал, поглядывая настороженно, хмуро; Луний молча смотрел на Сухинова.

— А не выйдет — просто бежать... Амур — прекраснейшая река, могучая, неслыханная в своей мощи; это не подлая европейская Россия — тут Сибирь, ширь, воля, вольные люди; доплывем до пролива, а... да *вы* не думали об этом? а, Луний? вы не думали?

Он уставился нестерпимым адским и черным взором — и Луний кивнул:

— Конечно. Об этом нельзя не думать.

— Ну вот и чудесно. Чудесно... так... *как* договориться... Эй, олух!

Солдат посмотрел угрюмо.

— А впрочем, с тебя мало толку. Раб, холуй; на таких пасмотрелись... довольно...

— Бежать бессмысленно, — сказал Луний.

— А? Вы правы: есть риск. Но мы перережем охрану, мы заберем оружие; мы подыдем всех каторжников — воров, убийц; мы кликнем клич: кто с нами — тот с нами; железный закон... остальных — прочь или, при сопротивлении, режем на месте; Амур...

— Есть ли у вас *теперь* верные люди?

— Теперь — нет; всех взяли. Кого в кнут, кого в Акатуй — эту яму, — кому вырвали поздри, а кто — как я; нашлись предатели, пьяницы, сволочь. Никого не осталось; но не беда; суть — начать, а там — бежать, бежать. Как вы?

Он вдруг уставился и умолк.

Луний смотрел — и недоставало духу сказать простое и ясное «нет»; он отчего-то любовался Сухиновым.

Тот, однако же, ждал ответа.

— Нет, — покачал головой Луний.

— А, понимаю, — тотчас же подхватил Сухинов. — Вас

смущает «бежать»; как же, Луний — бегать, — говорил он с прозрением сумасшествия, ввинчиваясь своим пронзительным взором в сочувственные, но более спокойные глаза Лунина. — Ваша проклятая «светская» гордость! спесь! стыд! самолюбие! вас бы — поручиком в наш армейский полк! в наши бедные роты! в бедные наши семейства! Бежать! Бежать не хочет...

— Поймите, Сухинов, — возможно хладнокровнее сказал Луний, — вы сами видите — бежать не с чем и не с кем; вокруг — голо на сотни верст, китайская граница для нас мертва; если сам побег и удастся, поймают через сутки — и, кроме нашего позора и торжества палачей, — он с невольным чувством выделил эти слова, — ничего нового. Ага, поймали; вот, беглые. Что, не понравилось? что, взяли? — и прочее, что говорят в этих случаях наши любезные знакомые.

— Как обо мне сейчас?!

— Вы мне симпатичны; я люблю таких.

— Рассуждаете! Луний рассуждает! И вас допекли.

— Побег не удастся, а позор, урон чести будет. И... новая бесполезная кровь, — добавил он.

— Прощайте, — резко сказал Сухинов и тут же отвернулся, будто никакого разговора не было.

— Я сам готовил тайный порох и сухари, еще раньше вас; но потом увидел, что нельзя. Вы, спасши семейство Гебеля, повернувши назад от реки за Кишиневом, — вы должны понять, — сказал Луний.

Сухинов не отвечал, уйдя в глубь клетки.

— Прощайте, Сухинов, умрите достойно. Не поминайте лихом, — сурово сказал Луний — и пошел прочь от клетки.

Никто, кроме солдата, не слышал их беседы; месяца через два узнали, что Сухинов, приговоренный к кнуту, отравился, остался жив, повесился в камере; в последний миг ему и двум-трем его товарищам заменили кнут на

пулю — и труп Сухинова был привязан к столбу рядом с живыми.

В прочих случаях нередко гуманный, Лепарский ныне командовал сочиненной им казнью, в которой выстрелы неумелых солдат, не могущих убить с первого залпа, душераздирающие вопли раненых и других жертв, тут же, при «расстреливании», наказываемых тем же кнутом, слились в одно.

И молча взирал сквозь мешок на все это мертвый Сухинов, безучастно получающий пулю за пулей в свое бездыханное, неуязвимое тело; молча взирал на гуманного, а ныне вошедшего в раж сладострастия Лепарского и на все человечество, даже в смерти его, Сухинова, представшее ему лишь с кровавой и темной своей стороны.

Лунин сидел в черной камере и молча думал о неистовом, гордо павшем Сухинове.

«Он прав, а *мы* пали, даже я», — вдруг подумал он — и отверг эту мысль; и вновь подумал то же.

* *
*

Они шли из Читы в Петровский завод.

Была вторая половина лета, и Сибирь предстала во всем могуществе и величии.

С холма на холм кочевала, как бурятское стойбище, их пестрая орда, и каждый раз сверху открывался великолепный вид, достойный кисти «бурного гения» и не подвластный никакой кисти — так мощна и обильна была природа.

Миновав тайгу и степи, окружающие Читу, они входили в горную местность, пленяющую музыкой буйных красок и дикостью; выйдя на новый гребень, они смотрели на яркие светло-зеленые кедры, стоящие среди более темных и пестрых лиственниц; из этих последних многие были вишневые или охряно-желтые — отчего-то не оделись ве-

сенней зеленью или, наоборот, увяли до срока — кто знает; но сочетание ярко-зеленого, желтого, буро-красного леса, и этого небывало серебряно-синего неба, и пологости всей просторной, свободной для сердца долины, и красных, или зеленых, и желтых, и серых скал, и ручья вдали, и бурята на ловкой лошадке, и ветра — влияло на душу и бодро и грустно.

При дороге была густая, живая трава, пели пчелы, гудели огромные черные сибирские шмели, летали большие пунцово-сиреневые и белые чуткие бабочки, цвели желто-красные огоньки, дружно пилили кузнечики; в травах были зной и особенная сухая свежесть, говорящая о близком конце лета; на гребнях холмов, этих пологих гор неизменно виднелись живописные конусы камней и разных предметов, которыми бурятские путники ублажают буддийских, языческих духов.

Был приказ — тем, кто участвовал в войнах и имел ранения, разрешалось ехать в крытых повозках; Лунин участвовал во всех войнах, а раны имел почти одни лишь дуэльные, ибо, хотя и любил красоваться в белом мундире у самой вражеской линии, пули по особенной прихоти миновали его; однако же ныне не стали разбираться в этом, и поскольку все знали, что тело Лунина изрешечено и изрублено, то предложили повозку.

Он не отказался: повозка, так отчего же нет?

Тут-то и произошел тот случай, который смутно позабавил толпу; проводники были буряты, и слово за слово — довольно бойко, хотя и «косорото» болтая по-русски — они спросили, кто же едет в этой повозке: важный человек?

Лунин, до этого молча наблюдавший Сибирь из-за полога, понял, что не уйти от слова; он откинул кожу.

Буряты, в своих синих, коричневых дэлях (глухих халатах) и мелких загнутых шляпах, смущенно и приветливо посмеивались, стояли у колес; вокруг товарищи тупо били обухами по колышкам, разбивали палатки и весь ла-

герь; до этого Луний понял, что встали на бивуак, но не спешил показываться.

— У вас есть тайша? — свирепо спросил он.

— Есть, есть, — заговорили буряты, довольные своим словом.

— А над тайшой — главный тайша?

— Да, да.

— Так вот, я хотел *нашему* главному тайше сделать угей (конец); оттого и здесь. Оттого и еду в повозке, — заключил он со странной логикой.

— О! О! — отвечали буряты; логика неожиданно оказалась убедительна.

Раз был против главного тайши (начальника), значит, большой человек; значит, получай повозку.

Все смеялись, но Луний заметил, что некоторые из товарищей тут же и отошли, в досаде и понимающе переглядываясь; «Уж этот его язык, не хватит ли», — прочел он в их взорах.

Конвойные настороженно ухмылялись.

* *

*

За лес постепенно клонилося солнце; лагерь довольно весело готовился к ужину и ко сну.

Вновь все чувствовали, как хорошо без оков — без этих самых цепей, о которых Саша Одоевский писал в ответ Пушкину, что скуем мечи; ах, как недавно и давно это было! Приезд в Читу Александрин; и с нею — стихи: «В глубине сибирских руд». Жив человек — хотя *не все* живы, — и нет уж и «цепей»: в последнее время в Чите сняли наконец кандалы. И сроки каторги плохо, но сокращаются; кому за примерное поведение «отняли» год из десяти; кому, по просьбам родственников, три из пятнадцати; кому «даже» пять.

А тут — лето, трава, прекрасное оранжево-палевое

солнце в сияющем небе, клонящееся к темному лесу; шум изумрудной Селенги впереди, свежая и теплая ночь на подходе; тишь, простор.

Лунин, лежа в стороне и глядя в глубь на глазах голубеющего, синеющего, чернеющего леса в последних дымных лучах на вершинах пихт, кедров, лиственниц, всей кожей, всем телом чувствовал настроение товарищей, да и свое собственное, но не все из собственного; «Сухинов, Сухинов», — вдруг вспомнил он твердо и пресно.

Подожли Трубецкой, уславший жену вперед и от этого более общительный, сдержанно-улыбчивый Пущин, бывший ахтырский гусар, имя которого Лунин не помнил, — друг Оржицкого, Михаил Кюхельбекер, Ивашев; остановились в нескольких шагах и стали насмешливо глядеть на Лунина, собираясь шутить в адрес его байронической позы.

Лунин не дал начать и, не вставая, крикнул Ивашеву — грустному среди веселых, улыбающемуся лишь за компанию:

— Ждешь?

Ивашев это время был все более грустен и беспокоен; он с трудом выносил продолжение каторги, а тут с родины стали приходить слухи, что к нему рвется молодая Камиль Ледантю, ее же не пускают; постепенно он начал жить этим — беспрестанно представлял Камиллу, которую помнил только ребенком, не хотел говорить и не мог не говорить о ней с товарищами; и сейчас Лунин, не называя имени, напомнил об этом.

Ивашев опустил глаза.

— Вы лучше скажите, как вы крали белошвейку, — заговорил усатый бывший гусар, вместе с Оржицким так и не спасший Муравьева-Апостола. — А Оржицкий уж после видел ее — в ином настроении... Теперь он сослан в Кизляр, на линию.

— Белошвейка была в другой раз, — сказал Лунин, то-

ном давая понять, что не следует «развивать» — дразнить Ивашева.

— «Славное было время», — спародировал Пуцин привычную гусарскую формулу; он был тайным центром всей группы и смотрел на нарочито отъединенного, продолжающего лежать Лунина с осуждающей улыбкой.

Лунин взглянул на него с невольной некоторой неприязнью, которая, впрочем, тут же пропала.

— Полно гамлетствовать, Лунин, — все-таки сказал сутулый и высохший Трубецкой.

— Вон Венера восходит, — без связи сказал еще более сутулый Михаил Кюхельбекер.

— Это Марс, Миша, — спокойно возразил Пуцин, и все засмеялись.

Тем временем они представили Оржицкого — тихого, молодого, неглупого, одинокого — там, на линии; представили многих других скромных армейских офицеров, раскиданных по громадной стране от Якутска до Арзрума и лишенных даже тех сомнительных преимуществ, которые дают определенность и сила наказания, ореол главного заговорщика и общение с мучениками-друзьями.

Подошел рассеянный Никита; Александра Григорьевна была сей миг не при нем — уехала уж вперед, — и он без нее был как бы на грани сна или, наоборот, пробуждения.

Он приблизился к Лунину; воспользовавшись этим, прочие, видя «несообщительность» Лунина, тотчас отошли к лагерю.

Там было оживленно; декабристы шли двумя партиями, отделенными одним-двумя днями пути, и был тот момент, когда вторые догнали первых, чтобы наутро вновь разойтись; обменивались приветами.

— Что с тобою, Мишель? я давно хотел говорить с тобою, ты стал... не при нас. Ты бы там приходил чаще, Александрин так будет рада; нам жаль, что ты стал стро-

же и более замкнут. Я понимаю,— по обыкновению увлекаясь, напав на живое, продолжал Никита.— У нас семья, все-таки жизнь; рождаются дети. Вот... моя Нонушка... У тебя никого; не возражай, мой милый, прошу,— поднял он руку, хотя Лунин, улыбаясь ему, и не думал возражать; начав говорить как бы по заданию и в рассеянности и с остановившимся взглядом — у него последнее время часто был такой,— Никита теперь вспомнил жену, «увидел», как там будут жить — в этом новом месте, в Петровском заводе; кроме того, он на ходу «влезал» в свое желание помочь Лунину — сначала лишь инстинктивное и вялое, а теперь, по мере речи и сопровождающих ее образов, более горячее.— Я понимаю, сестра, ее письма; но тут не то. Мишель, дай слово, что в Петровском заводе ты будешь более часто бывать у нас. Мы должны восстановить все, все прежнее.

— Ты еще посмотри на него, на Петровский завод,— смеясь, сказал Лунин.

— Я полагаю, будет не в пример лучше,— снова неожиданно впадая в свою рассеянность, говорил Никита.

— Ты всегда так... полагал,— все более веселился Лунин.

— Нет; отчего ж? а ты всегда скептик. Нельзя быть киником, Мишель; жизнь...

— Ну, ну.

— Ты прав; не до правоучений. Впрочем, я только хотел сказать, что не может ведь быть, чтобы далее наше положение было хуже. По *всем* законам...

— Опять о законах.

— Ну хорошо; но ведь вот, отменяются годы каторги, сняли цепи. Наверно, и переход в завод — мера поощрительная.

— То-то тебя поощряют пешком.

— Да, ты прав, странный указ; но вот, ты же в повозке.

— Еще более странный указ.

— Да, ты прав, с нашим начальством никогда не угадаешь, какой и почему приказ, указ ты получишь,— беззлобно говорил Никита, сидя рядом с Луниным, глядя тоже на оранжевый и великолепный, но неуловимо чужой — не среднерусский — закат и покусывая цветок.— Но все-таки есть улучшения, и это нельзя не заметить.

— Это то, о чем говорил Чернышев,— пробормотал Лунин.

— Что?

— Чернышев; не будем о нем; нет охоты вспоминать посреди природы его, пса.

— Да, зачем он нам; он свое сделал... Хотя мог быть и добрей, справедливей... разумнее, наконец...

— Опять о справедливости.

— Да; что ж. Мы там, у костра; придешь?

— Нет, Никита,— не сразу отвечал Лунин.— Не хочу есть.

— Приходи, Мишель.

— Хорошо, приду,— сказал Лунин, по давней своей привычке соглашаясь лишь для того, чтобы не спорить попусту.

— Ты так говоришь, будто не придешь,— вновь заботливо оживился Никита, стоя над ним в своем казакине.

— Иди, Никита.

— Ах, Мишель, что бы я делал без Александрин,— помедлив, сказал Никита.— Я так понимаю тебя; тебе одиноко.

— Да не о том речи, Никита,— в некоторой досаде сказал Лунин.

— Если б еще... были живы и здоровы все мои дети, там и здесь,— в задумчивости проговорил Никита, стоя над Луниным в темном, туманном пространстве на фоне тускнеющего чужого заката.

Лунин молчал.

— Ты о чем? — вдруг спросил Никита.

— Я? я молчу.

— Нет... ты о чем до этого...

Лунин вдруг опустил голову; Никита как бы и понял, и не понял — и стал спешить:

— Иду!

— Иди, милый.

* *

*

Неподалеку от лежащего Лунина из норки выпрыгнул рыжеватый суслик и, сделав два-три невесомых движения, встал, как водится, столбиком, свесив лапки вдоль шерстки, и начал впитывать нервно-чутким носиком знойный, незримо насыщенный предосенней травяной зрелостью и усталостью воздух.

Глядя на него и видя ломаные линии двух бледных диких колосков, касающихся его боков, Лунин испытал желание узнать тайну его неожиданной озабоченности и улыбнулся.

Он посмотрел вверх, и после земли небо показалось особенно просторным. Оно было как будто чистое и при этом беловатое, слабо-матовое; от этого усиливалось ощущение пространства и тайны.

Так он лежал некоторое время, как бы ничего не делая и как бы ни о чем не думая.

Подшли черно-смоляной Александр Поджио, который до сих пор ощущал себя виноватым перед Луниным и, видя его одного, в смущении отстал, и Завалишины — Дмитрий и Ипполит.

Странные отношения сложились у Лунина с этими людьми; он «имел симпатию» к ним, хотя видел в обоих нечто слабое, гиблое, иногда порочное, всегда ненадежное; об этом же говорили ему товарищи.

Младший, Ипполит, был какой-то сумасшедший доносчик; он, по сути, вовсе не был причастен к обществу, но

в ходе всего следствия и далее беспрерывно «писал» на себя, на брата, его друзей и так надоел Николаю, что тот-таки сослал его в Сибирь, хотя доносы были нелепы и шиты белыми нитками; старший, Дмитрий, человек умный, одаренный (впрочем, как почти все декабристы), участвовавший в сногшибательных плаваниях вокруг света, выдавший и Гаити, и Мексику, и Камчатку, и северные моря, сочинил свою фантастическую версию о всемирном Ордене Восстановления по образцу иезуитов, писал письма еще Александру и до того сам поверил в свою идею, что и теперь решительно нельзя было понять, то ли он придумал Орден для Общества, то ли Общество готовил для Ордена, то ли хотел действительно выдать Общество через Орден царю, то ли царя хотел сменить неким Великим Магистром, то ли Рылеева вел к правительству, то ли правительство хотел подчинить Рылееву; Следственный Комитет, видимо и сам заинтересовавшись, втянувшись в эти чудеса Радклиф, сначала довольно прилежно разбирался во всех ходах и сюжетах нервического и всегда искреннего Завалишина; но затем было замечено, что он чуть ли не каждые три дня одинаково искренне говорит разное; с Арбузовым и Беляевыми он пикировался горячо и бесстыдно, и это некоторое время забавляло Чернышева и прочих; во всех разноречиях Завалишина была некоторая своя тайная логика, которую следствие поначалу тоже хотело нащупать: во-первых, все из того же невольного игрового, азартного интереса, а во-вторых, все-таки надеясь узнать от Завалишина что-то кардинальное — уж больно был близок к Рылееву, больно размахист, горяч и напорист был весь его стиль и план; затем все это надоело, царь и следствие «плюнули» и сослали Завалишина (с братом!) в Читу; его показания, непрерывно и в дьявольских объемах пополняемые совершенно неразборчивым почерком в невыверенных черновиках, оказались самыми пухлыми из всех.

Лунин чувствовал в братьях не злых, не жестоких, но «хилых» людей и спокойно принимал их под покровительство, когда они льнули к нему; кроме того, в Луние было то особое равнодушие к чужим порокам и слабостям, которое часто проявляют люди типа «сами по себе» к людям ищущим и благорасположенным к ним, пусть в общем подлым и ненадежным. Впрочем, Дмитрий вовсе не был подл, просто он обладал бесформенной, безграничной фантазией и, как это часто бывает, соответственно не то что даже слабой, а некоей размытой, аморфной волей.

— Добрый вечер, Михаил Сергеевич,— по-французски, заискивающе сказал Ипполит, усаживаясь рядом.

— Здравствуйте,— по обычаю, как бы для начала коротко, нервно сказал Дмитрий.

— Добрый вечер,— добродушно, хотя не без скрытой досады ответил Лунин.

Что-то происходило в нем; он не хотел бы теперь видеть вблизи себя никого из товарищей, а Завалишиных — вдвое.

— Прошлый раз вы сказали, Михаил Сергеевич,— с места в карьер начал Дмитрий своим напористым, резким голосом, несколько напоминающим... голос Сухинова,— что принцип чисто национальный не может быть краеугольным камнем устройства государственного; вы отчасти правы. В человечестве слишком много братского, общезначимого, что не должно быть забыто и что позволяет людям жить вместе на одной, единой планете; что, быть может, позволит им в будущем воплотить идеал христианского братства здесь, в миру, на земле. Но должен сказать, что забвение принципа национального, принципа особенного, в отличие от, с одной стороны, общего, с другой стороны, единичного (как говорят новейшие философы), еще более губительно; человек рождается не просто человеком, а русским, немцем, французом или бурятом,— наставительно закончил Завалишин свою трилистическую

тираду и умолк, ожидая возражений; он явно высказал лишь исходный тезис, а далее было припасено нечто новое: выдумал на досуге.

— Поняли же вы нынче бурят, а они вас, — нехотя сказал Лунин, глядя во тьму. — Хотя и языки слишком разные, и уж куда далее.

— Да, так, — тотчас подхватил Завалишин, как бы получив подтверждение на исходный контртезис Лунина. — Но столь существенны факты национальные, сам *склад ума и натуры* (торжественно выделил он), что забвение принципа национального приводит — и еще приведет, приведет! — к катастрофам неслыханным.

— Да никто не отрицает национального принципа, — с вдруг сорвавшимся раздражением сказал Лунин и отвернулся.

Завалишин умолк в некотором удивлении; он привык видеть Лунина «ленивым» и благонравным в споре.

— Однако же...

— Э, барин! — послышалось добродушно-грубое от далекой повозки (темный кузов, оглобли в небо), около которой, было видно, возница раздувал огонь. — Хлеба хошь? есть водка. Пока твоя охрана...

— Постой, Фома, — сказал Лунин. — Я подойду.

— Ну, как знашь. Чё сказал, чё сделал. Эх, расстеклит твою башку. Эх, истома, — ворчал вольный чалдон на ночь, на Лунина, на огонь.

— Может быть, к нам пойдем? — так же заискивающе спросил молодой, словно бы трепещущий Ипполит: уж по-русски, и это неуловимо меняло тон на более отчужденный.

«Зачем он доносит? Из страха, что ли? Это было бы понятно: весь слабый, нервный. Или просто болезнь? *Патология*, теперь называют? И фамилия у них», — говорил про себя Лунин, глядя на Ипполита.

— Нет, господи; я сыт.

Дмитрий Иринархович подождал, не пригласит ли Лунин пить водку; но тот молчал.

— Вы не в духе, Михаил Сергеевич,— наконец сказал Завалишин.

— Пожалуй,— отвечал Лунин, но все-таки смягчил свои неучтивости тем, что продолжил разговор: — Дмитрий Иринархович, что вы думаете о... своем *поведении* в нынешнем положении? Независимо от национального вопроса, конечно? — добавил он с некоторой усмешкой.

Он спросил первое, что пришло, чтобы не возникло неловкой паузы; но, поскольку втайне наготове-то было именно это, оно и сказалось.

— Поведение? В нашем положении? — повторил Завалишин.

— Да,— нехотя подтвердил Лунин, уже досадуя сам на себя.

— Вы считаете, что мы недостаточно сделали? недостаточно пострадали? — помолчав, спросил Завалишин с некоей проникательностью нервного человека; но это была проникательность, бьющая не в туза, а лишь опаляющая край карты. Тоже ничего выстрел, но...

— Я не знаю, как вам ответить,— задумчиво сказал Лунин.— Вы спрашиваете верно и неверно; слишком риторически, что ли. Однако простите, господа; я нынче точно не в духе.

Он ждал, что они наконец распрощаются.

— Вспомнили про тайшу? — успел вставить Дмитрий перед прощанием.

— Суть и не в тайше.

— Прощайте, Михаил Сергеевич.

* *
*

Фома расположился под телегой, костерок трещал рядом; было и свежо, и тепло.

— Умеешь устроиться,— сказал Лунин, присаживаясь и опускаясь на локоть.

— Чё уж.

— Говоришь, водка?

— Желаеть, попей. С тёреном.

— *Чего?* — Лунин невольно спросил «по-народному», хотя и не по-сибирски.

— Не слыхал? — спокойно спросил Фома; в нем не было ни жалости к несчастному — в Сибири привыкли к каторжникам, как к *людям*, а не к «несчастливым», — ни высокомерия правого к преступнику, ни злорадства к падшему барину, ни, наоборот, заискивания перед бывшим, но барином, ни того оттенка «благодарности» за «страдания», который выказывали по пути в Сибирь некоторые мужики; он разговаривал с Луниным, как просто с попутчиком. Лунин, со своей стороны, не подделывался под Фому, а был сам собой, и Фома принимал это как должное. Фома все более нравился Лунину.

— Ягода такая,— сказал Фома.

— Скажи мне, Фома,— вдруг начал Лунин, выпив полкружки водки,— отчего я такой, как есть? *ты* можешь объяснить мне?

— Ты, барин, погоди, погоди,— тотчас же буднично отвечал Фома, будто только и стерег это.— Ты выпил, сначала заешь; на́ хлеба, луку, вон счас чайник взбулькнет. Великая вещь, куда лучше самовара. А то не успел — сразу о душе.

Лунин не мог не засмеяться.

Он сам не знал, чего он хотел от Фомы: советоваться с народом по всякому частному поводу, как уже водилось у либеральных дворян того времени, было не в его правилах.

— Дело говорю,— невозмутимо продолжал Фома, в своей белой исподней рубаше, распахнутой до пупа, и в черной бороде, волосы в скобку. Он был похож на Пугачёва

ва, что ли.— Выпьем как след, закусим; поговорим. Объяснишь,— говорил Фома, нарезаая хлеб.

— Ты молодец.

— Чё?

— Молодец мужик, говорю.

— Вольные мы,— «брякнул» Фома.

Лунин на миг пожалел об этой его сентенции: будто все то больное, ответ на что он нечаянно искал в Фоме, получало слишком плоское разрешение. Вольные, а те не вольные, и все тут.

— Бывает и вольный, а глуп,— сердито-наставительно сказал Лунин.

— Как есть,— отвечал Фома.

— Я тебе не о твоей вольности; я о себе говорю.

— Говори; теперь можно. Э-э... а-а-ах,— опрокинул мужик всю кружку.

— Ты видишь, Фома, я в своей жизни одинок; я только теперь, к старости, начинаю как следует думать об этом, хотя думал и ранее. Я беспокойно прожил жизнь, да и сейчас, ты видишь, она не из простых; я делал разные поступки и еще сделаю — важные; я чувствую в себе силы... Но я думаю: отчего я таков? Что *во мне* не так? а уж наверно *во мне* не так; не могут же, наконец, *все* прочие быть неправы; я ранее как-то не размышлял об этом — я полагал, я прав, и все; но теперь я думаю: отчего же я и верно один? отчего все, что делают около меня люди, мне кажется недостаточным? а ведь подле меня, Фома, всю жизнь были люди недюжинные — не чета нынешним... тем, что пишут в журналах — ныне, в тридцатом году; ну, не об этом... И журналы те уж не наши — не мое поколение,— и привозят их через пень колоду; да и ты не читал.

— Это да,— кивнул Фома, слушавший осмысленно.

— В поступках людей, которые меня окружали, мне *чего-то* не доставало. Чего? «Чё»? — ты говоришь по-си-

бирски; не знаю. В действиях моих собственных — то же самое; не знал, *что* же сделать то... главное, то божественное, что я в состоянии. Я все умел — рубить, рисовать, сочинять романы и музыку, палить из ружья, ездить на лошади, теперь вот умею работать киркой и заступом и чем хочешь; и что же?

— Ну! — спокойно поощрил Фома.

— Я искал: религия? да, религия; но человек — такой, по крайней мере, как я, — не может ею, ее принципами жить постоянно; я старался, но посмотри на меня: какой из меня монах, — приостановился Луний.

— Верно, — отвечал Фома, вежливо окинув его косвенным взглядом. Он ел лук, прихлебывая кипяток из кружки.

— Я интересовался политикой... действия настоящего не было, а вышло *вон* что. — Он повел рукой на лагерь с кострами; Фома не моргнул. — Может, в будущем? Но ведь я не в будущем; я в настоящем.

Фома молчал, прихлебывая.

— И ты знаешь, Фома? я бежал от любви; это особенно смутило меня самого. Отчего? Для чего я сделал это? ведь я... любил, я люблю, я люблю ее, — смело повторял Луний непривычное слово. — Я знаю, она, по всей вероятности, вышла замуж — за Сангушку, есть такой польский князь; и сейчас — именно отчего-то в это последнее время — у меня есть чувство, будто она зовет, призывает меня; она — она любила меня, и я был кругом виноват.

— Ушел, стало. Девица?

— Ушел, Фома, — и оставил ее другому, хотя она любила меня; конечно, по внешности я во всем был прав — я был член противоправительственного общества, хотя к тому времени и отстал от него; я не имел нравственного позволения рисковать женщиной, ее любимой жизнью — все это верно; вон мои друзья — они женились, и вот они не только мучаются сами, но мучают жен, детей, родив-

шихся здесь и оставшихся там, на родине; и все-таки они чем-то правы, а я неправ. Они живей... так ли? *Как* укрепиться...

— Гордость твоя, вот что,— вдруг снова «брякнул» Фома.

— Гордость? — переспросил Лунин.— Ну, это да; это знаем. Я, брат, столько божьих книг перечел, и византийских и католических, тебе не снилось; и вся проблема гордости и смирения — там первая и подробно разобрана. Да, я не всегда смирял свою гордость; тут дело не в книгах, а в том, что по душе не всегда удавалось.

— А надо не в книгах, а по душе. Книги есть умные; я не противник. Да только коли разумом понимаешь, а по душе нет!

— Оставь, Фома,— с досадой сказал Лунин, укусив губу.— Все это я знаю лучше твоего. Ну, разберем гордость; гордость есть знаешь что, если хочешь?

— Ну чё?

— Гордость есть уважение к божественному в самом себе,— раздельно и важно сказал Лунин, думая удивить Фому; но тот не смутился.

— А может, к дьяволу в себе,— спокойно возразил он.

— Чертов раскольник, схоластик,— невольно улыбнулся Лунин, наливая себе водки.— Вас тут не собьешь.

— А ты думал.

— Но ежели бог создал человека и гордость в нем? Ежели она есть, стало быть, кто-то же ее создал? стало, она нужна?

— Может, дьявол и создал.

— А кто создал дьявола? — поддразнил Лунин.

— Дьявол откололся от бога, а вобще нам того знать неведомо,— спокойно сказал Фома.— Ваши разумы, они есть для того как раз, чтобы знать, до каких пор можно без веры, а с каких пор без веры нельзя,— самоуверенно резал Фома.

Лунин, как бы забыв свой прежний серьезный тон, добродушно смеялся, резонно соображая, что Фома в двух словах изложил суть Канта и половины из всех современных философских проблем; он, Лунин, сам в таком направлении размышлял в своих записях.

— Небось вся философия об этом,— добавил Фома, будто Лунин думал не про себя, а вслух.— Ты не мни чё, я люблю философию; но ты сам понимаешь, не о том речь.

— Ну да.

— Ты барин хороший, не глядя на твои сомнения («барин» он произносил без напора, как имя); да и как не сомневаться. Не сомневается дурак.

— Ты хорош, Фома. Я не ошибся в тебе.

— А ты думал. А только гордость твоя. Вон я не вижу? Ты и со мной-то сел говорить — все от гордости; с товарищами не желаешь. Надоели тебе товарищи, не по тебе. Ты бы не прочь верховодить, а сам один как перст, не тянутся к тебе люди. Дай, думает, с мужиком потолкую, он все одно не поймет. Что с камнем.

— Ну, ты преувеличиваешь, но отчасти прав,— смеялся Лунин, любуясь Фомой.

— То-то. А как тебе быть? не знаю. Думаешь, скажу «смирись»? нет. Это каждый дурак умеет — сказать. Прямо говорю — не знаю.

— Ну, отделал ты меня, Фома. Скажу тебе, впервые со мной такое,— довольно смеясь, говорил Лунин, в задумчивости прихлебывая крепкую терновую водку, как воду; блики маленького костра играли в его блестящих глазах, оттеняли крутые усы.— У вас что же, все такие умные?

— Где там,— спокойно ответил Фома, доставая из мешка новый хлеб.— Это я вот.

— То-то я тебя раскусил.

— Опять «я» да «я».

— Так и ты же — «я», и ты хвастаешься, — смеялся Лунин.

— Ну так, — неохотно сознался тот.

— Может, ты все-таки посоветуешь?

— Где мне тебе советовать. Ты это, где истина, где добро, — ты лучше меня видишь, оттого и не прислонился, так и далее. Так оно и в народе. Да что это, вроде я тебя хвалю. Тут, это, такие, как ты, должны советовать. А вас вон гонют бог весть куда. Да еще ты тут у меня советов спрашиваешь. Аж совсем кошки заскребут на сердце у меня, мужика, — картинно и спокойно закончил Фома.

— Ну, молодец ты, — задумчиво подтвердил Лунин.

— Не бойся, барин! — вдруг потянулся и ернически хлопнул его по плечу мужик. — Живы — будем жить! От девки ушел — ничего; оно, может, и лучше — с такими, как ты, им горе; в крепость — в острог попал — ладно, переживешь; *зачем*, спрашиваешь, все делаешь? а кто ж его знает? ты-то должен знать лучше меня; а не знаешь — ни ты, ни я горевать не будем. Гляди, какова Сибирь! хороша Сибирь?

Запад еще розовел; вокруг стояла просторная в самой тьме, простая, свежая ночь, звезды осенне-обильно высыпали на черное небо.

— Сибирь хороша, просто великолепна; но ты, Фома, не задирайся; так хорошо начинал, а плохо кончаешь; к чему кобенишься?

— Эт-ты прав. А слаб человек, — добродушно согласился Фома.

* *

*

Печально для себя, тяжело для всех окружающих умирала в Петровском заводе Александрин Муравьева.

Она плохо приняла новые обстоятельства жизни.

Когда она увидела тюрьму, построенную специально для мужа и его товарищей, то надрывно расплакалась. Вся

ее жизнь ныне была сосредоточена в Никитушке и маленькой Нонушке; Александра Григорьевна, урожденная Чернышева, однофамилица ныне могучего подручного Николая, сестра другого Чернышева, замешанного в деле 14 декабря со стороны, обратной графу, и заточенного (правда, на краткие сроки) в Сибирь, жена государственного преступника Никиты Муравьева и родственница многих других мятежных Муравьевых, она была по рождению русская аристократка и начинала свою жизнь ясно и весело. Но с ареста мужа будто злой рок смеялся над ней — и она не понимала, за что. Не только не понимала, но и не всегда спрашивала себя и бога об этом — она была русской женщиной в старом смысле этого слова и принимала жизнь как она есть, и прежде всего через любовь и сочувствие; ежась плечами и недоумевая своими добрыми глазами, всем своим простым и добрым, широковатым лицом, принимала она удары судьбы и ждала новых — и они приходили. Она ждала — и они приходили.

Поступали вести из Петербурга, от Екатерины Федоровны: неизменно одного рода. Старшая дочь Александрин сошла с ума, сын умер. По всему, скоро умрет и младшая из оставшихся в Петербурге девочек, уж больно плоха. Две девочки, родившиеся в Чите, тут же умерли; Александра Григорьевна с особенной сухостью в глазах смотрела на хилые трупики, на их гробики — и думала: «Вот бог наказывает меня. Я уехала от детей. Но моя безграничная любовь к Никитушке, к братьям своим и его, ко всем моим детям, к Екатерине Федоровне, ко всем этим несчастным, поверженным, заточенным — разве...» Но мысли ее обрывались, и она лишь смотрела.

К несчастью, ее душа не скорчилась, не увяла от горя; если б было так, Александрин, возможно, выжила бы. С усохшей душой, но живым телом многие люди живут, стареют подобным образом. Но Александра Григорьевна не могла; она осталась с душой, полной любви и заботы.

Всю свою жизнь она окупательно перенесла на Никиту и Нонушку — уцелевшую девочку — Софочку, которую с малых дней переименовали, да так и звали — детским именем. Девочка, как нарочно, была забавная и резвушка; Александрин дрожала над ней — последней, оставшейся; дрожала и над Никитой — и Никита, по странному инстинкту, никогда не испытывал перед Александрой Григорьевной чувства вины (извечного проклятия Волконского перед умной и непростой Мари) — не думал о том, что она всем пожертвовала ради него, что она гибнет ради него, — и раз так, то, естественно, никогда и не каялся перед женой на этот предмет, не обвинял ее в том, что она убивает его своим героизмом и добродетелью; и поэтому в доме Муравьевых не бывало тех смутных сцен, которые случались у Волконских... Столь несомненна, столь само собою разумеющаяся была любовь и преданность Александрин, столь ясно было, что без него, Никитушки, ей все равно не жить, что ей действительно безразлично — колодник он или камергер, на Фонтанке он или в глубине сибирского рудника, что он и она — одно в самом простом смысле слова, — что Никита если и беспокоился, то только о том, как бы их снова не разлучили с Александрин.

И она чувствовала это и любила его все более, его и Нонушку — *его* Нонушку; но так бездонно было тихое озеро материнской, женской любви в ее душе, так много и естественно она умела, могла, эта ее душа и ее любовь, что к Александре Григорьевне неизменно, как к живому очагу, тянулись все остальные, все каторжники, все несчастные и болезненные, и тайно уставшие, и явно веселые, которые встречались на пути их простого семейства; и, в отличие, например, от Лунина, который все более оставался один и один, дом Муравьевых в Чите ли, в Петровском заводе ли все более полнился разными людьми, бескорыстно или же и за их «услуги» преданными Муравьевым и ин-

стинктивно ищущими здесь тепла, света, чтобы оттаяли измученные сердца.

Но Петровский завод доконал Александрин. Да, она надеялась, как и Никита, что они наконец будут вечно вместе, что они будут — вечный дом, семья; она надорвалась еще в Чите — оттого, что ее дом, где они жили с Нарышкиной, не был, по сути, *домом*, что Никита постоянно был на пороге или у порога — торопился в тюрьму или из тюрьмы, — всегда туманен и беспокоен; она почему-то думала, что вот, придут в Петровский завод — и все будет лучше: фантазия нового места; и когда она, еще без Никиты, увидела это унылое, низкое, подлое сооружение, увидела эти слепые стены (без окон!), эти ступени и темные клетки, аккуратно отгороженные друг от друга и предназначенные строго для одного заточенного (охрана ее за-ради Христа пустила внутрь этого общего сарая, поделенного на голые клетки), — она почувствовала, что силы наконец оставляют ее.

Да, будь она равнодушнее, люби она менее, она, может быть, не разрыдалась бы так надрывно; она, может быть, перенесла бы и Петровский завод.

Но нельзя же столь часто сдирать кожу со столь открытого сердца; когда-нибудь будет последняя...

Все начало осени болел Никита, отчасти простудившись еще при переходе, плохо перенесши разлуку с женой и дочерью; Александра Григорьевна, нанявшая дом в поселке, тяжело разрывалась между тюрьмой, где сидела в слепой конуре у постели Никиты, и своей черной, просторной, чужой, угрюмой сибирской избой, где оставалась под присмотром глупых старух или Трубецкой, Нарышкиной, а то и совсем одна четырехлетняя, бойкая, всюду лезущая Нонушка; сидя у бредящего, воспаленного Никиты, Александрин, прикладывая ему мокрый домашний батист ко лбу, непрерывно представляла маленькую, последнюю Нонушку или провалившейся в колодец и сла-

бо пищащей оттуда о помощи, или столкнувшейся с громадным косматым хозяйским псом и трогающей его за цепь, а он рычит, скалит зубы, или бредущей по пустынному мокрому, уж серому лугу, зовя «мама» или что-либо в этом роде. Она вскакивала, не помня себя, и, почти раздетая, бежала по мокрым тропинкам к дому, находила свою дочушку, свою Нонушку; та щебечуще выскакивала навстречу — живая и целая; старухи или подруги «болезненно» улыбались вокруг; Александрин успокаивалась, бросала Нонушку и — через пять шагов уже тревожно оглядываясь — убегала к Никите; Нонушка горестно, обиженно ревела вослед, Александрин останавливалась, снова бежала — и затем все повторялось сначала.

Выздоровел Никита — заболела Нонушка; теперь она, маленькая, лежала, устремив глаза в серый потолок — розовела, шептала, просила «таман» спасти ее от жары, от холода; Александрин кусала платок у ее постели, металась по комнате, представляла Никитушку в каземате и выскакивала на крыльцо — и смотрела на дальние стены тюрьмы.

Она сама заболела в начале сентября и болела месяца три.

Доктор Вольф, тоже каторжник, высокий, прямой, меланхолический и самоотверженный человек, говорил о жестокой простуде, о нервах, о душевном надломе; но все и так было ясно, и обезумевший Никита, и даже ничего не понимающая Нонушка, время от времени требовавшая от матери встать и поиграть с ней, и Трубецкая — полноватая и замкнутая женщина, урожденная графиня Лаваль, и хмурый, сдержанный Якушкин, который «симпатизировал» Александрин, и державшийся в стороне Луний, и старухи — все они кто явственно, кто глуше, кто инстинктивней, кто более осознанно, кто со страхом, кто с горечью чувствовали, знали, что жене Муравьева не встать. Это виделось и в неожиданно-недоуменном, беспричинно-испу-

ганном взоре маленькой Нонушки, только что бывшей веселой и шаловливой, и в сдержанности Якушкина, и в горестной задумчивости бывшей Лаваль, и в отчаянии Никиты, и в угрюмом, прямом взгляде Лушина из угла.

Сама Александрин, со свойственной ей чуткостью, долго стала понимать, что ей конец; она, с ее деликатностью, мало говорила об этом с окружающими, но незаметным или еле заметным образом она все время готовила себя и их к своей участи.

У постели толпились народ — заплаканные жены «преступников», беспрестанно прикидывающие нынешнее положение Александрин на себя и своих мужей и детей; сами «преступники», простые каторжники и рабочие.

Александрин, хотя тяжело дышала, старалась быть приветливой и, по своему прежнему обыкновению, улыбочивой к людям, пусть последнее не всегда удавалось; но лишь кое-кому из доверенных, близких — Якушкину, Трубецкой — она сообщала такие вещи, как завещание похоронить ее в Петербурге, в фамильном склепе семьи Муравьевых, как распоряжения о Нонушке, о дальней болящей дочери и о гардеробе Никиты, как установления пону и иное; ее слушали то молча, то слабо утешая; она вымученно слегка улыбалась на утешения.

— Они совершенно осиротеют. Боже мой, они умрут без меня, — вдруг, как бы подумав, вновь говорила она — и с трудом отворачивалась к стене, не в силах удерживать свои простые слезы: вдруг, умирая, она опять научилась им.

Видя, что грозная, всеблагая, всеоблегчающая смерть стоит на пороге, она кивком головы пригласила Трубецкую, которая привлекала ее умением держаться и горестным, но не безвольным непрерывным сочувствием, и стала диктовать ей письмо к далекой сестре; Трубецкая молча писала, поставив чернильницу в сжатые колени; письмо было о Никите и о Нонушке; о том, как следует позаботиться о них, сиротах.

Она «заметалась» головой по своей старой подушке; доктор Вольф шагнул, с другой стороны робко ступил завалящий, хилый петровский попик; она сказала уже совсем с трудом:

— Принесите мне Нонушку.

— Она спит,— машинально ответил добросовестный Вольф.

Все зашевелились, глухо осуждая его; «Да принесите же, принесите»,— раздалось торопливое; кто-то пошел было.

— Так не будите ее, пускай спит... Дайте мне ее куклу... Пускай... хорошо, что спит...

Подавленный Якушкин взял с сундука и подал ей глупую куклу.

— Ну вот, я как будто Нонушку поцеловала,— сказала Александрина в странной предсмертной экзальтации; многие отвернулись, другие хотели взять куклу, но не решились; Лунин вдруг сделал из угла два шага, все посмотрели на него, угрюмого, и отступились от плачущей Александрины; Лунин ничего не говорил, лишь стоял; хрипы Никиты, скорбное дыхание его умирающей жены да шепот попики, сующего гаснущие свечи в руку лежащей, нарушали молчание тех минут.

Так она забылась в некоем облегчении — с живыми слезами на глазах, нежно целуя куклу, о которой любяще думала как о дочери.

Тяжело умирать, легко умереть; легка смерть путнику, востигнутому белой метелью в дальнем, туманном пути.

Но тяжела, угрюма его смерть для милых, для присных. Нечто особенное нависло над хмурым, осенним Петровским заводом в дни смерти Александрины Муравьевой; вокруг дома день, ночь толпились люди — убийцы и воры, и некие отпетые бандиты были узнаны среди них; входили,

выходили молчащие декабристы, женщины время от времени сурово убрали крыльцо — осень, зима на пороге; начальство куда-то делось, из Петербурга как раз кстати пришло запрещение от царя хоронить Муравьеву в фамильном склепе — боялись беспорядков в ныне аккуратной столице; почти заодно открылось милостивое разрешение женам преступников «теперь уже ежедневно» видеться с мужьями у себя дома — разрешение, встреченное лишь молчанием и нависшими взорами; стоял посреди избы на столе деревянный нарядный гроб, свинченный перворазрядным механиком Николаем Бестужевым, а из этого гроба смотрел второй, свинцовый, им же отлитый, — они предназначались для скорой отправки в Петербург; в горнице был народ, прощались с усопшей, лежащей еще на своем ложе, — лицо как лицо, на лбу морщина заботы, в руке свеча; из соседней комнаты не могли увести Никиту; всеми забытая Нонушка робко и в то же время недоверчиво-шаловливо тянула его за рукав — «Папá, ну, папá, ну, чего ты»; наконец кто-то из женщин ахнул и спохватился и унес тотчас же капризно заревевшую девочку; вынули свинцовый гроб, уложили покойницу в простой, деревянный... а народ толпился в горнице и вокруг дома.

— Хоронить скорее, — говорили друг другу появившиеся наконец у дома и сторонящиеся толпы, не глядящие плац-адъютант и иные; они посоветовались.

— Эй, вы, — подошли к двум «из простых» закутанный в башлык суровый плац-адъютант, урядник в шинели и желтых лампасах забайкальского казака и сзади них трусливый квартальный.

— Чего вам? — спросили те.

— Отойдем.

Они отошли.

— Набери из своих команду поболее, да скорей, — сказал главный здоровому каторжнику в крутом малахае.

Тот, насупясь, помедлил.

— Ребята, — позвал он наконец.

Начальство молча насторожилось, но осталось в неподвижности.

Тотчас подошли еще каторжники — бандиты и политические.

— Ребята, его благородие хочет похоронить. Сколько дашь?

— Рубль серебром на рыло. Земля мерзлая, пируйте, — напряженно-хмуро сказал тот; урядник крикнул при такой цифири.

Стояло молчание.

— Не возьмем ничего, это была мать наша, она нас кормила, одевала, а теперь мы осиротели. Идем без платы! чай не русские?! — спокойно сказал со стороны один из бандитов; кто-то из декабристов пытался обнять его, но тот спокойно отстранил, первый повернулся; толпа разошлась и вернулась с заступами, ломами и кирками.

Несколько мужиков взошли на крыльцо и вскоре с озабоченными лицами показались снова, неся на плечах легкий для них, затейливо украшенный железными скобами, но по форме простой деревянный гроб; перед ними молча же расступились; было несколько всхлипывающих, закутанных для поздней осенней морозной хмари женщин, но не было привычных при похоронах воплей. Двинулись к церкви, стоявшей на голом бугре чуть на отшибе; забытые воры-грабители и разбойники шли плечом к плечу с благородными, поселковые бабы, старухи в толстых платках и тяжелой одежде суетливо и молча поспешали рядом с Трубецкой, Волконской, Нарышкиной, Давыдовой, Юшневской, Ентальцевой, с француженкой Полин Анненковой, стараясь не отстать от размашисто шедших каторжников с гробом; деревенская сибирская девочка в материнском полушубке шла рядом с угрюмым Луниным, спотыкающегося Никиту поддерживали какой-то суровый колод-

ник и мужик, пострадавший по мокрому делу; и все они шли к погосту, чувствуя братство друг с другом, и приближалась ветхая церковь — и те внесли гроб, поставили на амвон, а сами вышли к товарищам на погост — вышли, чтоб без платы рыть снег и долбить киркой, ломом ту землю.

* * *

*

Ивашев «сходил с ума», когда ожидал Камиль Ледантю; то ему казалось, что она теперь некрасивая и он, увидев ее, не оценит ее жертвы или изобразит в лице нечто, что уязвляет женщину в самое сердце; то воображал, что сам недостоин ее — и «в ужасе» бежал к зеркалу или оглядывал свой казакин, шаровары; то удивлялся уж самому себе, что в этом трагическом положении он думает о столь несущественных пустяках, между тем как прибытие Камиллы в Сибирь лишь означает ее верную гибель, и сажился писать отказ — и рука не налегала; то он думал, где же попросту будут жить Камилла и возможные дети, представлял свою конуру без окон, которые все обещают прорубить, да никак не прорубят, сырость и черные печи, мрачный Петровский завод, представлял измученные лица жен старших товарищей, самого себя — жалкого под вечно укоризненным, недоумевающим взором молодой француженки; то вновь вспоминал, что она, несомненно, дарована ему судьбой: ведь именно в те дни, когда он окончательно решил или удавиться в проклятом «новом» Петровском, или бежать (и даже подшил частокол, собрал припасы и сговорился с беглым) и при этом или погибнуть в лесу и голой степи, или «подпасть» под пули охраны (другого исхода не было, побег не мог удалиться, он знал), но на воле, под небом (после простора и неба перехода из Читы, когда он и рисовал, и ловил бабочек, и делал гербарии, и подолгу валялся на августовской, сентябрьской траве, он уж не

мог, материально не мог видеть эти стены и потолки и забор), — именно в те дни все решилось реально, а не в предчувствиях, не в бреду.

Приятеля, Басаргин и Муханов, под угрозой доноса Лепарскому заставили Ивашева на неделю отложить побег: они знали, он шел на верную и позорную гибель. Тень Сухинова... Если человек через неделю не одумается, отпустят, обещали они.

Эта неделя была благим ударом рока, семью днями творчества. Лепарский вызвал Ивашева, и тот, уходя, бросил горький взгляд на крепкого Басаргина, который тотчас ответил, что он ни в чем не виноват; оказалось, однако, что у Лепарского лежит письмо от его, Ивашева, родителей с просьбой к сыну пустить к себе Камиль Ледантю. Дело сделано, слово за ним.

В том настроении, в котором был Ивашев, он не мог не принять это событие как чисто мистический знак; и вот, помучившись за Камиль, за себя, за так и не допущенных родителей, он написал о согласии — и теперь ожидал Камиллу.

Он не подозревал, что теперь-то начнутся главные муки — правда, муки, живительные в своем основании; это не были муки пустого отчаяния, абстрактной и голой безнадежности; это были муки сомнения, страха и ожидания — не изматывающе-беспредметного, а живого и точного.

Проходил, то в своем башлыке, то в истертой фуражке, плац-адъютант — и Ивашев, стыдясь за свое достоинство и приличие, невольно искательно заглядывал ему в суровое лицо, задерживал на нем взгляд — и иногда получал ответный — и слышал благое, сопровождаемое скупой усмешкой:

— Едет, едет, Ивашев. Дайте срок. Едет.

И он улыбался невольно плац-адъютанту — и отступал с пением в сердце; но вот тот проходил, отвернувшись,—

Ивашев падал душой и — не решаясь спросить, изъять надежду — вмиг вялый — думал: «Повеситься? Броситься в сторону в виду часовых? Пуля и быстрее, и почетнее».

Между тем шли недели, месяцы — вестей не было; «плац» и грузный Лепарский все чаще не замечали его присутствия; сначала он относил это впечатление на счет своей подозрительности, хандры, но после уж не мог сомневаться.

Несколько раз он подходил на расстояние в два-три шага к плац-адъютанту, и тот видел — но, как всякий грубый человек, так и не понимал, что для Ивашева неизвестность губительней ясности; и, испытав его отчуждение, Ивашев пятился в малодушии.

Он знал, по сколько раз могли к ним, к каторжникам, то применяться, то отменяться милости; это была своеобразная тактика, и они, бесправные, знали ее, но все равно поддавались ей: человек слаб.

Они знали, что ежели начальство действительно решилось сделать даже простое, необходимое «ослабление» — например, прорубить наконец проклятые окна, — то все же оно добьется, что это «ослабление» будет воспринято как райская неожиданность, как величайшая милость свыше: столько раз она будет обещаться и вновь уплывать, столько раз вам напомнят, что могут дать, а могут и не дать.

При этом чертовщина была в том, что нельзя было угадать, какую же милость и верно окажут — слух подтвердится, — а какую нет; могли обещать и в конце выполнить, а могли обещать, не выполнить, вновь обещать, вновь не выполнить, вновь обещать, обещать — и наконец спокойно не выполнить.

Ивашев знал все это — но силы его были на исходе; увидев синее небо, он не мог уж забыть; приезд Камиллы был последней «защелкой» за жизнь.

И он уж не мог, не мог он вести игру — спрашивать, писать просьбы; он мог лишь бессильно ждать.

Он чувствовал — даже намек на отказ уничтожит его; оставаясь же в неведении, он мог еще тепшить себя надеждой; в то же время это неведение истощало его жизнь: да, ясность легче.

Как-то Ивашев в следующий раз подошел к угрюмому «плац», как водится, закрученному в башлык, хотя была уж поздняя весна нового года, и посмотрел на него прямым, долгим, умоляющим взором; случившийся тут Луний сказал было:

— Вася? пойдем ко мне, — но Ивашев, даже не взглянув на Лунина и лишь в странной инстинктивной досаде как-то поведя на него плечом, продолжал смотреть на этого немолодого, буролицего, выдавшего виды сибирского поручика; тот искоса хмуро взглянул раз-два — он разговаривал с солдатом, а Ивашев стоял сбоку, уставившись, — и, увидя, что Ивашев все не отходит, — слегка повернулся к нему и неловко буркнул:

— Ивашев, Ивашев, что смотрите? все это не просто. Скоро сказка сказывается... Ваша француженка не может выехать, так как в Москве холера; как только окончится карантин, она тотчас отправится. Экий нетерпеливый.

Ивашев тотчас же отошел и вздохнул так, будто у него из горла вынули долгий кляп; первое его чувство было — бешеная радость: отказа *нет!* о, милость! о, милосердный, *понимающий Тот!* затем начал вставать и страх: холера?! Камилль... И все-таки радость пела и побеждала.

Луний угрюмо покачал головой и пошел восвояси; Ивашев не смотрел на него.

* * *

*

Наконец в середине лета в Петровском разнесся слух: приехала новая француженка.

До тюрьмы этот слух дошел не сразу; первые увидели Камиллу, конечно, дамы.

Волконская, у которой в Чите, в самое время перехода преступников в Петровское, родилась и тут же умерла дочь, была с тех пор в особенном решительно-размягченном, задумчиво-собранном состоянии; несчастья не ломали ее, но неизменно вызывали то свежий, то горький, то будто бы и болезненный, но крепкий порыв, реакцию к жизни; после смерти ребенка она осталась внимательной ко всему новому — и всерьез обрадовалась приезду Камиллы, как отвлечению от оголтелых петровских буден и черных мыслей; она тотчас же поселила ее у себя и объяснила примерно то же, что Нарышкина и Муравьева объясняли Полин, — что не так легко увидеть государственного преступника, хотя бы ты и был высочайше допущен к нему; Камилла была в меланхолически-полуобморочном состоянии, она на все безвольно кивала, кивала, и непонятно было, как она, такая, пробралась же через Сибирь.

Прибежала Полин; косвенно знакомые соотечественницы обнялись и плакали на плече друг друга: светлая и норовистая, порывистая Полин — резко всхлипывая, темная Камиль — «скуляще» и жалобно.

Наконец Ивашеву сказали — в тот самый момент, когда уж было разрешено идти: боялись, скажи раньше, он, не допускаемый к Камилле, что-нибудь вытворит; как ожидали, так и случилось; Ивашев на глазах позеленел, минуту стоял, уставившись в хитровато усмехающегося плацадъютанта, затем схватился и молча побежал из отворенных ворот частокола; заранее назначенный за ним солдат едва поспевал вслед, но не ругался, а лишь, ухмыляясь и отставляя назад штык, подбирая белые грязные пехотные штаны то одной, то — переложив ружье — другой щепотью, бормотал в усы:

— Вот что делает. Ты гляди. Вот что делает.

Лунин широко шагал за солдатом — на всякий случай; войдя во двор дома Волконской, он почувствовал, как и у него невольно забилось сердце; Камиль, в темном платье

с розовым «пуфом», стояла среди двора, сцепив руки перед собой; ей было уж двадцать два года, она была стройна, четко-женственна; Ивашев, арестант тридцати трех лет, бывший кавалергард, подошел... вот остановился...

Вдруг прояснил его взор, до этого как бы полный неразвеваемого тумана; перед ним стояла «прелестная молодая дама», темноглазая, с длинными ресницами; стояла девушка, смотрящая на него любящим взглядом и как бы безмолвно напоминающая о детстве, о юности в радостном Петербурге, об Аничковых перилах и Инженерных мостах, об отчем доме, о тоскующих матери и отце; и все это было — в ее глазах, в ее прелести.

Взор Камиллы ширился, влажнел и темнел. Они *узнали* друг друга; она ничего не говорила, и он молчал, опустив руки; вдруг она качнулась; она делала усилие — он подхватил, взял ее к себе; последнее, что увидел Лунин, — глаза приходящей в себя Камиллы — глаза, полные и счастья, и того особого недоумения, которое в первое время было в глазах всех женщин, при нем приезжавших в Сибирь, — женщин, вечно мечтающих о *покое* с возлюбленным...

Что-то было в ее глазах — слишком много счастья, слишком много недоумения; и этот тяжелый и горький обморок, с которым она боролась, как снегирь с клеткой.

— Базиль, о Базиль, ты лучше, чем я мечтала... — между тем уж лепетала она.

Тот молчал, пряча встрепанную русую голову у нее на плече.

— Лучше так лучше, — пробормотал Лунин — и пошел из ворот.

И была еще одна свадьба.

Все было — светлое, горькое и простое.



И шло время — и жизнь в Петровском заводе шла, как положено жизни.

Долго Михаил Сергеевич Лунин — суховатый и собранный — откладывал тот визит к своему кузену и другу Никите Михайловичу Муравьеву, который был неизбежен.

Наконец он «вторгся» в камеру Муравьева; окна были уже прорублены, тесное помещение освещал сероватый свет из этого самого окна — маленького и слишком глубокого в стене; на смятой постели сидел Никита и держал на коленях шестилетнюю Нонушку.

Он настороженно посмотрел на Лунина — сразу, своим превосходным инстинктом, еще более чутким за последнее время, заметил неладное; Лунин же сразу понял невыгоды своего положения, но отступить было некуда.

Курносая, в льняных кудрях Нонушка, в отличие от самого Никиты (неряшливого в платье и почти нечесаного) одетая чисто и даже кокетливо — в кофточке с петухами, в цветных тесных панталончиках, красных башмачках, — смотрела на Лунина ожидающе и доброжелательно; они, конечно, были давние приятели, но сегодня «Миша» был хмур и как бы не тот.

Лунин слегка надавил ей на кнопочку-нос, она с готовностью звонко хихикнула, явно целя на продолжение; но он как бы не заметил этого, сел поодаль на стул и, не глядя на стару и младых Муравьевых, сказал:

— Ты знаешь, Никита, давно нам надобно было говорить всерьез. Я не знаю, готов ли ты.

— Говори, Мишель... разумеется, — тоскливо засуетился Никита. — Говори, конечно. Да, милый. Я слушаю. Погоди: я вот возьму... я возьму кашу. Плохо ест, однако... мадам Кузьмина, которая теперь ее воспитывает, — да ты знаешь, что это я? — мадам Каролина Карловна ушла толковать с Лепарским об угле и о пихтовых дровах; эти... пихтовые...

колются гораздо сподручнее, чем сосновые, если высушить; так вот, поскольку мужиков всякий раз не найдешь, а меня не всегда отпускают, да и не очень умею, а Нонушке холодно в избе...

Никита говорил в тоске и в рассеянности, глядя в сторону в одну точку и беря со стола медную миску с кашей; не успел он поднести ложку ко рту Нонушки, как та тотчас же капризно и отчасти играючи отвернула личико, скосив глаза на отца.

— Однако Нонушка... Надо слушать папá,— начал Никита столь же неумело и рассеянно, сколь неумело он говорил о дровах и прочем; он, в отличие, например, от Волконского, так и не стал «хозяином», «мужиком», в нем непрерывно была эта отрешенность некая.

Лунин посмотрел на все это, затем снова отвернулся и решительно начал:

— Я пришел, Никита, говорить о наших идеях, нашем поведении. Мы не вольны в себе — и должны понять это; все, что было до Сибири,— детская игра и бирюльки; наше истинное назначение — Сибирь; здесь мы должны показывать, чего стоим.

Он, не глядя на Никиту, тем не менее вдруг осекся и еще с полмгновения медлил, не решаясь взглянуть, и наконец взглянул.

Никита сидел на краю кровати, опустив плечи, и непроизвольно прижимал к себе Нонушку — последнее оставшееся свое достояние; девочка глядела на Лунина недоуменно, но весело — эти серые простые глаза, этот носик маленькой Александрин, эта живость и беспокойство и вся тайная «энергия» рода Муравьевых; Никита, в распавшихся на две стороны потемневших, почти уж прямых волосах, со светлыми широкими глазами, добрым, слегка огрубевшим лицом, сидел жалкий и как бы вострепанный — и прижимал, прижимал к себе свою Нонушку.

Лунин помолчал подавленно; несмотря на то, что он

инстинктивно дал время Никите оправиться, тот и не подумал сделать это — сидел и смотрел.

— Никита, — наконец сказал Лунин, тоже опуская плечи. — Прости меня. Я хотел...

— Да, да, конечно, Мишель, — вновь засуетился Никита, поспешно опуская Нонушку на пол. — Иди поиграй. Иди погуляй в коридоре.

— Да нет, останься, Ноно, — вяло сказал Лунин.

— И не хочу оставаться! — вдруг звонко сказала девочка — и, визгнув дверью камеры, крепко прыгнула в темный коридор.

— Так ты, Мишель...

— Дело в том, Никита, что у тебя есть некоторые бумаги — выписки и замечания, касающиеся в свое время составленного тобою проекта нашей конституции и других установлений; я хотел бы, чтобы ты их передал мне, только и всего.

— Но Мишель, — быстро заговорил Никита, — я вовсе не хочу отказываться; я намерен способствовать...

Он уныло умолк, опустив потемневшую и постаревшую голову.

Вошел солдат, явно за табаком; взглядом пожилого человека тотчас заметив, что он не у места, он, из особого такта, не стал, однако, тут же пятиться, а приостановился, своим видом показывая: вошел так вошел.

— Чего тебе, Матвей? возьми там, — помолчав, махнул висящей рукой Никита, вовсе не радуясь солдату как поводу для перемены темы.

Тот, несколько сгорбясь и суетясь, отсыпал в ладонь «табачку» из угловатой корзиночки — и стыдливо ушел, не глядя на беседующих и буркнув: «Благодарны, Никита Михайлович».

— Я хотел только, чтобы ты передал мне бумаги, — твердо сказал Лунин.

— Ты знаешь, есть слух, что детей вернут в Россию,

но им не оставят наших фамилий... Выходит... Александрина была незаконной моей женой и... Миссель...

Он отвернулся и проглотил комок.

— Так я тебя слушаю; ты говоришь — бумаги? заметки? да, разумеется; стало быть, мы с тобой... начнем...

— Передай мне бумаги, Никита, — возможно мягче сказал Лунин, коснувшись его руки.

* *

*

Да, жизнь в Петровском шла своим чередом; были огорчения и радости, предсказанные Чернышевым (то запретили прогулку, то, наоборот, прорубили окно); люди болели, пели и музицировали, рисовали, спорили, даже рождали детей; кто выходил на поселение, кого отсылали на Кавказ, кто получал очередной (хотя и запрещенный!) обоз с продовольствием, одеждой и книгами, кто — просто письмо, кто — привычно полуразгромленную посылку; вспоминали читинские отделения в остроге — «Новгород», «Вологду», «Москву» и иное — и сравнивали с нынешним конурным житьем; говорили о нуждах артели — корпорации, деятельно возглавляемой «материальным тружеником на общее благо» Пушиным; начальство все менее давало денег на содержание арестантов (в Петровском хуже, чем в Чите), не все получали обозы — и «управа» распределяла доходы; впрочем, такие светские молодцы, как Лунин, не участвовали в этой степенной и «мелочной» артели, а лишь втихомолку раздавали деньги и вещи, присылаемые родными (Лунину — неугомонной сестрой), непосредственно нуждающимся товарищам; вскипали ссоры и споры — одни обвиняли кого-то за неуспех восстания, другие отстаивали Шеллинга в пику Канту, третьи побивали Вольтером мистиков, четвертые подозревали товарища в непроизвольной лести начальству, пятые упрекали женатых

за жен, шестые — неженатых за эгоизм, седьмые со слезами на глазах и грустью в сердце провожали товарища вдаль, на поселение, восьмые хоронили приятеля, не дожившего даже до призрачной новой свободы и сразу уж получившего свободу навек; девятые смеялись над Мухановым, десятые восторгались Пушкиным и бранили плебея Полевого, одиннадцатые крестили еще одного младенца, двенадцатые писали новую жалобу на нехватку того-то; тринадцатые вспоминали, что друг уж слишком много шлет просьб по начальству, четырнадцатые отвечали, что «злобствующие» прежде и сами слали, коль *им* было надо, пятнадцатые, не выдержав грязи, стужи и заточения, мешались в уме, и их терпеливо отхаживал педантичный и честный Вольф, шестнадцатые, разнежась, как о несбыточном, мечтали о встрече с детьми, с родными — и, словом, мелькали годы, и жизнь катилась.

Как-то вновь похорошевшая, посуровевшая, ставшая как бы четче Мари Волконская, сам Волконский — ныне степенный, с окладистой бородой, похожий на мужика и стремящийся к этому, тихий Анненков с беременной, присмирившей Полин-Прасковьей, грустно-счастливые, с недоумением и безнадежной надеждой в глазах Камилла и Василий Ивашевы (она по-прежнему смиренно-влюбленно посматривала снизу на рослого Базиля), одинокий, весело-хмурый Лунин и отрешенный Никита прогуливались между острогом и Дамской улицей, на которой были дома большинства из жен; разговор был общий и грустно-веселый.

— Никита в шестнадцать лет бежал из дому в армию Кутузова, был арестован как французский шпион, едва не расстрелян, но все-таки попал на позиции и заслужил похвалы и кресты, — рассказывал Лунин.

— Да. Да, да, — довольный, слегка улыбался Никита.

— Чернышев — Чернышева. Эко ведь — как Южный и Северный полюсы русские, — сказал кто-то кому-то на

ухо — и вдруг умолк, смущенный: все к тому времени стихли, и голос раздался резко.

— Екатерина Федоровна обещала взбучку, но сын пришел из Парижа с усами и саблей — и она отменила, — не давая упасть молчанию, непринужденно продолжал Лунин. — Приятель и родич Батюшков написал к нему послание.

— Однако Пущина все нет.

— Он урезонивает подрядчика.

— Он умеет: со своим спокойствием, доброжелательством и улыбкой, а допечет.

— Скоро, однако, и нам на поселение.

— Будет ли лучше? здесь — только неволя, а там — и заботы. Неволя почти та же, а средств никаких.

— Но все-таки без часовых.

Лунин постепенно отстал и пошел в тюрьму; солдаты, сопровождавшие гуляющих, механически посмотрели ему вслед — тут же отвернулись; но он сам несколько раз оглядывался — будто ждал чего-то.

Он пришел в свою тесную келью, сел у стола, на минуту задумался; хотел обмакнуть перо, опять подумал; легким жестом отставил бумагу — решительно не до писания было. Отчего?

Он сидел, думал; резкий стук в дверь прервал его мысли; он как бы обрадовался: наконец-то, *сколько* ждать.

Он раскрыл дверь, слегка отстранился; перед ним была Нонушка восьми лет — в светлом платье в горошек, до края испуганная, — Нонушка, неизвестно как проникшая мимо солдат.

А может быть, они просто пустили ее: так бывало.

— Дядя Мишель, — умоляюще залепетала она. — Скорее... папá... никто ничего...

Лунин молча схватил ее руку и пошел вон; солдаты смотрели участливо и даже не подумали загородить путь; через десять минут они были на холме у белой часовни

с неугасимой лампадой — часовни, воздвигнутой Никитой над гробом жены,

Они гуляли далеко от этого места; но не надобно было спрашивать, каким образом Никита Михайлович оказался здесь.

Он стоял у входа, прислонившись к косяку, — и, покойно заглядывая внутрь, говорил будничным голосом:

— Что ты говоришь? а? я слышу, но громче.

Вокруг толпились Волконская, Полин, Камилла, Ивашев, Анненков и кто-то еще; привыкнув уж «ко всему», люди теряются при самом как бы простом; если бы Никита вопил, причитал, как с ним бывало не раз, они бы знали, что делать; но тут они вконец расстроились — и бестолково кудахтали, всплескивали руками; этот уверенный говор Никиты на что-то, что будто бы тихо отвечало из глубины склепа, — это совершенно «уничтожило» собравшихся; он продолжал:

— Я скоро уеду, Александрин. А ты будешь одна. И Нонушка уедет.

Камиль то отстранялась от Ивашева, впрочем не отпуская из цепкого кулачка его куртки, и, будто в колодезь заглядывая в сторону входа часовни, «лопотала» своим высоким, певучим — словно бы несколько вопросительным — голосом:

— Спаси их, Базиль... Спаси же... — то снова прятала глаза на его груди: это было ее всегдашнее первое движение; от семилетней амазонки в ней осталась эта мягкоплаксивая, грустная порывистость, чувство невозможности того или иного «факта», предстоящего въяве перед глазами; Лунин посмотрел на них... и снова увидел в ее красивом лице, в ее «арлезианских» глазах с их печальными, будто бы покорными ресницами, в его тонкой и стройной, но особенно понурой фигуре то самое «слишком». Тут было величайшее недоумение и нежелание, неприязнь к желанию справиться, отойти от этого недоумения, войти

в жизнь не со стороны, а изнутри ее. Они теснились друг к другу — и это для обоих была единственная защита от ветра; Камиль чего-то не понимала — не понимала; защита была смутна, а ветер смел.

Они были ближайшие к нему.

Лунин подошел и крепко взял руку Муравьева.

— А? — оглянулся тот.

— Пойдем, — сказал Лунин.

Никита помедлил, снова заглянул внутрь.

Рядом тонко и жалко заплакала одинокая Нонушка.

— Александрин, — внятно сказал Никита, в то же время пехотя отдаваясь натиску Лунина. — Александрин, — повторил он более требовательно.

— Пойдем, — говорил Лунин.

— Пойдем... Пойдем, мой друг... Александрин! — вдруг снова сказал он через плечо.

— Пойдем; пойдем, Никита.

Лунин вел Муравьева, обнимая за плечи; все остальные, шепча и всхлипывая и поминая господ, шли за ними; Лунин другой рукой держал за руку плачущую Нонушку.

У ворот острога он поручил девочку Волконской и Камилле, отвел Муравьева в его камеру, уложил на постель, укрыл.

— Лежи, Никита! — сказал он строго.

Затем он вновь вышел на улицу; начинался общий как бы душевный взрыв, «истерика»; все были тайно напряжены — и вот, этот случай вдруг был тем последним уколom, который вывел из равновесия; женщины остались у частокола, принав к мужьям и рыдая; мужчины стояли понурые — и никуда не шли, и не смотрели один на другого.

Лунин взял за руку кулаком вытирающую слезы, устало ревущую Нонушку, пошел с ней по направлению к Дамской улице, привел, ввел в ворота, в дом; две припильные старухи и мадам Кузьмина, добрая пожилая, аккурат-

ная, чистенькая дама в сером громоздком платье с крахмальным отворотом, всплеснули руками, с первого же взгляда начали всхлипывать; Лунин, улыбочиво-вежливый, строгий и суховатый, косвенно поклонившись направо, налево, провел утихающую девочку в ее спальню, неловко и осторожно стащил с нее верхнюю одежду, уложил, накрыл одеялом до подбородка и, улыбаясь, сел над нею на табурет — важный, в пышных усах, с дедушкиной улыбкой.

— Спи, Нонушка. Спи, дорогая.

* *
*

Лунин и Волконская шли по высокому берегу Ангары; это было место их прогулок еще в те дни, когда прогулки эти внутренние были свежей и значительней.

Позади был Петровский завод и вся каторга; они были в Урике, под Иркутском.

Они — Лунин, Волконские, братья Борисовы (в сельце рядом), Никита с воспитательницей Кузьминой и Нонушкой, по своей воле оставшийся с ними его нелюдимый брат Александр и еще трое-четверо; Ивашевы и Анненковы с детьми попали на поселение в другие сибирские грады, веси.

Странные отношения складывались в Урике у Лунина и Мари; они, как два духовно, физически выживших, красивых и сильных существа, естественным образом тянулись друг к другу — и многое мешало обоим; Лунин видел в Волконской, во-первых, конечно, жену приятеля, и, несмотря на чувственную энергию его натуры и на то, что близкое присутствие прелестной женщины прежде могло для него развеять как дым все отвлеченные нравственные принципы, да и гусарские правила не возбраняли такого обращения с седьмой заповедью, ныне что-то останавливало его; собственно, во многом это «что-то» было

простое — общее несчастье; далее, в тоне, в манерах Волконской были для Лунина черты, вызывающие тайное раздражение; в ее темном красивом лице, блестящих углях-глазах, как бы обещавших «неистовость вакхических откровений», в ее крепкой и тонкой, грациозной, немного хищной и в то же время нежной фигуре, неизменно кокетливо и аккуратно затянутой в закрытые платья темных тонов с каким-нибудь белоснежным изысканным кружевом — платья, «таинственно» привлекавшие более, чем яркие и благие наряды, в ее жестах, ужимках и поворотах, в улыбках и пении, и в пожатии руки, и в долготе взора он с досадой чувствовал некий детский, довольный оттенок, состоявший в том, что — вот, все как полагается, «все как у людей» (как говорят мужики) — все как в Петербурге... И даже есть «рыцарь», красивый, умный и милый — все как настоящее.

Может быть, Лунин был здесь мнителен и преувеличивал, — может быть, Мари относилась к нему и более прямо, и более искренне; но этот оттенок, лишь еле заметный в ее умном, женственном поведении с ним, — этот оттенок был куда более явствен во всем стиле, во всех замыслах ее нынешней жизни, быта; не в силах забыть, но желая забыть (ее жизненная сила требовала этого), как в нерчинских и читинских жилищах топила по-черному, как ездила на телегах за шестьдесят верст в поисках козьего молока для детей, как — чуть ли не единственная работница на «свой» отсек рудника — стирала белье и робы на всю команду в остывающем кипятке, иногда в ледяной воде, как — княгиня — терпела всевозможные насмешки от некоторых начальствующих жен, не обладавших ее молодостью и красотой Золушки, как, одинокая, с детьми, слушала стук и голоса сибирских жутких разбойников — «варнаков» — под окнами оголтело затихшей избы, в мертвенно-тихом, черном сибирском дворе, она, вырвавшись из стеснений каторги, попав под Иркутск на это самое посе-

ление, чутко бросилась налаживать жизнь, наибольшим образом похожую на ту; она строила большой — пусть деревянный, но *почти настоящий*, со службами и двором, — дом, она советовалась с Трубецкой (бывшей тут же и занятой тем же) о слугах и материалах, она посылала своего ныне хозяйственного, все «виноватого», но по-прежнему умного и бодрого Сергея Григорьевича на приемы, поклонны к начальству, писала закладные бумаги и счета, поздравительные послания и просьбы, пристально думала о должном воспитании Миши и Нелли (детей, родившихся после умершей девочки и, по счастью, бывших здоровыми, умными и красивыми детьми, в мать и в отца), привлекая для этого всех кого можно, в том числе Лунина, с его знанием и умением; она специально заставляла князя проситься в Иркутск — Мише скоро пужна гимназия; она энергично создавала круг своих знакомств, принадлежащих к высшим местным сферам и к высшим сферам самих «преступных» декабристских «селян»; ближе всего ей были старые сотоварищи по петербургскому бомонду, князя Трубецкие, Львов и Лунин, далее уже шли Борисовы и иные; в письмах «туда» она жаловалась на усталость и равнодушие к жизни, но и это был благой признак, ибо ранее она просто избегала жалоб; она стала устраивать вечера, «рауты», стала снова петь этим своим волнующим колоратурным контральто, да так хорошо и по-новому, что Лунину даже раз показалось, что он впервые за десять лет слышит пение, хотя оно было не так; у нее вечно толпились краевые чиновники, местные артисты и прочие, бывал сам генерал-губернатор, а также все эти «ближайшие», избранные друзья; она говорила, смеялась, всех объединяла, она вспоминала Вяземского, «сестру» Зинаиду с ее салоном, старых Давыдовых, Пушкина и намекала, что Татьяна — это она («А та, с которой образован Татьяны милый идеал?»); после известия о смерти поэта она, однако, тотчас же перестала говорить об этом; она поддерживала непрерывные сношения

с Петербургом, с Москвой, выписывала новые газеты, музыкальные инструменты, обсуждала модные литературные имена («Бедный Полежаев. А наш героический Alexandre Марлинский? Какова смерти! атака, ночь, кавказцы, война, даже тела не нашли; быть может, он жив? быть может, ушел к черкесам? ужас! Он всегда был такой! вот судьба! А Лермонтов? О, Лермонтов!»), пела романсы, ставшие известными в последние годы; неповторимо выходило у нее это новое, чуждое: «Не пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней...» Мужчины, ссыльные и свободные, были в восторге, бедные женщины смахивали слезы:

— Прекрасно, Мари. Этот волшебник Булахов. А наш-то Денис: каков. Как он виден здесь... Где-то он теперь. Все служит, крутит усы или давно в отставке.

— Денис уж умер. И это не он, а его подражатель... Но bravo.

Половину времени она проводила в самом Иркутске: в восемнадцати верстах; но поскольку официальным местом поселения был все-таки Урик — небольшое сибирское село среди леса, с этими черными, приземистыми домами, с изгородями, сараями («зародами») и стогами, — то Мари и там успевала наладить всю жизнь: нанимала мужиков перестраивать «камчатник» — второй дом, следила за костюмом основательного, но не без стремления к мужицкой распушенности во «внешнем виде» своего Сергея (эти сапоги гармошкой, эти кафтаны, «оклад» — фи); она, особенно летом, обращала Урик в дачу для ссыльного, но княжеского семейства Волконских и их друзей; она гуляла с детьми и с Луниным, весело говорила.

Ясно было, что некоторая «симпатия» к мужественному, умному и красивому Лунину и к ней — самого Лунина была ей кстати; как большинство женщин в этом положении, она не загадывала о дальнейшем, а просто следовала ходу всей легкой, светлой игры; но, несомненно, ей было

досадно, что Лунин — в прошлом известнейший ловелас Петербурга и «всего гвардейского корпуса» — с ней сдержан и слишком почтителен; она, «конечно, сама не позволила бы» лишнее, но по законам *той* жизни женщина ежели и хочет сама не позволить, то от друга ждет иного.

Они шли по берегу, чуть поднимаясь в гору; под ногами был блекло-зеленый луг, справа — холодно-оловянно-блестящая, злая, крутливая Ангара в крутых берегах, с излучиной в отдалении, с синим лесом на той стороне; впереди слева — эти сибирские, байкальские сосны — не такие, как в европейской России: с менее розовым, более желтым стволом, с как бы желто-зелеными иглами.

— Вы все будто обижены, Мишель, — говорила Мари, поминутно и не без нарочитости приседая, чтобы сорвать цветок: она знала прямизну, изящество своего стана, подчеркиваемые при этом женственном движении.

— Что вы, Мари, — отвечал Лунин, невольно мельком окидывая взором ее грациозную фигуру — как бы пользуясь тем, что Мари отвернулась к цветку. «На что ей эти бледные цветы», — подумал он сухо, тогда как чувства его снова были задеты.

— Но вы хмуритесь, вы не одобряете меня, — с наигранным легкомыслием говорила она.

«Я просто не могу забыть Пестеля, Сухинова, Александрин и других», — хотел он ответить и, разумеется, не ответил; кстати, это была бы и *не вся* правда.

...А какова же — *вся*?..

— Неужели, Мишель, вы не видите, что тот жалкий быт, жизнь, которые я хочу устроить, — что все это... — серьезней заговорила она; но в этой серьезности была своя игра. Она как бы пробовала то, другое оружие и, видя, что покамест ничто не действует, постепенно наращивала силу.

— О чем вы, Мари? — В этом вопросе было неприятие стиля и откровенности разговора. Он шел по дорожке, глядя то на Мари, то как бы поверх леса, реки в туманное

небо и не пытаясь свернуть к ней — идущей рядом по траве, — тихо поцеловать ее руку, как прежде.

— Вы не хотите понять меня, не хотите быть со мной просты; дело ваше, — вздохнула Мари, и во вздохе была скрытая искренность. — Однако же это жаль. Неужели вы полагаете, что я изменилась?

— Я очень хорошо понимаю вас, Мари, — доброжелательно сказал Луний. — Мертвый в гробе мирно спи, — начал он уж более жестко.

— Но это жестоко! — вспыхнув, не дала кончить Мари, четко обратившись к нему и блистая углями-глазами. — Разве я виновата, что я осталась жива? Разве смерть отца, смерть детей...

Она осеклась.

— Разве все страдания этих лет не дают мне права на самое простое, самое... Господи, как несчастна... Ни одного, кто бы... кто, — судорожно и неожиданно всхлипывала она, отвернувшись.

— Это напрасно, Мари, — смягчаясь, сказал Луний, однако не приближаясь к ней. — Я повторяю, я слишком вас понимаю; я...

— Эти вечера, эти... — отрывисто говорила она своим волнующим, низким голосом, отвернувшись к светлой, почти белой реке внизу. — Если б вы знали, каких усилий мне стоит, говоря о том, этом... не вспоминать об отце, об умершем там моем оставленном сыне... Николеньке, которых я убила своими несчастьями и отъездом, о братьях, которые меня проклинали не проклинали, а... о... о...

— Успокойтесь, Мари; никто же не обвиняет вас; вы сами себя обвиняете — вы, не виноватая ни в чем; это говорит о вашем прекрасном сердце, о...

— Ох, что это я, — вздохнув, сказала Мари, поворачиваясь к Лунию и торопливо вытирая прихотливо-кружевным платком свои неожиданные слезы. Последние слова Лунина, конечно, не могли не подействовать холодно-успо-

коительно — он понимал это. — Кто вас знает, Мишель... Какой-то вы... Сюда бежит Миша. Ох, загородите меня.

Она, достав из кармана платья портмоне, вынула перламутровую плоскую коробочку, какие-то платочки и стала поспешно пудриться и еще нечто делать со своим лицом, глядя в зеркальце; он, стоя спиной к Мише и закрыв ее собой, с улыбкой наблюдал ее ухищрения.

Миша — стройный кудрявый мальчик, похожий на рафаэлева святого младенца, — подбежал в своей матроске и без предисловий встал во фронт.

— Луни! Командуйте! — приказал он высоким альтом.

Луни, с улыбкой косясь на Сергея Григорьевича, не торопясь подходящего вслед за сыном, тоже встал смирно, дождался, пока Миша приготовится, и вдруг крикнул:

— На ко-о-онь!!

Миша тотчас же проделал ногой, руками и задиком несколько движений, изображающих вскакивание на коня.

— Не верти ягодицей! — крикнул Луни, отчасти сам увлекаясь. — Протрешь... Садиться надо, как врос.

— Еще раз, — деловито сказал Миша, становясь в прежнюю позу и как бы воровато наблюдая за Луниным.

— На ко-о-онь! С коня-я! — закричал Луни.

— Теперь лучше, — снисходительно сказал он, тронув Мишу за плечо. — Тебе надобно...

— Здравствуй, здравствуй, Миша, — сказал Луину, подходя, Волконский. — Репетируете? — спросил он, мягко оглядывая всех.

— Репетируют, — улыбаясь, сказала грациозная Мари в темном платье с белой стрелкой, стоящая сцепив руки перед собой.

* * *

— Я должен беседовать с тобой, Миша, — сказал Волконский, идя рядом с Луниным и задумчиво глядя на ушедших вперед жену с сыном.

— Я готов.

— Тяжкий разговор, друг мой; надеюсь, однако, ты поймешь меня. Но тут нужна полная искренность с твоей стороны.

«Все хотят ничего иного, как моей искренности», — подумал Луний.

— Да; слушаю.

— Я буду краток; я тебя знаю, ты — меня. Мишель, не мне тебе напоминать об этой истории запрошлого года, когда тебе запретили переписку с сестрой.

— Я думал, ты будешь ревновать к Мари, — улыбнулся Луний.

— Нет, речь не о Мари, тут мне тебе нечего сказать, ты сам все знаешь; ты и здесь, о чем я сейчас говорю, все знаешь, но я вынужден.

— Продолжай.

— Мишель, мне кажется, мы приняли кару за свои убеждения, мы выполнили свое назначение и не следует дразнить зверя. Я знаю тебя; ты, может быть, хочешь еще пострадать или испытать опасность — ты ненасытен в этом, хотя на пороге старости; но одно дело — твои охоты на медведей, что касаются тебя, да еще твоего Василича, да твоих собак Варки и Летуса, и другое — твои письма и сочинения.

— Что ж, дразнить зверя в его берлоге — мое призвание, — добродушно усмехнулся Луний.

— Миша, теперь не до шуток. Мы вместе были под Аустерлицем, под Бородином и в Париже; именем старой дружбы прошу — оставь.

— Что же?

— Ты знаешь, о чем я.

— То есть оставить писать письма к сестре?

— Да; и политические сочинения, которые списывают все эти Громницкие, Василевские, Журавлевы, Ивановы и прочие.

— Обзор тайного общества я писал по поручению Лепарского.

— Миша, это скажешь на следствии, если, не дай тебе бог, оно состоится; но мне ты мог бы сказать иное.

— К сожалению, Сергей, — как бы решаясь, медленно сказал Лунип, — я давно уже не могу сказать тебе ничего иного.

— Воля твоя, Мишель! Вспомни Сухинова! — в свою очередь повысил голос задетый Волконский.

— Я помню Сухинова.

Волконский тотчас сдержался; годы каторги — годы терпения говорили в нем.

Он ждал себя, подбирая слова.

— Одно помни, Мишель, — он твердо перешел на «Мишеля» после колебаний в пользу «задушевно-русского» Миши, — что это касается не тебя самого. Это я и хотел сказать. После стольких лет страданий твои друзья имеют право на некоторый отдых. Тебе известно, что за этими моими словами — не малодушие, а кровавый и длительный опыт этих лет. Должен сказать, что и такие мужественные и добродетельные люди, как Пуцип и Якушкин, разделяют мое мнение; мы в переписке (намеками) обменялись об этом. Ты подведешь под топор *всех*; не слишком ли смело. Самое меньшее, Мишель, на такое надо спрашивать согласие вовлекаемых тобою.

— Успокойся, Сергей. Я не вовлеку никого... Да и каким образом мои письма к сестре могут вас вовлечь?

— Так нельзя. Ты говоришь со мною без достаточного уважения, — резко и без опаски сказал Волконский. — Ты-то уж превосходно знаешь, каким образом. Репрессалии, обрушенные на тебя, обрушатся и на всех поселенцев; это принцип правительства, он тебе известен, и мне странны твои вопросы. Вспомни, как после дела Сухинова тотчас же ухудшилось положение многих. А ведь теперь не двадцать восьмой, а сороковой год; люди еще более устали,

они постарели, они хотят дожить жизнь хотя бы в относительном покое; пожалей их, Мишель.

— Но письма...

— Что касается твоих писем к сестре, то содержание их ни для кого не секрет; да ведь, собственно, ты с тем их и пишешь! неужто нет?

— Ну, ты прав.

— Это не письма к сестре, а прокламации политические, предназначенные для России и заграницы; все это «твое» дело, но тень падет на всех. Тебе известно, что правительство ныне более всего ценит смирение; не видя в тебе этого после стольких лет наказания, Бенкендорф и государь придут в бешенство, и всем нам будет невесело.

— Но мои письма вовсе не только о политике.

— Ах, Мишель, неужели ты эдак и будешь отвечать? Собственно, весь разговор — лишний; я говорю лишние слова. Ты с самого начала понял, в чем существо.

— Так отчего же...

— Отчего я завел его, я уже объяснил тебе, — прямо и раздраженно говорил тяжелый, бородатый Волконский в низких сапогах, глядя перед собою в даль неба. — Та история с запретом на год была тебе грозным предупреждением; я удивляюсь даже, что правительство проявило терпение и не арестовало тебя тотчас же.

— А что нас не четвертовали без суда — этому не удивляешься? пошли Николаю благодарственное письмо... Впрочем, суда-то и не было, следствия, по сути, тоже, — спокойно-резко возразил Лунин.

— Словом, по твоему тону я вижу, что мои речи — звук пустой.

— Что-то не боюсь я ваших грозных предупреждений; боялся бы — «оставил» бы, — задумчиво сказал Лунин.

— Чьих «ваших»? ты хочешь меня обидеть и тем остановить разговор; воля твоя, Мишель.

— Нет, говори, коли хочешь.

— Усталая и измученная, несмотря на свою внешнюю энергию и веселость, Мари, далекие Ивашевы...

— Насколько мне известно, Камиль уже умерла, не выдержав неожиданного счастья в казематах, а бедный Василий Петрович тоже еле лепит в своем Туринске с тремя детьми, — сухо поправил Лунин.

— Прости, — сказал Волконский. — Но живые есть живые.

— Что́ есть живые? *Физически*, материально живые? — напряженно спросил Лунин. — Да мертвые Сухинов, Муравьева живее вас всех.

— Но так нам нельзя говорить, Мишель.

— Можно. Мне — можно, — прервал и тут же умолк Лунин.

— Не знаю уж, отчего тебе можно.

— Оттого, что среди живых я еще живой.

— Ты не живой, ты, напротив, абстракт и гордец; все знают это о тебе, но сейчас речь лишь о том...

— Речь о том, что я никак не поврежу всем вам; даю тебе слово.

— «Всем вам»! Тебе не стыдно, Мишель?

— Нет.

— Воля твоя; я знаю, твое слово дорого стоит, и принимаю к сведению; но речь все-таки о том, что и Базиль со своими несчастными детьми, и Жан и Полин Анненковы, и я с Мари и детьми, и Никита с дочерью, и брат его, оставшийся с ним, — все мы, наконец, просим тебя пощадить нас.

— Анненковы далеко; Никита не просит.

— Я говорю и от их имени — от имени всех твоих близких друзей; ты понимаешь, что я имею на это право.

— Я твердо обещаю тебе, Сергей, что вы не пострадаете от моих действий; я говорю второй раз, а я ранее никогда не повторялся.

— Воля твоя, Мишель, — устало сказал Волконский.



Поговорив с Василичем о погоде, о ценах на порох и о здоровье собак, Лунин прошел в заднюю комнату, сел за стол, обхватив щеки ладонями, и глубоко задумался.

Затем он встал и, заложив руки за спину, стал в задумчивости ходить из угла в угол; робко заглянул Василич — он не понимал и как бы боялся таких «состояний» Лунина:

— Михаил Сергеич, там Митька с Ванькой, примете, нет?

Василич *de facto* был хозяином дома, но давно уже обращался с Луниным, как солдат с офицером, или, если угодно, как мужик с «хорошим барином»; Лунин был покладист, снисходителен, работать любил, на охоте был первый среди медвежатников, в ружьях, пистолетах, коврах, в порохе, дробь, пулях, саблях понимал хорошо, деньги выкладывал, не глядя, и не требовал ни сдачи, ни отдачи долга (сестра аккуратно заботилась об этой возможности, но и она, и Василич знали, что, не будь денег вовсе, Михаил Сергеевич, в нынешнем его настроении, почти и не заметил бы этого), — чего же еще нужно было Василичу, этому тертому-перетертому мужику, побывавшему и в вольных, и в крепостных, и в русских, и в сибирских, и с домом, и в чистом поле под ракитой, и с пашней, и совершенно без земли? Ныне он обрел некоторую прочность, обзавелся этой большой избой, семейством; к Лунину при начале он, разумеется, подошел настороженно, но после они подружились — у них образовались те ровные отношения, когда каждый знает свое место и не ждет от другого большего или меньшего, чем тот есть; к тому же равнодушная нетребовательность Лунина, его аристократическое презрение как к удобствам, так и к неудобствам жизни избавляли Василича от многих хлопот.

Хозяйство свое, на которое якобы должен был содержать себя, Лунин вел небрежно, хотя физически и работал

с охотой; но он не разбирался в ценах на хлеб, на капусту и репу, не помнил счета, по рассеянности пропускал невозвратные дни жатвы или, наоборот, сева, с подрядчиками не спорил и с первых слов с гримасой на лице совал им эти рубли серебром и ассигнациями; они знали это и пользовались; Василич не раз пенил:

— Зачем даете обманывать? не денег жалко, а правды.

— Полно, Василич; если бы я был у себя в Тамбовской губернии, да крестьяне были свободны, зажиточны, да поля в порядке, я бы знал, как хозяйствовать; а здесь...

Он равнодушно махал рукой.

— Да вы будто и рады, что вы здесь, а не в Тамбовской губернии, — «ворчал» Василич. — Что вам не надо заботиться.

— Ты отчасти прав, — улыбался Лунин, представляя милую, молодую матушку, как сквозь сон видимые желтые, зеленые поля и холмы, перелески и лозняки у речки, бледное небо в округлых дымчатых облаках, дубы, и ветлы, и клены, и липы, и эту серую черноземную пыль, и ветхие хаты, и отчий дом — большой, весь в балкончиках, петухах и крылечках, — и себя, мальчика, и серебряный, молодой голос матушки:

— Миша... Мишенька.

Он уплывал взором в то время, когда и в «Тамбовской губернии» ему еще ни о чем не надо было заботиться: отчего бы это?

Отчего он в последнее время все вспоминал свое простое и раннее детство?

Аббат Вовилье, зима, Москва, Петербург — все это было как будто тогда же, но все-таки как бы позже; а помнится — лето, река, простая пыль, тишина, деревья и тихий дом.

Он уходил взором — и Василич умолкал, понимая его и лишь поваркивая в бороду; и сейчас он, застав Михаила Сергеевича в задумчивости, конфузливо попятился, не-

сколько прикрыл дверь и незаметно треснул по белой макушке своего малолетнего сына, сунувшегося было к Лунину — поглядеть на диковинные блестящие ружья на стене, запрещенные для Лунина, но все равно висящие открыто, на стопки бумаг, чубук, на сверкающий алыми, золотыми нитями табачный мешок, на черную дверь, ведущую в «католическую молельню».

— Не надобно, Василич; скажи им, после обсудим. А хотят, пусть сами посмотрят собак; они разбираются.

— Да без вас, Михаил Сергеевич...

— Как хотите, Василич.

Тот тотчас же, кивнув, прикрыл дверь.

Лунин еще ходил некоторое время из угла в угол, прогибая сапогами половицы; затем он снова сел к столу, подумал минуту и потянул к себе с дальнего края бумаги, приготовленные еще утром.



Он, конечно, с утра не собирался просматривать все свои бумаги, а достал их из потайного места на всякий случай, как он и делал иногда, собираясь писать: чтобы в ответственный миг не метаться по комнате в поисках неожиданно понадобившейся справки.

Но разговор с Волконским затронул его; и он стал листать многое из написанного им в эти годы.

То были листы, заметы с его характерным крестом перед началом фразы и первые варианты целостных сочинений, наброски и неожиданные излияния вспыхнувших впечатлений прошлого, черновые страницы этих самых «пресловутых» писем, уже посланных сестре, перлюстрированных почтовым ведомством, Третьим отделением и даже самим царем (не стеснявшимся обнаруживать свою осведомленность в частной переписке) и скопированных для себя Громницким, Ивановым и иными; были различные

главы статей, не виденных еще нигде и никем, но предназначенных для заграничной печати; везде его ровный, писарский почерк.

Лунин ворошил дорогие листы — единственные свидетельства его реальной душевной жизни всех этих лет; не все в них было точно и полно, но по тем или иным кратким мыслям, обмолвкам он оживлял, восстанавливал сердцем действительную картину; многие из этих строк ничего не дали бы постороннему, кроме доказательств ума и несколько чрезмерной строгости «этого господина» — Михаила Сергеевича Лунина; но для него-то самого за каждой даже отвлеченной мыслью стояли живые обстоятельства того, как она была записана, чувства, полнившие душу, и образы, занимавшие воображение в эти минуты; действия его самого и всех окружающих немедленно до и после записи или, наоборот, самые сцены прошлого, возбуждившие запись.

Прежде всего он обратился, конечно, к своей записной книжке — тетради в красном переплете — и начал читать ее с самого начала.

Мучения и думы этих последних лет тотчас засуетились, заспорили меж собой с ее ровных страниц, пестрящих этими крестами, отступами:

«Я любил справедливость и ненавидел несправедливость и потому нахожусь в изгнании»: по-латински. По-русски: «Сестре моей К. Уваровой. В России два проводника: язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга». Гордость, гордость, — они говорят. Похвала себе. «К» лучше б исправить на «Е». — Екатерина, но пусть. Впрочем, титул есть титул; далее: «Рыцарство имело меньшее влияние на просвещение человечества, чем то, которое ему часто приписывали. Правда, оно придало храбрости некоторые внешние украшения; установило правила вежливости; запечатлело в сердцах начала чести, часто ошибочные; но бурные мстительные страсти были в действительности свободны от его надзора, и даже самые совершенные рыцари часто вы-

казывали такую склонность к жестокости (на полях заметка для себя — «в 1325 году»), что ни в чем не уступали своим предкам шестого века»... «Недостаточно оценены блага, полученные человечеством благодаря миролюбивому влиянию римских первосвященников...» Он знает, откуда эта борьба с рыцарством глубоким ноябрем 1836 года, которым помечена запись: Сибирь, черная мгла за окном — мороз, а снега нет; и эта борьба со своими воспоминаниями, своей силой, смиримой с помощью веры, святой веры; во образе рыцарства он хотел отвергнуть себя — молодого, прежнего; он призывал чистый дух, который заменил бы бездну и ярость действия, красоты и желания; далее: «Их усилия стали казаться осуществимыми и вызвали самые бурные страсти приверженцев неограниченного правления. Движение было чисто нравственным и духовным, но они почувствовали необходимость задуть его в зародыше. Неотъемлемые права человека»... «26/14 декабря — только досадное столкновение». Здесь о тайных обществах: мечта считать их движением «чисто нравственным». Это его тогдашнее «настроение». Вот, вот. «Смерть истребляет корень греха, который всегда живет в нас, хотя не всегда обнаруживается. Поэтому она необходима и желательна... Человек, вступая в лоно Церкви, приносится в жертву и освящается. Жертвоприношение продолжается во всю жизнь его и кончается смертью. Действуя на одно тело, смерть не пресекает сношений между душами... Посредницею этих таинственных сношений есть Церковь... Смерть есть сильнейшее свидетельство о любви. Смерть также сильнейшее свидетельство о истине... В книге Иова разительное свидетельство о бессмертии души...»

О, как он понимает, как помнит этот тридцать шестой год — глубокую осень; мысль о мгновенной смерти всегда, более тайно или более явно, присутствовала во всей его жизни, действиях, но тут — в черноте, и не на краю, а далеко, бездонно далеко, за краем света, в Урике, в голой

избе с тишиной за слепым окном — эта мысль вдруг пришла как главная; все годы он сознавал, но не мог сознать до конца своего урока, своей потери — и вдруг увидел воочию, вдруг понял ее; и эта мысль о невозвратимой потере легко, очевидно соединилась со всегдашней его напряженной, его тайной или явной, мыслью о смерти и о вечной энергии, наполняющей мир, — и вдруг стала всепоглощающей; он думал, — так и не понимал, зачем пришел в этот «свет» — зачем пришел то ли ранее, то ли позднее (недаром борьба с рыцарством, с Дон-Кихотом!) того, чем надобно; и единственное, любовь и блаженство, которые все-таки могли вещественно оправдать приход, — они тоже были потеряны, теперь навсегда в этом мире; и вот — вот.

Есть опровержение мечты о смерти здесь — через две, через три страницы; но самое опровержение скорбно: в нем нет светлой радости — в нем есть лишь обаяние той минуты, когда усталое тело дает духовному человеку некое тяжелое, литое успокоение в виде особого неведения, связанного с этой общей, мягко пришедшей на миг усталостью всего твоего существа. Но есть там и иное; да где это?

«25. *Рождество*. Тело мое испытывает в Сибири холод и лишения, но мой дух, свободный от жалких уз, странствует по равнинам вифлеемским, бдит вместе с пастухами и вместе с волхвами вопрошает звезды. Всюду я нахожу Истину и всюду счастье». Тут есть самодовольство; пусть. Там, за ним, — истина. Какая?

Он на миг снова задумался...

Впрочем, недаром же он был весел и все те дни и никто не заметил...

Тут же — приписка более поздняя: крест и — «NB. Понять условия нашего времени. Надо выйти из круга старых представлений, стряхнуть старые привычки, приспособить к новому политическому строю новые основы военной организации...»

Прочитав приписку — сделанную несколько иными и более свежими чернилами — и невольно сопоставив ее с более старой записью о Рождестве, Лунин вдруг почувствовал в голове, в сердце мысль, которую не мог бы еще высказать вслух; мысль была забавна, он с интересом стал листать дальше.

В тридцать седьмом году почти сплошь шли записи следующего рода: «NB. Политическое состояние мира — это распределение, сделанное умом человеческим, чтобы установить права и определить поведение себе подобных». Подкрепления из Плиния-младшего и других. Отступление — как бы вновь раздумие: «Философия всех времен и всех школ служит единственно к обозначению пределов, от которых и до которых человеческий ум может сам собою идти. Прозорливый вскоре усматривает эти пределы и обращается к изучению беспредельного Писания. Но она опасна для обыкновенных умов своим пустословием...» Лунин улыбнулся, вспомня Фому и Канта. Мысль верная, но недостаточная... Снова «то»: «Политические идеи в постепенном развитии своем имеют три вида. Сперва являются как отвлечение, и гнездятся в некоторых головах и в книгах; потом становятся народною мыслью, и переливаются в разговорах; наконец, делаются народным чувством, требуют непременно удовлетворения и, встречая сопротивление, разрешаются революциями. В России идея гражданской свободы — отвлечение: идеи национальной независимости, нераздельности, распространения чувства... «Через несколько лет те мысли, за которые приговорили меня к политической смерти, будут необходимым условием гражданской жизни. Одни сочинения сообщают мысли, другие заставляют мыслить. (Он с интересом перевернул страницу.) Мысли проявляются мне на французском и русском языках, религиозные иногда на латинском. Скорбное свидетельство падения, что даже внутренние мысли души требуют материальной формы.— Далее по-ла-

тински из Послания Павла: Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога Иисусом Христом Господом нашим (к Римлянам, VII. 24)».

Лунин в некотором умилении усмехнулся над этой записью: столь ребячески обнаженно проявлялось в ней стремление соединить в своей жизни некую... действительность и напряжение жизни внутренней. О, Сен-Симон и твоя мысль о социально-индустриальном переустройстве и при этом братстве христианском! О, грозный Сухинов, избравший простую и голую действительность!

Лунин еще с улыбкой опустил взор к странице — и слегка отстранился, неприятно пораженный своей неподготовленностью к следующей записи:

«Католическая религия воплощается, так сказать, видимо в женщинах. Она дополняет прелесть их природы, возмещает их недостатки, украшает безобразных и красивых, как роса украшает все цветы. Католичку можно с первого взгляда узнать среди тысячи женщин по осанке, по разговору, по взгляду. Есть нечто сладостное, спокойное и светлое во всей ее личности, что свидетельствует о присутствии Истины. Последуйте за ней в готический храм, где она будет молиться; коленопреклоненная перед алтарем, погруженная в полумрак, поглощенная потоком гармонии, она являет собою тех посланцев Неба, которые спускались на землю, чтобы открыть человеку его высокое призвание. Лишь среди католичек Рафаэль мог найти тип Мадонны.

Посмотрите на секты в их храмах: притворство, раболепство, грубое и неловкое принуждение; не говорю уже о тех религиозных собраниях, где танцуют, трясутся, пророчествуют и т. д.».

Лунин отвернулся неловко; он знал, *кого* из «католичек» имел в виду.

Он невольно распространял на всех.

Не в том ли частичная причина его нынешнего «яро-

ного» католицизма, известного среди всех друзей и знакомых, проявленного и в записях? Ведь Лунин, конечно, спокойно знал, что такой человек, как он, не может жить «одним лишь католицизмом».

Но невыразимые благоую скорбь и успокоение давал ему лик нежной Мадонны вместо положенного во православии иного лица — там, за черной дверью.

Княгиня Наталья Сангушко, урожденная Потоцкая, жена своего кузена князя Сангушко, отбыла в иной мир... числа... года... *того*, того года.

Он знал по слухам, но не был уверен; он писал и еще пишет сестре — *так* ли; но, не уверенный по форме, он был уверен сердцем.

Он помнил те дни в своей жизни: Фома... Петровский завод и эта особенная тоска при веселости — тоска неизвестно откуда.

Образ.

Быть может, она *звала* его в час ухода.

Он нервно перелистал черновики писем к сестре; боль так боль; следует снова испытать сполна, чтобы... *вот* оно, второе письмо, «П р о щ а н и е»: «№ 38. Сибирь. 1 мая 1837.

Дорогая сестра! После долгого заточения в казематах память производит лишь неясные и бесцветные образы, подобно планетам, отражающим лучи солнца, но не передающим его теплоты. Однако у меня сохранились сокровища в прошедшем. Помню наше последнее свидание в галерее N-ского замка. Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду. На *ней* черное тафтяное платье, золотая цепь на шее, а на руке браслет, осыпанный изумрудами, с портретом предка — освободителя Вены. Ее девственный взор, блуждая вокруг, как будто следил за причудливыми изгибами серебряной тесьмы моего гусарского долмана. Мы шли вдоль галереи молча; нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть проглядывала сквозь двойной

блеск юности и красоты, как единственный признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы завидели Вислу: ее желтые волны были покрыты пенистыми пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в парке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе без видимой причины резко отличалось от глубокой тишины вокруг нас. Вдруг удар колокола потряс окна, возвещая вечерню. Она прочла Ave Maria, протянула мне руку и скрылась.

С этой минуты счастье в здешнем мире исчезло также. Моя жизнь, потрясенная политическими бурями, обратилась в непрерывную борьбу с людьми и обстоятельствами. Но прощальная молитва была услышана. Душевный мир, которого никто не может отнять, последовал за мной на эшафот, в темницу и ссылку. Я не жалею ни об одной из своих потерь. Правнука воина является мне иногда в сновидениях, и чувство, которое бы ей принадлежало исключительно, растет и очищается, распространяясь на моих врагов. Твой любящий брат...»

* *
*

...Прошло не более минуты.

Лунин очнулся и — покачал головой на «распространяясь ...врагов», хотя знал, что «в теории» и сейчас не отверг бы этого; мельком взглянул на следующее за этими листками третье письмо к сестре, посвященное Волконской, — и, на мгновение как бы судорожно переведя дух, вернулся к записной книжке.

«...К этому надо присовокупить мнение латинских отцов церкви, Св. Августина, папы Льва, папы Григория В., которых авторитет равномерно признается отпадшими Греками.

Раскол Греков есть дело политическое, а не религиозное; как мы увидим из изложения исторических фактов.

Вопросы религиозные служили только предлогом. Настоящею целью было присвоение власти.

В истории Реформации то же явление...

«9 апреля...» Это тоже тридцать седьмой. Это о пении Волконской; о, музыка. «Я слышал пение впервые после десятилетнего заключения. — Не впервые; но... — Музыка была мне знакома; но в ней была для меня прелесть новизны благодаря контральтовому голосу, а может быть благодаря той, которая пела. Ария Россини произвела впечатление, которого я не ожидал. Музыка опаснее слов неопределенностью своего выражения. Она приспосабливается ко всему, не выражает ничего положительного и украшает все то, что выражает. Это язык окружающего нас невидимого мира, часто это язык тех воздушных сил, с которыми нам приходится бороться. Блаженный Августин находит, что приятные впечатления от музыки — тягостны. «Когда случается, — говорит он, — что я более тронут самым пением, чем словами, которые оно сопровождает, я признаю, что согрешил, и тогда я предпочел бы не слышать пения (Исповедь, книга 8)». Если есть зло в пении, сопровождающем псалмы царя-пророка, то что же сказать о музыке, выражающей разнужданные людские страсти?

Однако смятение, вызванное слышанным пением, все еще продолжалось. Несмотря на усилия мысли вознестись в свойственную ей эфирную высь, она блуждала по земле. Воображение воспроизводило всевозможные видения: старинный замок с зубчатыми башенками, молодую владелицу замка с лазоревым взглядом, ее белое покрывало, развевающееся в воздухе, как условный знак, голоса серенады и лязг оружия, нарушивший гармонию. Безумные, преступные мечты моей юности!..»

Новое наплывает на старое; и вновь — старое.

«...Католические страны имеют живописный вид и поэтический оттенок, которых тщетно искать в странах, где владычествует Реформация. Эта разница дает знать о себе

рядом смутных впечатлений, не поддающихся определению, но в конце концов покоряющих сердце. То видимый путнику на горизонте полуразрушенный монастырь, чей дальний колокол возвещает ему гостеприимный кров, то воздвигнутый на холме крест или Богоматерь среди леса, — указуют ему путь.

Лишь около этих памятников истинной веры слышится романс, каватина или тирольская песня. Для бедной Польши воскресенье — семейный праздник, для богатой Англии — это день печали и принужденности...

«...Отврати взор мой от совершенства в творениях Твоих, чтобы душе моей не было препятствия в стремлении к тебе. Есть прелести в творениях Твоих, которых я, в своем падении, не могу без смятения видеть; дьявол всегда тут как тут, чтобы использовать это мгновение. (По-латински:) Рыщет точно лев рыкающий...»

Такова мысль в праздник Пасхи: 18 апреля 1837.

Вот июнь: «Литература претерпела во Франции нечто вроде Революции, которой придают слишком большое значение. Перемена — условие, свойственное заблуждению. Против новой школы, называемой романтической, гремят так же неосновательно, как и восхваляют старую, классическую. Обе одинаково вредны, поскольку они выявляют ложь». Лунин усмехнулся, узнавая свою привычную нелюбовь ко всем плоским решениям — нелюбовь, порою приводящую его к плоским же решениям.

«...Вера превышает наш разум; но причины, побуждающие веровать, находятся в его компетенции и должны быть ему ясны: для разумного служения вашего...»

Протестантизм — религия умов ограниченных...

Стало, «ум ограниченный» для тебя — все-таки ругательство?

«Изучение мертвых языков, особенно греческого и латинского, — ключ к высшему знанию. Первый служил проявлению человеческой и божественной мысли; второй был

орудием соединенной материальной и умственной силы...»

Лунин и тут оторвался; подумал над *похвалой* латинскому языку: «соединенной материальной и умственной силы...»

«...Помощь перевода недостаточна. Он передает только мысль; никогда... чувство во всей его свежести и полноте. Чувство исходит из самого слова, как благоухание из цветка. Даже лучшие переводы напоминают химические приемы, посредством которых готовится искусственный запах розы...»

В «упоение» чистого знания опять вторгается горечь знания прикладного, действенного:

«Утверждают, что протестантство благоприятно политической свободе. Исторические факты доказывают противное:

Оно проникает через вершины политического устройства: князья, дворяне, чиновничество и т. д.

Оно не имело успеха в странах республиканских: Польша, Генуя, Венеция, Феррара. В Швейцарии оно преуспевает только в аристократических кантонах; кантоны демократические — Швиц, Ури и Унтервальден — его отвергают... Пруссия, Саксония, Дания — колыбель протестантизма — самодержавные монархии... Из заблуждения не может произойти ничего доброго — даже косвенно...»

Политическая свобода как факт в защиту или против той или иной системы веры?

Как же о *чистом* духе?

Конец 1837-го: «14 октября. Не будем смешивать смирение с уничижением. До первого возвышаются, до второго падают».

* * *

*

Он снова подумал и уж затем дочитал.

Речь шла о том, что степень познания определяется так же легко, как и сравнительная высота роста; что «славяне,

призывая авантюриста Рюрика и его шайку, имели в виду защиту своих границ от воинственных соседей и кочующих орд, бродивших в то время по Европе... Многие народы, слабые в начале своего существования, прибегали к этому средству, которое всегда имело роковые последствия для свободы страны... правительства подали первый пример большинства тех поступков, за которые они впоследствии признали своих подданных заслуживающими смертной казни: можно установить, в какой школе чернь воспринимает теорию своих преступлений».

Он понимал, что на этих афоризмах, силлогизмах далеко не уйти — здесь не французский салон в каком-нибудь уютном 1760 году — и все-таки читал с удовольствием.

Читал не как последнюю непререкаемую истину, а как свидетельство своего душевного состояния тех и этих дней — состояния, за которым не только силлогизм, но и чувство и опыт.

* *
*

Вот, далее:

«Топор палача превращает осужденного в свидетели за или против его судей перед судом потомства».

«Обычай заставлять людей обвинять самих себя — варварский и несправедливый. В подобных случаях позволено пользоваться двусмысленностями, а в случае необходимости подтвердить их присягой...»

Но трудно благородному быть «двусмысленным» даже перед лакеем...

«Как человек, я только бедный ссыльный; как личность политическая — представитель известного строя, которого легче изгнать, чем опровергнуть».

Бич сарказма так же сечет, как и топор палача».

О гордость! но некая свежесть духа есть в этих записях одинокого в Урике; браво, Луний.

Мысль, возникшая прежде, все нарастала.

«...Предметы для обсуждения: а) в пользу ссыльных поляков, в) в защиту писем, с) Освобождение крестьян, d) гласность, е) ход управления после 1826 года, f) Эклектизм политический, g) Сибирские письма; устройство тайного общества, h) греческая история: Фемистокл и другие изгнанники».

* *
*

Конец близко.

Совершенно недавнее:

«1840. 25 мая, утро. Варка исчезла. Ее ищут тщетно. Революция. Да будет благословен Господь. Она отыскалась».

«...Идея о верховной власти народа — пустая мечта в ряду других химер».

О, память лета в Сергиевском и в иных весях.

«Выдающиеся люди эпохи находятся в глубокой ссылке, в Сибири; посредственности во главе управления.

Ослаблять действие просветительных элементов действием ретроградных порядков — их единственная забота.

Люди погрешают против правительства, потому что само оно погрешает против принципов...

Основы общественного порядка, безопасности и мира заключаются в народе, а не в правительстве...»

О своих товарищах — сибирских изгнанниках: они могут быть выше или ниже общества. «Чтобы быть выше, они должны делать общее дело, и полнейшее согласие должно господствовать между ними по крайней мере наравно».

Это сильные и славные личности.

Не следует смешивать с честолюбием, желаниями, восторгами, поэтическими движениями (примечание: «Порывами благородными, но мгновенными»), возникающими на поверхности общества, и т. д.

Они рассматривали вещи в их целом и, отмечая подробности, избегая частных случаев, оставляя ограниченный круг мелочей, они приступили к вопросам органическим, составляющим основу общественного порядка.

Они выводили каждый важный факт из общей идеи.

Отсюда неизменность принципов: свидетельство истины и ручательство за успех.

Они скрепили своею кровью дело свободы.

Общество в России являет однообразное зрелище мелких личностей, мелочных интриг и ничтожных результатов.

Надо различать две вещи — установления и обычаи. Обычаи были сами по себе. Вообще не было или было мало гражданских и политических признаков.

Сущность предпринятого ими дела избавляет нас от стеснений, которых на первый взгляд требует их положение в изгнании. Между ними и толпой — пропасть, в которой теряются угодливое замалчивание и обычные суждения. Можно говорить о заблуждениях и ошибках этих апостолов свободы, как Писание говорит о дани, принесенной человечеству апостолами веры».

«...NB. *Предание*. Итак, братия, стойте и держите *предания* (Фесс. 2.2.14).

Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей (II Кор. 7.4)»...

Церковь учит, что соборная гордость иногда паче личной; но Лунин — читая о друзьях — заражался чувством тех дней, когда писал; и снова он ощущал всем существом, что молча говорит здесь не от лица общей гордости, а от лица чего-то высшего — что, как бы притворяясь гордостью, в то же время выше гордости и всего.

* *

*

Лунин хотел записать на второй половине последнего «живого» листа этой тетрадки, собственноручно разлинованной им по трафарету, переплетенной и оклеенной плотной красной бумагой для прочности, что он просмотрел ее запово сего 1840 года; но не стал делать этого; хотя многое в этой тетради, записной книжке, он ныне воспринимал как пройденное и старое и — порою — наивное, тщеславное, — он был неуловимо доволен собой.

Он обратился к иным бумагам:

«1839. Августа 17. Иркутск.

Письма из Сибири, по своему политическому содержанию, обратили на себя внимание Правительства. Генерал-губернатор передал мне повеление не писать в течение года. Запрещение излагать свои мнения свидетельствует о важности их и о той робости, которую вообще люди ощущают при первом взгляде на истину, пока не узнают и не полюбят ее...

Предприятие мое не бесполезно в эпоху прехождения... Заключенный в казематах, десять лет не переставал я размышлять о выгодах родины. Думы мои всегда клонились к пользам тех, которые не познали моих намерений. В ссылке, как скоро переменились обстоятельства («Как пышно можно обозначить обыкновенное разрешение писать своей рукой: одна из привилегий поселения сравнительно с каторгой!» — подумал теперь Лунин), я опять начал действия наступательные. Многие из писем моих, переданных через императорскую канцелярию, уже читаются.

Последним желанием Фемистокла в изгнании было...» Самоуверенно и частию тщеславно; но — так.

«Поляки.

17

Ссылка. № 4 ¹⁷/₅ ноября 1839.

С некоторой поры Сибирь наводнена новыми изгнанниками. Им приписывают характер политический; но в самом деле — они жертвы нерассудительной ревности или легковерия, свойственного неведению. Говорили о Поляках, сосланных после революции 1830 г. (Кстати, черновик статьи «Взгляд на польские дела». Там подробно о самом восстании, о его ошибках моральных и материальных, о неправоте и правоте русских; где он? кажется, вот; но далее.) Их несколько тысяч (около 20 т.). Одни на каторжной работе, другие на поселении, третьи размещены по гарнизонам. Как побежденные, они имеют право на великодушные Русских...

* * *

*

Лунин опять отвлекся от бумаги; ему теперь уже совершенно ясна была мысль, которая смутно пришла в голову там, вначале, при чтении записей тридцать пятого, тридцать шестого годов.

В минуты спокойствия, усталости или отчаяния нам иногда кажется, что чистая духовная жизнь предпочтительней жизни действия и вообще жизни.

Лунин видел по своим записям, что в некий момент «радость» внутренней сосредоточенности должна была заменить ему все. Заменяла ли? По записям год от года было заметно, как вновь, вопреки всему, нарастает в нем чувство единства жизни. Хорошо это? Бессмысленный, вечный вопрос. Гармония и спокойствие, мировой разум и ясный свет — или стихия, буря, порыв, напор, красный огонь, колеблемый вихрем. Что более главное в человеческой жизни?

Было лишь очевидно, что земное его существо, одержимое беспокойным и полным духом, не удержалось в ясно-алмазной сфере чистого созерцания. Недаром он с интересом наблюдал изменение в направлении своих записей от середины тридцатых к нынешнему году. Это изменение не

зависело от его воли и лишь теперь оно видимо, оставленное в мгновенных заметах на бумаге; значит, оно естественно, а стремление к созерцательной радости было лишь моментом пути, самопонуждением.

По-разному можно назвать такое движение. Может быть, в нем проснулось исконное честолюбие? Может быть, сочиняя статьи, письма к сестре, он вновь лелеял тайную мысль оставить свой след на этой земле? И, таким образом, в нем проснулось живое земное. Может быть, он и верно хотел пострадать — пострадать еще более, до последнего предела, до исчерпания своих сил? Это, кажется, несколько лучший вариант для духовного самочувствия. Страдание, крест, жизнь Христова. Но есть ли смирение в этом страдании, в этом желании пройти до конца? Не смирение ли это, которое паче гордости?

Он воистину много думал о проблеме смирения, гордости; запись о разнице смирения и самоуничужения — один из слабых следов на песке от этих мучительных дум.

И, как и во многом, он не пришел к последней идее в этом.

Но, как бы ни было, он ныне видел воочию по своим записям год от года, как дух деятельный вновь берет в нем верх над духом созерцательным, духом радостного покоя; как вновь обращается в очевидность та истина, что состояние нравственное становится реальным лишь в «мире ясном», а не само по себе; как в жизни его само страдание материальное делается отражением стихии, борьбы и пути, а не тихого бденья, молчания.

В то время, под влиянием всех несчастий и главного несчастья (ЕЕ Смерти), он, оставаясь бодрым, утешая Ивашева и помня Сухинова, тайно обратился к сфере чистого духа — морали и мысли; но можно было наблюдать, как в жизни духа он старается помирить мысль и чувство, стремление и начала совести — овладеть единством; как бетховенское *«гремят барабаны»* вновь царит в его сердце;

как он одолевает и тут же помнит, помнит Сухинова и иных, в своем запале не умевших помирить дух и поступок то с той, то с этой их стороны; как он находит в душе своей те простые порыв и волю, которые наиболее трудны.

«...На великодушные Русских; как несчастные — на страдание всех людей... Между ими есть дети, осужденные прежде совершеннолетия, дряхлые старики, обратившиеся в детство, духовные, едва читающие свой молитвенник. Спросите всех и каждого, какая была у них цель? Никто не сумеет ответить вам.

По законам справедливости и рассудка...»

«Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года.

Тайное общество принадлежит истории...

...Т. О. было глашатаем выгод народных, требуя: чтобы существующие законы, неизвестные даже в судилищах, где вершились по оным приговоры, были собраны, возобновлены на основаниях здравого рассудка и обнародованы; чтобы гласность заменяла обычную тайну в делах государственных, которая затрудняет движение их и укрывает от правительства и общественников злоупотребление властей; чтобы суд и расправа производились без проволочки, известно, всенародно и без издержки; управление подчинялось бы не своепроизволу лиц, а правилам неизменным; чтобы дарования без различия сословий призывались содействовать общему благу; а назначение чиновников утверждалось бы по указанию общественному для отдаления лихоимцев и невежд; чтобы назначение поборов и употребление сумм общественных были всем известны; доходы с винных откупов, основанные на развращении и разорении низших сословий, были заменены другим налогом; участь защитников отечества была обеспечена, число войск уменьшено, срок службы военной сокращен и плата солдату соразмерно нуждам его умножена; чтобы военные поселения, коих цель несбыточна, учреждение незаконно, были уничтожены к предотвращению ужасов, там совершенных, и

пролитой крови; чтобы торговля и промышленность были избавлены от учреждений самопроизвольных и обветшалых подразделений, затрудняющих их действия...

Зрелость гражданственности ускорила новые стихии, которые Т. О. излило в область мысли. Оно рассеяло едва ли не общий предрассудок о невозможности другого, кроме существующего, порядка и убедило народ, что...

«Разбор донесения, представленного российскому императору Тайной Комиссией в 1826 году...» Никита, благодарствую за твои бумаги; ты, как всегда, был в них умен и добросовестен; что же?..

Вновь, вновь письма из Сибири — письма к сестре:

«Рабь.

3 ноября

1839 г.

Ссылка. № 3. 22 октября

Любезная сестра. Рабство пришло к нам не прямым путем, но случайно, во времена недавние, когда уже все просвещенные народы признавали оное несообразным с законами Божественными и Человеческими. Около половины 17-го века Правительство, желая исцелить язвы, причиненные смутами, почти десять лет волновавшими Россию, вздумало произвести всеобщую перепись жителям и поземельным владениям (писцовые книги). К облегчению этого двоякого действия возобновили указ, забытый во время Народных смутений, препятствовавший свободному переходу крепостных из одного места в другое...

Вероятно увлекаясь временными выгодами, не предусмотрели окончательных последствий возобновленного указа...

Ошибки не проходят даром в политике. От повреждения одного корня в общественном дереве увядает вся растительность, как от одной неверной ноты разрушается стройность аккорда. Рабство выражается в наших нравах, обычаях и учреждениях. Впечатленные примером безмолвного повиновения, мы утратили нравственную силу, отли-

чающую человека и составляющую гражданина. Мы не страшимся смерти на поле битвы, но не смеем сказать слова в Государственном Совете за справедливость и человечество... Бесплодность нашей словесности происходит от тех же причин. Наши книги, наполняемые бессмыслицей или нелеными баснями, не производят никаких последствий. Напечатанное поутру забыто вечером. Свод Законов заключает в себе таблицу, где обозначена цена людей по возрасту и полу; где однолетнее дитя оценено дешевле теленка (Свод Законов о правах состояний т. IX). Наши Судилища, в которых совершают купчие и закладные, подобны базарам, где торгуют человеческим мясом.

С тех пор, как введен этот порядок, никто не восстал, чтоб остановить его успехи или указать на его неизбежные последствия. Тайный Союз первый прервал молчание. Он отстаивал порабощенных соотечественников...»

* *

*

«А что, Сухинов, — с ухмылкой подумал Лунин, — можно и без напрасной крови *«делать»*?

Впрочем, где этот план в тетради.

Выписать бы отдельно: проверить...»

За окном разыгрывался ветер глубокой осени; Лунин по мере чтения засветил свечу. Дети, Василич давно спали; почти всякий, сидевший в поздний вечер в этой сибирской избе, непременно с недобрым чувством смотрел бы на маленькое окно — глазок в самую черную бездну; Лунин не смотрел — он «шевелил» бумаги, а сейчас вот было принялся переписывать на отдельный лист ту заметку из «тетрадки»; но в комнате было холодно, Василич то ли поленился, то ли побоялся прийти протопить печь на ночь; Лунин — высокий, сидящий, в пышных усах, с белым воротником на куртке — в рассеянности встал, прошел к лежанке, взял тулуп шерстью вверх, задумчиво-грациозно

накинул на плечи, вернулся, сел при свече; обмакнул перо, зажатое в сизо-порозовевшей руке, подул на нее, вновь на миг задумался; стал писать.

Лежала за окном идущая к зиме, чернеющая Сибирь; чуть выли близкие волки; им отвечала унылая собака Василича или, может быть, легавая из охотничьей псарни; казалось, было слышно, как шуршит сено в *зароде*, как вспархивают сонные куры на дальнем насесте, как жует телок, как трещит тихий лед, как твердеет земля, как велико морозное и пустое пространство; холод в комнате создавал неуют, особую сиротливость; сразу стали видны чрезмерная скромность жилья, — лишь эти книги, эти роскошные кинжалы, блестящие ружья там, на стене! — и та неуловимая, особенная как бы пыль, которая неизбежна в избе; там крохи древесного угля на железной полуоборванной обивке пола у печки, там весь затянутый паутиной кувшин, там давно струганная, но так и не крашенная лавка, тут накрытый вязаной сеткой стол лишь с одним лишним грубым табуретом; заметны бревна и войлок в стенах; закопченные потолки, неизбывный шорох на чердаке, комки шерсти, неопрятный пол, это черное, задумчивое окно в чужую, угрюмую бесконечность, тусклые православные образа, черная дверь туда, к католическим образам, этот холод, пыль, бледный свет, запах овчины и старого хлеба — и рассеянный человек в накинутах истертом, косматом «сугреве» и в белом воротнике из-под шерсти — человек, время от времени дышащий на свои давно уже полустарческие руки и затем, в полном одиночестве, выводящий по белому листу под светом свои писарские, свои ровные буквы:

«...Предметы для обсуждения: а) в пользу ссыльных поляков (крест), в) в защиту писем (крест), с) Освобождение крестьян (крест), d) гласность, e) ход управления после 1826 года (крест), f) Эклезиаст политический, g) Сибирские письма; устройство тайного общества, h) греческая история...»

Лунин вставал ни рано, ни поздно; затеплив свечу, обыкновенно сидел перед нею некоторое время, глядя на огонь и сложив перед собою руки с легко сцепленными пальцами.

Затем, накинув куртку и овчину, шел в поленницу и, чувствуя на крепкой коже руки охлажденное ночью, немного увлажняющееся на теплом покатою дереву рукояти, помахивал длинным топором, разминая ладони; выбирал пень для начала поглаже, движением плеча сбрасывал овчину, подхватывал дровину под мышку и выходил на мороз; через минуту он, в клубах пара, рубил, производя в серо-синем утреннем воздухе задушенные звуки ударов холодной стали о мерзлое дерево.

Далее он шел домой, Василич спешил к нему с чугуном дымных щей, из которого Лунин круто изогнутой поварешкой, которую сам же и смастерил, наливал себе в миску довольно много, цеплял длинным узким ножом кусок мяса и отпуская Василича; ел, глядя в угол.

Затем, если не уходил на охоту, то читал и писал; затем принимал разных людей — псарей, писарей, старосту, учителя, ксендза Гатицкого; затем шел к Волконским, либо к менее знакомому Львову, либо к кому-либо из крестьян, с кем мог поговорить на отвлеченные темы; несмотря на приближающуюся весну, быстро серел, тускнел, синел иркутский — урикский день, вечер.

Лунин вновь зажигал свечу, садился, читал, смотрел; сзади трещала разложенная Василичем печь либо, остывая, еле плыл ее жар и теплился камень; Лунин сидел, вставал, ходил, руки назад; уходил в чернеющую дверь «молебни», быстро выходил; являясь на крыльце, смотрел на синий снег, черные деревья, на расплывающиеся в потемках пятна домов, сравнительно удаленных друг от друга; на темное небо, на шест, на забор.

Возвращался к себе, снимал со стены ружье, смотрел, нюхал ствол — не надобно ли повторной чистки; вешал, брал трубку, медленно набивал, садился к свече; не зажегши трубки, сидел минуту, вторую; вставал, ходил.

Никто на версту, на пять, на пятьсот, на тысячу и на миллион в округе не знал как подобает, какие образы, замыслы витают в его голове.

И он ходил, сидел с таким видом, что так оно и следует, что не знают.

* *
*

Услышав разухабистый стук в ворота — так может лишь начальство, — Лунин не сразу проснулся, и первой мыслью было: «Идите к черту».

Затем он сел на кровати, слушая стук и сорвавшийся лай собак, и посмотрел на свои большие карманные часы, лежавшие у изголовья; разобрать было трудно, но в отраженном от темного весеннего снега лунном сиянии из этого чертова окошка все-таки можно было понять — около двух, часовая толстая стрелка вполне видна.

Время, глухое даже для весны, а теперь был конец марта; еще ни признаков рассвета. «Ну, подгадали», — мысленно сказал он, начиная соображать.

Опять Пасха...

Он всю зиму ждал, не скрывал этого и даже сердился, когда знакомые дразнили, что ему так и не придется кончить свой век в тюрьме, как он бы того хотел; и все-таки, как и следует, все оно было неожиданно. Неопределенное ожидание «возмездия», по сути, «неизвестно за что» — за некие бумаги, идущие в Петербург или переписываемые старательным Громницким, — так; но иное — действительный «хамский», лакейский, заранее рассчитанный стук в сотрясаемые ворота в два часа ночи.

Чувствуя неприятный холод в душе и как бы пустоту

в теле, Лунин начал ходить по комнате, одеваясь и ища, чем зажечь свечу; между тем снаружи уж слышалось:

— Открывайте, теперь не спрячетесь!

— Живее!

— Живее!

В соседней комнате завозился Василич; между тем в тихом лунном свете в окно было видно — две фигуры в шинелях громоздко перелезли через забор-чastoкол; послышались удары железа о дерево и железо — ломали замок ворот изнутри и замок самого дома.

— Вы здесь, Лунин? — лихим голосом спросил некий человек в широкой одежде, вваливаясь вслед за тремя-четырьмя военными — вероятно, жандармами.

— Здесь, здесь, — отозвался Лунин, застегивая бекешу.

— Вы здесь?!

— Здесь, говорю; что за вздор...

— Что? ответить как полагается не умеете? то-то... Да принесите свет наконец, скоты.

Тем временем вплыл дрожащий, встрепанно-сонный Василич с длинной свечой; прыгающее пламя озарило нескольких «голубых» во главе с отчасти смущенным капитаном, тоже отчасти смущенного Копылова со свинцово-желтым лицом (Лунин забыл длинное название его должности) и Успенского — местного Чернышева.

— Обыскать помещение! — скомандовал Успенский, впрочем одетый в широкую «статскую» шинель с бобровым мехом; и команда его была не военная — слишком задиристая и звонкая.

Жандармы кинулись к столу, комодам, кровати; Копылов, как и можно было ожидать от человека на его месте, бестолково топтался у стола, собирая и вновь опуская листки, — вспоминал, что для разглядывания еще будет специальное время; капитан уселся было записывать, вставал, садился; Успенский метался, развеивая полы шинели, вслед за жандармами в нервическом азарте:

— Не так! Как перебираешь, дубина? Так ты все главное упустишь; осторожнее! медленнее! глядишь, там, в табачке,— бумага! Что, Луний? напуган? дрожите? Зуб на зуб? а, то-то! То-то!

— Я вижу, вам очень *надобно*, чтоб я был напуган; приказание, что ли, получили такое? так извольте, напишите, что я напуган,— сказал Луний, стоявший прислонившись к печи и действительно не испытывавший веселых чувств от наскока, разора, грохота и гвалта в ночи.

Успенский опешил на мгновение — он, по сути, был глуп, Иркутск — не Петербург, и Луний увидел, что, наверно, попал в цель — по какой-нибудь рекомендации полагалось, чтоб он при обыске был потерян и уничтожен; и теперь Успенский задавал тон.

— И напишем! — задорно крикнул он наконец.— А то он не напуган. Храбрится! У нас не попадет! Тут дело зна-а-а-ют! — говорил он, бегая около Лунина.— Туда же. Говорит! Что вы говорите? вы вот даже двух слов связать не можете от страха! Католик!

Луний в раздражении пожал плечами и отвернулся от его взгляда.

— А это что? — спросил Успенский, подскакивая к «лику Мадонны» и всем предметам католического богослужения, вытащенным унтером в охапке из задней комнаты.

— Это... предметы веры, господа,— сказал Луний, как бы глотающим взором глядя на смутные девственно-женственные черты.

— Гм! Католик! Скажите! Католик! — начал Успенский.

Но Луний не выдержал и прервал, обращаясь к Копылову:

— Скажите, чтоб не касались до этих вопросов; ведь это не его дело.

— Мне кажется, Луний не совсем в своем уме,— сказал Копылов, пристально и, несомненно, тайно сочувст-

венно взирая на Лунина и затем угрюмо переглянувшись с вновь сидящим капитаном.— Не следует слишком раздражать его.

Лунин усмехнулся и снова пожал плечами.

— Не в уме?! Как писать противуправительственные заявления, так он в уме?! А как...

— Василич, напои чаем незваных гостей. Прошу простить, у меня кирпичный... Да похвастай козою, которую мы добыли вчера; я, господа, крепко спал после такой прогулки, а вы разбудили; не можете ли скорее? мне спать охота,— нарочито и сухо бравируя, прервал Лунин.

— Еще выспитесь! В Акатуе выспитесь! что, Лунин? что замолчали-то? Акатуй! да! Акатуя не миновать! А то и... дописался! ружье, ружье! кинжалы! Запрещенное оружие! Капитан, не забудьте!..

Лунин стоял у печи, слегка нагнув голову; жандармы действовали неловко и молча, Копылов, заложив руки за спину, прохаживался около стола, Успенский метался и кричал об испуге и наказании и давал указания капитану, который все что следует знал без него; у дверей прижался бедный Василич, глядя то на Успенского, то на Лунина, то на мелькающие предметы.

* *

*

«Насколько могу припомнить, я во время моего заключения в Петровске набросал несколько мыслей относительно Тайного Общества с целью представить дело в благоприятном свете и, по моему убеждению, в соответствии с истиной. Я составил это небольшое сочинение под заглавием «Взгляд на Тайное Общество» для коменданта Петровска, который, желая иметь подробные сведения об этом обществе, обратился ко мне, как к одному из его учредителей. Никто не помогал мне в этом труде, который впрочем и не требовал сотрудников, и я тогда даже не сообщал

о нем никому, кроме коменданта, для которого он предназначался. Когда я прибыл на поселение, это сочинение случайно нашлось в моих бумагах. Единственный человек, который читал его и снял с него копию, это г. Иванов, член Общества Соединенных Славян. Он попросил у меня эту копию, равно как и копию других сочинений, потому что он занимался французским языком и у него не было книг.

Михаил Лунин.

Иркутск. 27 марта 1841».

«Его Превосходительству Господину Енисейскому Гражданскому Губернатору. 1841 г. апреля 19 числа. Нерчинский завод.

На вопросы, предложенные мне Вашим Превосходительством от 5 апреля 1841 года, честь имею отвечать:

1-е. Прошу покорнейше снисхождения к моим словам: ибо как здоровье, так и мысли мои совершенно расстроены от долговременного заключения в казематах. В показаниях моих от 27 марта есть некоторые погрешности, которые надо предварительно исправить.

2-е. Статья на французском языке, под заглавием: *Aperçu sur la Société occulte, etc ** составлена мною в продолжение последнего года моего заключения в Петровском заводе, по приглашению Коменданта Г. Г. Лепарского. Я вручил ему экземпляр этого сочинения, другой оставил при себе, равно и черновые бумаги.

3-е. Поэтому Комендант, при отбытии моем на поселение, адресовал ко мне благодарственное письмо. Это письмо отправлено мною, через Собственную Его Императорского Величества Канцелярию, к моим родственникам для сохранения.

4-е. Я не нуждался ни в чьей помощи для составления этой статьи, скорее литературной, чем политической, о предмете, который, к несчастью, мне слишком знаком: я

* Взгляд на тайное общество и т. д. (фр.).

не сообщал ее никому, потому что тайна была условием порученной мне работы. Нужно ли прибавить, что эта статья была написана под влиянием страстей, которые развиваются в уединении каземата? Пользуясь относительно свободой на поселении и имея возможность следовать точнее за ходом дел, я убедился в ее неосновательности и предполагал, исправив ошибки, коими она исполнена, довести ее до сведения Правительства посредством официальной моей переписки с родственниками.

5-е. Некто Иванов (Илья Иванович), член бывшего Славянского Общества, приезжал ко мне в Урик, пользовался моими книгами и литературными рукописями для своих учебных занятий. Он однажды взял, без моего ведома, черновые бумаги моих политических сочинений и увез к себе. Я долго не подозревал этого, и только спустя несколько месяцев узнал о том по письму его, в котором он старался оправдаться, утверждая, что бумаги мои были увезены случайно, ошибкою, и вскоре будут возвращены. Между тем Иванов умер скоропостижно: его бумаги вместе с моими утратились.

6-е. Сам я никому не сообщал моих политических сочинений. Если кто читал или переписывал оные, то это без моего ведома. Единственная цель моя была довести их до сведения Правительства по приведении в должное устройство. Я полагал, что посреди множества заблуждений, свойственных уму человеческому, они заключают некоторые не бесполезные истины.

7-е. Громницкий, в бытность у меня, занимался охотой и рукодельем, которое доставляло ему средства к пропитанию. Сочинения мои, по большей части на иностранных языках составленные, ему неизвестны. Если он имеет мои Письма из Сибири и разбор Донесения, то это посредством Иванова, в соседстве которого он был поселен. Для меня он никаких бумаг не переписывал. Кроме охотничьего журнала, который поручено было ему вести.

8-е. С учителем Гимназии Журавлевым я мало знаком: он был у меня в доме раза два в продолжение нескольких лет. Я вообще избегал знакомства с чиновниками.

9-е. Разных сочинений моих более, чем обозначено в предложенных вопросах; но семи экземпляров одного и того же сочинения у меня никогда не бывало. Напротив, некоторые из них даже не переписаны набело.

10-е. Вашему Превосходительству угодно было заметить: «что сочинения мои заключают сведения до крайности разнообразные, которые трудно иметь одному кому бы то ни было». Во всяком другом случае это замечание было бы для меня лестно; но при теперешних скорбных обстоятельствах я душевно жалею, что посвятил время и труд на их составление. Из книг я вообще мало заимствовался; от людей ничего.

11-е. Покойный Иванов приезжал в Урик несколько раз, а когда именно, можно узнать в Волостном Урикомском Правлении, где он каждый раз прописывал свой билет.

12-е. Ксендз Гатицкий был моим духовником. Я окрещен и воспитан с детства в Римско-Католическом Исповедании моим наставником Аббатом Вовилье.

13-е. Несмотря на намерения, побудившие меня заниматься предметами политическими, я сознаю себя виновным; и готовясь принять с благодарностью все кары, мне определенные, полагаю единственную здесь надежду мою на прозорливую справедливость и великодушие Государя Императора. *Михаил Лунин*.

* *
*

В яме среди пологих холмов и лютой степи, под широким небом, в морозах и ветрах девять месяцев в году, в серых тучах и жалких цветах три месяца, лежит место, которое даже в Восточной Сибири считают выморочным; это — злобно известный Акатуй — гроб для живых, казнь

для неказненных, рудник для прошедших все рудники, цепь для не уstraшенных цепью, колодка для колодных колодников, смерть для презирающих смерть.

Последние злодеи, убийцы, соверпившие множество зверских дел и не подвластные «исправлению», «рванные поздри», десятилетиями прикованные к камню или к железу и долбящие ломом ледяную гранитную породу у себя под ногами, люди, давно освобожденные каким-нибудь очередным указом, но забытые на цепи еще на пятнадцать лет, — из Акатуй нет выхода, тут таков закон, — и люди, осужденные на вечную цепь, даже теоретически не подлежащие никаким указам и все равно еще живые, месяцами не мытые, не чесанные изуверы, мгновенно бросающиеся с киркой, с камнем, с заступом на всякого, кто приблизится к их скале, к конуре, во всем напоминающей цепную собачью, на расстояние цепи, горсть особо важных преступников «без цепей», озверелые со «зверьми», заросшие солдаты с неизменно примкнутыми штыками, да еще угрюмые собаки, да пыльный ветер весь год, да десяток каменно-глиняных, голых квадратных хибар с плосковатыми крышами — таков Акатуй; ночью тут воют волки и тяжело лают и верещат голодные лисы, режут медведи, пришедшие из дальних чахлых перелесков, и свищет пустая труба, днем скрипят камнями, визжат железом колодники, бродит обезумевшая от пыли и скуки и ветра охрана — и нет отдыха в этом пропащем месте.

Пропащем не пропащем, а как бы не существующем — приснившемся в гиблом сне.

Такие-то мысли теснились в голове Николая Ивановича Пущина, ревизора по местам каторги от министерства юстиции, брата известного государственного преступника, ныне живущего на поселении в Туринске и переводимого в Ялуторовск, — брата, завернувшего в Акатуй посмотреть на тамошние дела; нет дороги для живого человека сюда, и годы, годы тут не бывало не только что «ревизора», но

даже обоза с Иркутским, Читинским провиантом; но в Николае Пущине играла кровь его рода, он был смелый чиповник — и он гнал, гнал ямщика в эту проклятую яму, как в ведьмин лес; однако же ныне, по мере приближения, в голове у него было только одно: «Скорее вон, вон; скорее назад»: так холодны были холмы, степь; так безотраднa была дорога с пылью, камнем и ветром; так не на чем было отойти взору.

Показалось: эти гиблые дома, эта «улица»; эти цепные, виднеющиеся у скал, с их медленными кирками; эти цепные, бредущие по дороге — из более «легких»: к обеду.

С недоумением смотрели тусклые лица на крепкую бричку чиповника, на сильных, коренастых лошадей с блестящими рыжими крупами.

— Где Лунин? — спросил Николай Иванович (фуражка, темные живые глаза) у одного из солдат, идущего за тремя колодниками.

— Там, — обыденно махнул солдат, тараща выцветшие, как бельма, глаза на самого Пущина и на лошадей.

Они проехали еще по буро-серой дороге — и подкатили к голой будке, стоящей среди тощих кустов и огощенной жердями на кольях.

Лунин, окруженный угрюмыми и косматыми псами, тотчас же вздыбившими загривки и зарывавшими смутно, подавленно на прищельцев, вышел на крыльцо с таким видом, будто это не конура в четыре аршина вверх и вширь среди Акатуя, а Зимний дворец; он был важен, усы «навыпуск», в руке — изогнутая трубка, другая рука — в кармане грубого полущубка; он молча, добродушно дождался, пока Николай Иванович добежит до его крыльца, прыгнет через ступеньки и кинется на шею, и, поцеловав его в надушенную щеку, — причем от самого от него пахло не только табаком, но и чем-то вроде цветочной помады, — отступил и дал дорогу внутрь «дома»; собаки отскочили еще по его предварительному мановению.

Пушкин оглянулся: взгляды сидящих на камнях, стоящих у изгороди часовых.

Они сели в крошечной «горнице» за голым столом.

— Михаил Сергеевич... Михаил Сергеевич,— вдруг расчувствовался энергичный ревизор, привставая и отворачиваясь.

— Полно, друг мой,— снисходительно и не без рисовки сказал Лунин.— Какими судьбами?

— Честно говоря, Михаил Сергеевич, я бы не поехал, если б не вы...

— Вы, конечно, делаете мне честь.

— Нет, я хотел... мне было любопытно, я хотел знать, как же вы... живете. *Живы* ли.

— Как видите!

— Но как, в этом несчастии...

— В этом мире несчастны только дураки... на свете всегда есть место для счастья и покоя,— назидательно возразил Лунин; в нем четко выделялась эта некая «поза», торжественность и учительность — то, что в нем было и годами раньше, но под старость и под влиянием неких душевных и внешних обстоятельств обозначилось резче.

— Не нуждается ли вы в чем? мой брат не одобрял ваших последних действий, но он всегда уважал и любил вас... и я сам...

— Ваш брат — прекрасный человек,— вдруг почти без позы сказал Лунин.— А я не нуждаюсь, благодарю; вот каторжные и ссыльные поляки, которых, как и меня, сюда послали... э... за особые провинности,— они тоскуют и плохо выдерживают.

— Я постараюсь принять меры...

— То-то. И цепные...

— Но мне бы хотелось что-либо и для вас...

— Нет, помилуйте; что же мне может быть надобно? — «в удивлении» повел Лунин рукой по своей голой «горнице», где не было даже книг и бумаг (Пушкин знал об

этом запрете).— Да вы отчего конфузитесь? может быть, у вас поручение по моему делу? хотят знать еще что-либо? говорите, это ничего.

— Нет, поручений у меня нет...

— Так что же?

— Михаил Сергеевич, я от себя и приватно.

— Так что?

— Вы помните ваши показания?

— Это в восемь утра, после взятия меня приступом в два часа ночи? Двадцать седьмого?

— Да, и потом в апреле.

— Так что же там было неприличного? мне сдается, очень приличные показания,— самодовольно пробурчал Лунин, наливая Пущину в железную кружку своего известного кирпичного чаю.

— Вы знаете, Михаил Сергеевич; там... одна насмешка и... нет раскаяния...

— Отчего же нет? Я там говорю обидные для себя сентенции.

— Там ни на грош смирения.

— Отчего же, там есть смирение; но перед кем?.. и, кроме того, смирение и уничижение — вещи разные.

— Неужто вы давали первое показание тотчас же после ночи?

— Еще как!

— Удивительно.

— Что же вам удивительно?

— Ну... вы сами знаете... ваша рассудительность...

— Напротив, Копылов признал меня сумасшедшим. За мой католицизм,— самодовольно бормотнул Лунин, прихлебывая из блюдца.

— Он... отчасти хотел помочь вам...

Пущин краснел и не мог взять тона; он как бы с разбегу ударился о стену — и все приходил в себя; он все «елозил» ладонью по голому столу.

— Да вы пейте чай,— непринужденно позировал Лу-
пин.— Может быть, и помочь; его дело. Конечно, с безум-
ного какой спрос. Впрочем, высшее начальство, по-моему,
хотело от меня не сумасшествия. Тут не Чаадаев.

— Да... да,— почти прошептал Пущин.— Неужели вы
так и не... смириться? и каков смысл? — спрашивал он,
уныло оглядывая голые, тесные стены и невольно взгля-
нув и в окно на голые, пыльные, выморочные холмы и на
камни.

— Поймите, Николай Иванович, что тут не догма.
Это — внутри меня; мне так покойно и хорошо,— вновь
более просто сказал Лупин; забавны — если тут было уме-
стно это слово — были эти его переходы от некоторой на-
пыщенности и чрезмерной строгости к почти простой иск-
ренности.— Неужто вы полагаете, что я бы смог эдак
жить, как я живу всю жизнь, по одному лишь рассудку?
по догме, по «убеждению»? по теории?

— Нет... я не полагаю. Но я так и не понимаю.— Он
помолчал.— Кто вы, Михаил Сергеевич? — вдруг тихо-па-
тетически спросил он.

Лупин улыбнулся самоуверенно.

— На это можно было бы ответить афоризмом, калам-
буром, формулой или как-нибудь вроде: «Я — человек»; по
это все отговорки,— сказал он.— Что же касается моего
собственного мнения о себе, то...— Он неопределенно-са-
модовольно махнул рукой.— Небось думаете: фат! — доба-
вил он светски-добродушно.

— Через... шесть часов после неожиданного прихода
жандармов, после бессонной ночи и обыска написать по-
казание, в котором — так по-вашему, сухо — назвать ви-
новным только себя и сослаться на мертвого Иванова и
мертвого же Лепарского... Ведь вы, конечно, знали, что
комендант Лепарский умер в тридцать седьмом году...

— Разумеется,— шутовски улыбался Лупин.

— Через неделю — после тюремных раздумий! — зная

об угрозе Акатуя, все по-прежнему взять на себя... Выгораживать не только близких, не только несчастного, слабого Громницкого (ведь он немедленно сознался! — Луний кивнул), но почти неизвестного Журавлева, ксендза... вы, быть может, просто католик-фанатик? просто хотите пострадать? я со своей стороны этого не понимаю... но это было бы объяснение...

— У меня есть опыт. Я еще давно писал сестре, что в случае обыска она может сослаться на коменданта Выборгской тюрьмы — на том свете не привлекут к ответственности.

— Знаю, вы о покойном Берге. Но вы не ответили? Вы *хотите*?

— Пожалуй, что и так, — улыбался Луний.

— Как вас понять? — оживился Пущин.

— Дело в том, — «непринужденно» говорил Луний, — что всякую акцию действительной и духовной жизни можно трактовать с разных сторон. Если угодно — пожалуй: католицизм, страдание. Формально мне будет трудно вас опровергнуть; да и мне порой кажется — да, католицизм, вера святая. Но, откровенно говоря, это верно и неверно. Истинных причин наших действий никто не знает, даже мы сами; я таков, и все, а вы таковы — и хоть разбейся.

— Ну, вы-то знаете, — недоверчиво улыбнулся Николай Пущин.

— Может быть, — улыбнулся в ответ ему Луний. — Но это не такое знание, которое выразимо в разговорах, подобных нашему. Тут — вся жизнь.

— Ну, тут вы правы. А вы — все-таки и точно *такой* католик?

— Я объяснил.

— Простите, вы правы; я повторяюсь... Я к тому, что вера православная, мне представляется, более подходит к положению узников, страждущих; она более интимна,

более тепла, в ней более чувства — нерассуждающей любви.

— Да ежели я люблю рассуждать? — все более улыбался, а затем стал серьезен Лунин, и вновь неясно было, вполне или не вполне он искренен, прост. — Ничто, данное человеку, не должно быть отвергнуто, коли оно во благо — не во вред другим; в католицизме привлекает независимость от презренной светской власти, величие, и торжественность, и культ небесной, возвышенной красоты; с другой стороны, вы правы, церковь греко-русская более несет непосредственного тепла, утешения, она вся домашняя, ясная и простая, и храмы — такие же: небольшие да круглые, да с сусальными позолотами, иногда — откровенно как игрушки; то ли дело — готический собор — средоточие мощи, полноты духа.

— Но я в конечном итоге не понимаю вас! итак, католицизм — полнота?

— Полнота, но не вся, — уже в некоторой досаде улыбался Лунин. — А иногда мне кажется, что я не католик, не православный, а третий.

— Террорист? карбонарий?

— Нет, нет, — смеялся Лунин.

— Военачальник? — входил в азарт гость.

— Шпага Камбронна, жезл Бонапарта, — как бы продекламировал Лунин неизвестные стихи, не отвечая на вопрос и смеясь.

— Впрочем, я уже говорю вздор, — спохватился Пущин. — Михаил Сергеевич, мне кажется, вам грозит опасность.

— Мне?! В моем положении?! Вновь опасность?! Вы шутите, — притворно возмутился Лунин. Он повел рукой по столу, словно сметая пыль.

— Не смейтесь. У меня нет доказательств фактических. Но... ваши сношения с каторжными поляками, ваше... э...

— Отсутствие раскаяния,— все смеясь, подсказал Лу-
нин.

— Да, да... Смотрите...

— Благодарю.

— Не мне советовать вам, Михаил Сергеевич; я рас-
сказал только о своих опасениях.

— Благодарю.

— Как вы тут останетесь. Ума не приложу.

— Поезжайте, Николай Иванович, и не думайте ни о
чем.

Они помолчали одно мгновение.

Когда Пущин скрылся во мгле, Лунин медленно вер-
нулся с крыльца к себе в конуру, сел за стол; о чем он
думал, сурово уставившись в одну точку?

О чем он думал и в тот, и в следующие дни, месяцы?

О Наталье Потоцкой, и о том, есть ли встречи на не-
бесах, и о том, что в юдоли земной человек так и не мо-
жет знать этого?

О смерти Пестеля, и Рылеева, и Бестужева, и Кахов-
ского, и незабвенного «одинокого» Сергея Муравьева?
О смерти Иванова и многих, многих в сибирских снегах,
о застрелившихся Ипполите и Кузьмине и пробитом кар-
течью Щепилле, о Сухинове и о другом Бестужеве — том,
кавказском, не пришедшем из гор?

О смерти святого Саши Одоевского и незнакомого По-
лежаева на «том же» Кавказе, о грозных дуэлях Пуш-
кина, юного Лермонтова; о Репине и Андрееве, спалив-
ших себя огнем там, на поселении? о смерти других, мно-
гих по всей земле? О смерти, о «расстройстве умственном»
детей Волконских и Муравьевых в Сибири и в Петер-
бурге?

О тихой и трудной смерти под Иркутском любимого
брата, друга сердца Никиты Муравьева, не снесшего из-

гнания и несчастья? О смерти, о которой сообщила в тайном письме терпеливая, неутомимая, живая, как цветущий репейник, Мария Волконская?

О смерти Василия Ивашева, не выдержавшего смерти долгожданной своей Камиль, убитой жестокой жизнью, негодной для «нежно-зеленого» растения, и о жизни далеких Анненковых?

Он думал обо всем этом; он представлял подростковую Нонушку, под чужой фамилией отправленную в институт для осиротевших и не осиротевших девиц; он «видел» милых детей Ивашевых — Марию, Петра, Веру, 6, 4 и 2 лет, стоящих в рядок, закутанных в одеяльца и треугольником волочащих их по полу,— видел их недоуменные, доверчивые глаза над скорбным трупом одинокого молодого отца; он слышал спокойно-гневный голос Ивана Пущина (брат передал!) в письме другу: *чем «эти дынушки» могут помешать могучему русскому императору, что потребовалось ждать женитьбы кого-то из высочеств, чтобы лишь по случаю этого торжества вернуть их, сирот, наконец в Россию на попечение троюродных бабушек (отец и мать Ивашева так и умерли, не увидав сына), а до этого заставлять их мыкаться по чужим сибирским дворам?*

Он видел сердцем и знал все это; он помнил Никиту; и странно было бы ему, гусарскому офицеру и русскому мужчине и дворянину,— странно было бы, зная, видя все (или даже пока еще не все) это, рассуждать с приезжим чиновником, пусть братом друга, о чем-либо, кроме предметов светских и отвлеченных, или, пожалуй, кроме столь свободных для обсуждения материй, как католицизм, раскаяние или собственное мужество его, Лунина.

Но о чем же как целом он думал все годы до своей смерти...

Теперь он посидел еще; взял из шкафа стальное перо, тайне высланное Волконской, помыслил о книгах и часах, которые она обещала (прибудут?), снова вспомнил

о достойном поведении Волконского при его, Лунина, «про- водах» в Акатуй (открыто оказал дружбу, снабдил «на дорогу» всем необходимым), достал из постели черниль- ницу из хлебного мякиша, наделил туда особо разведен- ных «чернил в порошке», стал писать... писать, ровно вы- вода буквы:

«Конечно, нравственная сторона есть первенствующее качество, но ее можно приобрести в любое время и без знаний, но для умственного развития и приобретения положительного знания существуют только одни годы. Добродетели у нас есть, но у нас не хватает знания».

«Не читай книги, случайно могущие попасть в твои руки. Ты должен знать, что мир переполнен глупыми кни- гами и что число полезных книг очень не велико»...

«Помимо французского и английского латинский и не- мецкий являются безусловной необходимостью. Эти че- тыре языка есть ключи современной цивилизации. Есть еще один язык — греческий, но время его настанет позд- нее».

«...Бегать, прыгать через рвы, взбираться на стены и лазить на деревья, обращаться с оружием, ездить верхом и т. д... дают здоровье и телесную силу, без которых чело- век не более как мокрая курица».

* *
*

Резко вошел Высоцкий и приостановил его советы юно- му тезке Мише Волконскому; преданный поляк — светло- волосый и стройный — был озабочен.

— Михаил Сергеевич, мне кажется, противу вас... зате- вают,— начал он с порога, бросая свой беспокойный взгляд на перо и «чернила».

— Пусть так; сейчас.

— Вы понимаете, это ваше дело; мое — сказать. Бойтесь ночью охраны. Наши толки о непокорстве властям, ваше настроение и все прочее не секрет для Иркутска и... Петербурга.

— Успокойтесь, родной, и поведайте мне об Антоне Яблоновском, о Крыматовском в Сибири и о новом плане освобождения Кракова, — улыбаясь, сказал Лунин несколько напряженным голосом, все еще водя пером.

— Они сделают так, что никто не узнает во веки веков, — еще более резко сказал Высоцкий. — Апоплексический удар, то да се; доищись в Акатуе!

— Ну и что же вы мне предлагаете? — вдруг резко же спросил Лунин, взглянув на него. — Бежать? не спать по ночам? задушить часового, чтобы другой задушил меня же? написать жалобу в Иркутск, что, мол, де, готовится покушение на святого человека Михаила Лунина по распоряжению из Иркутска? Просьбу царю? запастись молотком? киркой? *Что?* Для чего вы мне говорите *это?*

Высоцкий не отвечал.

— То-то, — успокаиваясь, проворчал Лунин. — Уж эти мне откровенные люди, люди принципов. Вечно со своей правдой...

Он встал, спрятал чернильницу и перо и спросил:

— Хотите, почитаю советы младенцу?

Высоцкий угрюмо пожал плечами на его новую позу.

* * *

*

Он шел с чужим ружьем по холмам — и вдруг в отдалении заметил крупного волка.

Задорная сила толкнула его навстречу; он задышался, спешил... зверь приостановился и ждал; с такими шутки плохи.

Лунин, видя, что тот не убегает, уже шагом подходил ближе; сердце забилося бойко, знакомый, морозный ветер опасности пошел по душе; он подходил...

Было голо и сумеречно вокруг; декабрь — глухая ночь года; по холмам мелко, колко мело, небо было темно и низко, ветер прохватывал — и стоял, стоял унылый зверь, а вдали появились еще два.

Лунин подошел близко — не хотел стрелять, но и не хотел уходить; волк — голодный, зимне-пушистый и буросерый и весь в сосульках и плешах — наконец повернулся и понуро заковылял в холмы, изредка оглядываясь и не думая о выстреле; возможно, он не знал, что такое ружье.

Лунин, усмехнувшись, мотнув головою, пошел назад; чувство в душе было бодрое, как всегда после пережитого снежного напряжения, тело было ладно и горячо — хорошо, хорошо; но где-то внутри было серо, «скребли кошки»; вскоре он остановился над Акатуем — посмотреть, нет ли вблизи начальства; эти походы были официально запрещены, а объясняться ему сегодня что-то не хотелось.

Он с утра видел, что, кажется, готовят нечто вроде «удара».

«Зачем мне был еще и волк? — самодовольно подумал он. — Ну, Лунин».

«Сегодня... сегодня?» — впервые за день ясно подумал он.

«Декабрь.

Рожден в декабре, умер тоже.

14 декабря... декабрист», — привычно заработал его «французский» (порою) ум, чиня каламбуры.

«Не все ли равно — где?

Не все ли равно — каким способом?» — вдруг четко подумал он, глядя в серую, синюю, белую и замятую даль.

«Нет, не все равно; но — пусть себе», — снова подумал он.

Он постоял еще, глядя на Акатуй, на снег, на холмы и небо; затем спустился в свою «родную» эту яму.

Он заметил, что некоторые солдаты невольно угрюмо отворачивались, а укутанный подпоручик Григорьев — еще более местный Чернышев — заранее смотрел «каменно» — готовил себя ко злу; «Пусть себе», — сурово подумал Лунин, не ища их тяжко скользящих взоров и отворачиваясь от них в свою очередь.



В институт благородных девиц прибыла попечительница — императрица Александра Феодоровна, толстая немка с умным, спокойным взглядом.

Задумчиво проходила она по рядам аккуратненьких, свежих девиц, распластанных в реверансе, сияющих сквозь ресницы чуть «потупленным» взором; время от времени царица, как и подобает, заговаривала с той или иной «счастливицей», и та отвечала тонким, вкрадчивым голосом, еще ниже приседая перед хозяйкой и кося глазами на замирающих от страха за приличие ответа классную патронессу и директрису, маячивших за плечом Марии Феодоровны, и на красивого седеющего графа, с кислой миной сопровождавшего главную даму отечества по другую руку и тоже слегка позади: Мария Феодоровна не любила опираться на кого-либо, кроме мужа; для России это было бы и не совсем прилично.

Вопросы, ответы были незначачи, мягко-условны; все шло своим чередом.

— Вы-и...

— Княжна Куракина, ваше императорское величество, — торопливо шептали сзади.

— Вы помните вашего деда?

— Нет, матушка (ma mère), — лепетала девочка.

Это была установленная форма обращения.

— А я помню; достойный, достойный человек. Будьте достойны его,— говорила императрица и следовала далее, пробегая по лицам всегдашним, давно отрететированным взором.

— Ах, мила.

— Княжна Гагарина.

— Вы тоже любите иезуитов, как ваш... папá? кузен? или кто он вам?

— Нет, матушка... ваше величество... Я... я...

— Ну хорошо; мила.

— Какова головка: пробор, локоны.

— Баронесса фон Клаузевиц...

— Очень рада; давно ли из наших мест?

— Я из Лифляндии, матушка.

— Хорошо, милочка; ну, ну-ну.

— Обаятельна; задорен носик, умные глаза.

— Де... вица Никитина...

— Никитина? (Что за фамилия?)

Императрица невольно оборотилась к графу; тот стоял непроницаемый и презрительный.

Он что-то как бы шепнул незаметно, но она не поняла; однако, чтобы не стоять попусту, она прохладно спросила:

— Ну, как вам здесь живется, милочка моя? — тем временем меряя девочку тем особенным взором, которым женщина умеет мерить нечто неполноценное и случайное.

— Хорошо, madame,— отвечала Нонушка, сидя в реверансе и глядя чуть исподлобья.

Вдруг та поняла; она слегка шевельнулась... однако же было поздно.

Все ждали; хозяйка наконец строго спросила:

— Почему вы не говорите мне матушка, как положено? это нарушение правил.

— Моя мать *закопана* в Сибири, madame,— глухо-звонко сказала Нонушка — и возникло молчание.

Страшна пенависть жепщины, когда она не имеет причины; еще страшнее пенависть женщины, когда она имеет причины.

Столько невыносимого блеска, столько *желания* быть раздавленной и растоптанной тут же, на этом месте, и столько желания мести и ярости было в темном и светлом взоре, вышедшем исподлобья, что опытной императрице потребовалось все ее самообладание, чтобы выдержать этот клубящийся, сияющий адский взгляд; вся смута смутного рода Муравьевых, все мучения всех времен, весь блеск ума и бессилия и нагой, лютой ярости был в этих прямых больших глазах.

Императрица подумала, что следует тут же наказать дерзкую; но в следующее мгновение она подумала, что «Никитина» только того и хочет — чтоб «наказали» ее: мечтает, бредит об этом; императрица была умней и тоньше своего императора, хотя тот был хитрей и мужественней ее, — и, подумав, она прошла мимо, далее, холодно отвернув голову от горящего взгляда девочки; этот взгляд проводил ее столь же ненавидяще и горяще — она ощутила затылком.

Граф косо, кисло-презрительно посмотрел на застывшую в своем реверансе «Никитину» — только взор ее жил, — и, не желая видеть этого ее опаленного и палящего, сжигающего до корня взора, он, спокойно избавив себя от него, тоже отвернулся и пошел далее.

Наступает ночь, продолжается синяя легенда; спит в казенном будуаре бедная Нонушка, и ей ничего не снится — она устала от дня; спит Миша Волконский; он еще слишком молод, и ему снятся кавалергарды в белых мундирах — его отец, Лунин, Анненков, Ивашев, — которые, обнажив сабли, припав к гривам, идут в атаку на бонапартовы пушки;

— Но как же? Ивашев, Анненков, вы ведь слишком молоды, — спрашивает их Миша как бы со стороны; он

употребляет слова, которые теперь часто говорят ему самому: ранее говорили, что просто мал.

— Это все равно,— оглянувшись, отвечает весь юный, белый Ивашев; спят дети Анненковых Александра, Ольга, Владимир, Иван, Николай и Наталья; некоторые из них еще слишком *малы*, и им снится, что к розовому мячу пришили синий лоскут, что птичка помирилась с собакой Бекки; им снится долгая и счастливая жизнь их самих и их милых родителей — жизнь, которая как раз и была такой.

Гусев Владимир Иванович.
Г96 **Легенда о синем гусаре. Повесть о Михаиле Лу-**
 нине. М., Политиздат, 1976.
 389 с. с ил. (Пламенные революционеры).

P2+9(C)15

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *А. Г. Мартынова*

Художник *Б. А. Малахов*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. Е. Трояновская*

Сдано в набор 19 декабря 1975 г. Подписано в печать 27 февраля 1976 г.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 17,76.
Учетно-изд. л. 18,02. Тираж 300.000(1—100.000) экз. А00037. Заказ № 560.
Цена 87 коп.

Политиздат, 125311, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц в типографии изд-ва «Уральский рабочий»,
Свердловск, пр. Ленина, 49.

**В 1976 году в серии
„Пламенные революционеры“
выйдут следующие книги:**

Атаров Николай, Дальцева Магдалина.

«Опоясан мечом».

Повесть о Джузеппе Гарибальди, который четырнадцать лет сражался на стороне республиканцев против тирании за океаном, в Бразилии и Уругвае, а вернувшись на родину, посвятил свою жизнь борьбе за освобождение поработенной Италии. События остросюжетной повести о легендарном герое итальянского народа даются авторами на широком историческом фоне жизни Италии и Европы тех лет.

Барышев Михаил.

«Особые полномочия».

Повесть о В. Р. Менжинском, профессиональном революционере ленинской школы. Из яркой, многогранной жизни видного деятеля партии автор выбрал наиболее важные периоды — работу первым народным комиссаром финансов Советской республики, чекистскую деятельность в Особом отделе ВЧК и борьбу, на посту председателя ОГПУ, с террористической деятельностью белогвардейцев — кутеновцев и савинковцев.

Кузьмин Николай.

«Меч и плуг».

Повесть о Г. И. Котовском, легендарном революционере, замечательном военачальнике гражданской войны. Писатель прослеживает путь Котовского от бунтаря-одиночки до убежденного большевика-ленинца, пламенного революционера.

Лебедев Василий.
«Обреченная воля».

Повесть о Кондратии Булавине — руководителе крестьянско-казацкого восстания на Дону в начале XVIII в. Автор широко показывает борьбу беднейших слоев крестьянства и казачества против экономического закабаления, против произвола царских сатрапов.

Матюшин Михаил.
«Преданность».

Повесть о Н. В. Крыленко, профессиональном революционере, первом верховном главнокомандующем, назначенном Лениным, «прокуроре республики». Писатель, основываясь на фактах богатой биографии Крыленко, раскрывает перед читателем судьбу человека яркого, незаурядного и в то же время типичного в когорте большевиков-ленинцев.

Метельский Георгий.
«Неповторимый».

Повесть о профессиональном революционере П. Г. Смидовиче рассказывает о его встречах с Владимиром Ильичем, о том, как Смидович доставлял «Искру» из Франции в Россию, о его участии в трех революциях.

Савченко Владимир.
«Тайна клеенчатой тетради».

Повесть о легендарном Николае Клеточникове, который, проникнув в самый центр тайной полиции царского самодержавия, в течение двух лет отражал удары, направленные против революционеров, являя пример бесстрашного служения высокой революционной идее.







